


А. С. Байетт

# Ангелы и насекомые

PREMIUM

# Ангелы и насекомые (сборник)
## Антония Байетт

Аннотация
А. С. Байетт. Ангелы и насекомые
Морфо Евгения
Ангел супружества
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- XI
- XII

## Аннотация

От автора удостоенного Букеровской премии романа «Обладать» и кавалерственной дамы ордена Британской империи – две тонко взаимосвязанные повести о нравах викторианской знати, объединенные под общим названием «Ангелы и насекомые». Это – «возможно, лучшая книга Байетт после „Обладать“» (Times Literary Supplement). Искренность чувств сочетается здесь с интеллектуальной игрой, историческая достоверность – с вымыслом. Здесь потерпевший кораблекрушение натуралист пытается найти счастье в семье, где тайные страсти так же непостижимы, как и поведение насекомых, а увлекающиеся спиритизмом последователи шведского мистика Сведенборга и вправду оказываются во власти призрака…

Повесть «Морфо Евгения» послужила режиссеру Филипу Хаасу основой для нашумевшего фильма «Ангелы и насекомые».

# А. С. Байетт
# Ангелы и насекомые

A. S. Byatt
ANGELS AND INSECTS

Серия «Азбука Premium»

Copyright © 1992 by A. S. Byatt
All rights reserved
© М. Наумов, перевод, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®

* * *

*Посвящается Жан-Луи Шевалье*



# Морфо Евгения



— Вы должны танцевать, мистер Адамсон, — сказала леди Алабастер, которая устроилась на софе. — Очень мило с вашей стороны, что вы составили мне компанию и принесли лимонаду, но я убеждена, что вам непременно надо танцевать. Наши юные дамы расфуфырились ради вас. Надеюсь, они не зря старались.

— Да, они все просто очаровательны, — ответил Вильям Адамсон, — но я давно не танцевал на балах.

— В джунглях не очень-то потанцуешь, — заявил Эдгар Алабастер.

— Напротив. Там все время танцуют. В дни

христианских и языческих праздников танцуют недели напролет. А в глубине материка увлекаются индейскими плясками — танцоры часами прыгают, подражая дятлам и вихляниям броненосцев.

Вильям открыл было рот, чтобы продолжить, но осекся: путешественники, возвратившиеся домой, слишком увлекаются бесконечными монологами, стараясь поделиться своими познаниями.

Леди Алабастер удобнее расположила свои обтянутые черным шелком телеса на софе, обитой розовым атласом.

Она не уступала:

— Если вам самому трудно сделать выбор, я попрошу Мэтти подыскать вам хорошенькую партнершу.

Мимо них проносились, кружась, девушки, и наряды их, небесно-голубые, серебристые, лимонные, из газа и тюля, переливались в свете свечей. Небольшой оркестр из двух скрипок, флейты, фагота и виолончели скрипел, взвизгивал и бухал на галерее. Во фраке, одолженном у Лайонела Алабастера, Вильям Адамсон чувствовал себя немного стесненно, но вполне уверенно. На память ему пришла фиеста на Рио-Манакири.

Половинки апельсиновой кожуры, наполненные черепаховым жиром, служили там светильниками. Без сюртука, босоногий, он танцевал с Хизой, хозяйкой фиесты. Ему отвели почетное место за столом по той простой причине, что он был белым. Здесь же из-за своего золотистого, немного желтушного загара он казался смуглым. Высокий, от природы очень худой, после тяжких испытаний на море он походил на покойника. Перед ним в неярком свете под звуки польки мелькали бледнолицые пары, тихонько переговаривавшиеся друг с другом. Наконец музыка стихла, и все, смеясь и хлопая в ладоши, разошлись по сторонам. Трех дочерей Алабастеров, Евгению, Ровену и Эниду, кавалеры подвели к кружку, собравшемуся возле их матушки.

У девушек были светло-золотистые волосы и матовая кожа, большие синие глаза обрамлены светлыми шелковистыми ресницами, которые можно было разглядеть, если на них падал свет. Энида, самая младшая и все еще по-детски пухлая, была одета в ярко-розовое платье из тонкой кисеи, с белыми розетками; головку ее украшал венок из розовых бутонов, сеточка розового цвета поддерживала волосы. Ровена была выше обеих сестер, постоянно смеялась, губы ее были полнее,

а румянец ярче, ее волосы, уложенные узлом на затылке, усыпаны жемчужинами и украшены маргаритками. Старшая, Евгения, была в белом тарлатановом платье и шелковой сиреневой нижней юбке; к груди и талии были приколоты букетики фиалок. Она вплела плющ и фиалки в свои гладко причесанные золотистые волосы. У братьев девушек были такие же золотистые кудри и матовая кожа. Вместе они составляли очаровательную однородную группу.

— Бедняжка мистер Адамсон и не подозревал, что в день его приезда мы даем бал, — сказала леди Алабастер. — Ваш отец тотчас послал ему приглашение, как только узнал, что мистер Адамсон провел пятнадцать ужасных дней в Атлантическом океане, ведь его корабль затонул, но ему, слава богу, удалось спастись. Конечно, отцу не терпелось поскорее увидеть образцы фауны, привезенные мистером Адамсоном, и он совсем не думал о намеченном празднике. Так что мистер Адамсон застал у нас страшную суету, а слуги носились по дому сломя голову. По счастью, Лайонел почти одного с ним роста и одолжил ему свой костюм.

— В любом случае я не смог бы появиться сегодня во фраке, — заметил Вильям. — Мои вещи

либо сгорели, либо ушли на дно, но и среди них не было парадного платья. Последние два года я прожил в Эге[1], там у меня даже пары ботинок не было.

— Тем не менее, — проговорила беспечно леди Алабастер, — ваши выносливость и сила духа безграничны, и я уверена, их достанет на один танец. Лайонел и Эдгар, извольте исполнить свой долг — ведь дам у нас больше, чем кавалеров. Уж и не знаю, как это выходит, но дам всегда больше.

Вновь заиграла музыка, на этот раз вальс. Вильям поклонился младшей мисс Алабастер и пригласил ее на танец. Она вспыхнула, улыбнулась и приняла приглашение.

— Вы с опаской поглядываете на мои ноги, — заметил Вильям, выводя девушку в круг, — вас страшит, верно, что я неловкий танцор и могу наступить на ваш прелестный башмачок. Постараюсь не причинить вам боли. Приложу все усилия и прошу вас, будьте снисходительны к моей неловкости.

— Должно быть, вы испытываете странные чувства, — сказала Энида Алабастер, — после стольких лет опасности, лишений и одиночества

---

**[1] Примечания: 1**

*Эга* — устаревшее название бразильского города Тефе. *(Здесь и далее примеч. перев.)*

вам приходится принимать участие в подобного рода увеселении.

— Я восхищен! — возразил Вильям, внимательно следя за движением собственных ног и постепенно набираясь уверенности.

В некоторых домах общества в Пара и Манаусе вальс было принято танцевать. Вильям кружил в танце дам с кожей оливковой и бархатно-черной, чья добродетель была сомнительна, а то и вовсе отсутствовала. И сейчас, держа в объятиях это мягкое, молочно-белой, незапятнанной белизны, воздушное и почти неосязаемое создание, он ощутил волнение. Тем не менее ноги его теперь двигались уверенно.

— Вы вальсируете очень умело, — заметила Энида Алабастер.

— По-моему, все же не так умело, как ваш брат, — ответил Вильям.

Эдгар Алабастер танцевал со своей сестрой Евгенией. Эдгар был крупным, мускулистым мужчиной. Его светлые волосы, волнистыми прядями обрамлявшие продолговатое лицо, колыхались в потоках воздуха; держался он очень прямо. Его большие ступни быстро двигались в замысловатых па в унисон с жемчужно-серыми башмачками Евгении, непринужденно и плавно

выписывая фигуры вальса. Они танцевали молча. Эдгар с выражением легкой скуки на лице пробегал взглядом по бальному залу. Глаза Евгении были полузакрыты. Брат и сестра кружились, они скользили в танце, они замирали и делали пируэты.

— Мы подолгу танцуем в классной комнате, — заговорила Энида. — Мэтти аккомпанирует на фортепьяно, а мы все танцуем, танцуем. Разумеется, Эдгар предпочитает верховую езду, но он, как и все мы, обожает двигаться. У Лайонела получается хуже. Он не способен целиком отдаваться танцу. Иногда нам кажется, что мы могли бы танцевать вечно, словно принцессы из сказки.

— Которым удавалось за одну ночь стоптать башмачки.

— И которые, ко всеобщему недоумению, выглядели утром совершенно разбитыми.

— И отказывались выходить замуж, потому что обожали танцевать.

— Кое-кто из наших замужних дам по-прежнему танцует. К примеру, миссис Чипперфилд, та, что в темно-зеленом. Она танцует очень хорошо.

Эдгар и Евгения вернулись на свое место рядом с софой леди Алабастер. Энида продолжала рассказывать Вильяму о своей семье. Когда, делая

очередной круг, они приблизились к софе, она сказала:

— До того как случилось несчастье, Евгения танцевала лучше всех.

— Несчастье?

— Она должна была выйти замуж, но капитан Хант, ее жених, внезапно умер. Бедняжка Евгения только-только начала оправляться от ужасного потрясения. По мне, это как овдоветь, не успев выйти замуж. У нас не принято об этом говорить, хотя все, конечно же, всё знают. Не подумайте, что я сплетничаю, но мне кажется, и вам следует знать, поскольку вы останетесь на время у нас.

— Благодарю вас. Вы очень добры. Теперь по неведению я не ляпну какой-нибудь глупости. По-вашему, она согласится танцевать, если я ее приглашу?

— Может быть.

Она согласилась. Она поблагодарила его очень серьезно — ее мягкие губы едва пошевелились, а отсутствующее выражение глубоких глаз — во всяком случае, оно показалось ему таким — ничуть не изменилось, и она протянула ему руки. В его тесных объятиях (ему казалось, он буквально стиснул ее) она была легче, и воздушнее, и менее порывиста, чем Энида. Она двигалась легко и про-

ворно. С высоты своего роста он видел ее бледное лицо, ее крупные веки, почти прозрачные, так что сквозь кожу просвечивала сеточка жилок, видел окаймлявшие их светлые, золотистые густые ресницы. Через перчатку он чувствовал слабое тепло тонких пальцев, лежащих в его руке. Ее непорочно-белые плечи и бюст окружала кипень тюля и тарлатана, подобно пене морской, породившей Афродиту. Простая нитка белоснежного жемчуга, мерцая, едва выделялась на белоснежной шее. Ее нагота была гордой и недоступной. Вильям увлекал ее за собой; к стыду своему и изумлению, он ощутил, как его охватывает волнение. Он будто сжался весь под защитой фрака, одолженного у Лайонела, и подумал, будучи прежде всего ученым-натуралистом, что цель танцев и заключалась в том, чтобы пробудить в нем именно это желание, несмотря на целомудренность перчаток, на невинность молодой женщины, которую он держал в объятиях. Он вспомнил, как во время одной из плясок свингующий круг танцоров, опьяненных пальмовым вином, распался при смене ритма на пары, которые, обнявшись, принялись отплясывать вокруг кого-то, кому не досталось партнера. Он припомнил, как темногрудые женщины, блестевшие

от пота и масла, прижимались и льнули к нему, припомнил их грубые объятия и бесстыдные прикосновения. Видения из далекого, иного мира, казалось, сопровождали каждое его действие, каждый поступок.

— Вы думаете об Амазонке, — промолвила Евгения.

— Вы обладаете даром угадывать чужие мысли?

— Просто мне показалось, что вы где-то далеко. Амазонка ведь тоже далеко отсюда.

— Я думал, какая здесь красота: и архитектура, и молодые женщины в тюле и кружевах. Я смотрел на этот чудный готический свод, который, как говорит мистер Рёскин[2], подобен первобытной фантазии лесных деревьев, сплетающих кроны в вышине, думал о пальмах, возвышающихся, словно башни в джунглях, о прекрасных бабочках с шелковыми крыльями, что парят на недосягаемой высоте.

— Как это необычно, наверное, — ответила Евгения. Помолчав, добавила: — Я сделала пре-

---

**[2] Примечания: 2**

*Рёскин Джон* (1819–1900) — английский писатель, критик и художник, возглавивший возрождение готической архитектуры в викторианской Англии. Оказал большое влияние на художественные вкусы своего времени.

красное панно, что-то вроде лоскутного одеяла, похожее на цветную вышивку, из образцов, что вы прислали отцу. Я очень осторожно приколола их на бумагу, они столь изысканны — и создается впечатление, что перед вами украшенная бахромой подушка; никакой шелк не сравнится с тончайшими, неуловимыми оттенками их окраски.

— Туземцы были уверены, что мы ловим бабочек, чтобы использовать рисунки на крыльях для набивки ситца. Только так они могли себе объяснить наш интерес к этим насекомым, поскольку бабочек не употребляют в пищу, а те, что кормятся на ядовитых растениях, могут отравить. Причем это наиболее яркие экземпляры, которые парят неторопливо и гордо, как бы предостерегая об опасности, красуясь перед вами. И это, разумеется, самцы; их великолепие привлекает невзрачных самочек. В этом индейцы на них похожи: мужчины украшают себя пестрыми перьями, краской разнообразных оттенков, самоцветами. Женщины гораздо неприметнее. У нас же мужчины носят, словно черные тараканы, подобие хитиновых панцирей, а вы, женщины, напоминаете пышно расцветший сад.

— Отец очень расстроился, когда узнал, что вы

стали жертвой ужасного кораблекрушения и все потеряли. Ему стало жаль и вас, и себя. Он мечтал пополнить свою коллекцию.

— Мне удалось спасти наиболее редкие и красивые экземпляры. Я хранил их в коробке в изголовье кровати, мне нравилось разглядывать их; и они оказались под рукой, когда стало ясно, что надо покинуть корабль. Спасать мертвую бабочку — в этом есть что-то трогательное. Впрочем, одна из них очень редкая; не буду распространяться на эту тему, но уверен, что и ваш отец, и вы рады будете ее получить. Пусть это будет сюрпризом.

— Терпеть не могу, когда мне сообщают о готовящемся сюрпризе, но не хотят рассказать, в чем он заключается.

— Вы не любите неопределенность?

— Не терплю! Всегда хочу знать, что меня ждет. Меня пугает неожиданность.

— Значит, мне следует запомнить: я не должен преподносить вам сюрпризы, — подхватил он, подумав, как глупо прозвучали его слова. Поэтому ее молчание его не удивило.

В ложбинке, где сходились ее округлые груди и начиналась фиолетовая тень, выделялась ярко-красная родинка размером с небольшого

муравья. Под сливочно-белой кожей проступали голубые жилки. Желание снова требовательно шевельнулось в нем, и он показался себе нечистым и опасным. Он проговорил:

— Для меня большая честь, мисс Алабастер, стать членом вашего счастливого семейства, пусть и на время.

При этих словах она взглянула на него, и ее огромные синие глаза распахнулись. Казалось, они светились от невыплаканных слез.

— Я люблю свою семью, мистер Адамсон. Мы счастливы вместе. Мы очень-очень любим друг друга.

— Судьба улыбнулась вам.

— О да, я знаю. Нам улыбнулась судьба.

После десяти лет, что он прожил в лесах Амазонки, и особенно после тех дней, что провел в бреду, дрейфуя на спасательной шлюпке в Атлантическом океане, чистая и мягкая английская постель стала для Вильяма символом райского отдохновения.

Он пришел к себе далеко за полночь, но худощавая, молчаливая горничная ожидала его, чтобы принести теплой воды и согреть постель; потупив взор, она беззвучно сновала по комнате. В спальне была небольшая оконная ниша,

украшенная резьбой, на круглом витражном стекле изображены две белые лилии. В комнате с готическими сводами были вполне современные удобства: кровать красного дерева с резным узором из листьев плюща и ягод падуба, на которой покоились перина, набитая гусиным пухом, и мягкие шерстяные одеяла, а поверх — искусно расшитое тюдоровскими розами белоснежное покрывало. Однако он не спешил забраться в постель, вместо этого поставил на стол свечу и достал дневник.

Он вел дневник много лет. В юности, когда жил в деревне Ротерхем в Йоркшире, каждый день письменно экзаменовал свою совесть. Его отец, богатый мясник и непоколебимый методист, определил сыновей в хорошую местную школу, где они освоили греческий, латынь, основы математики, и требовал, чтобы братья ходили в церковь. Вильям, уже тогда любивший все классифицировать, подметил, что мясники, как правило, люди в теле, шумные и упрямые. У Мартина Адамсона, как и у сына, была грива темных блестящих волос, длинный и крепкий нос и зоркие голубые глаза под прямой линией бровей. Ремесло служило ему источником удовольствия: ему нравилось разделывать туши, он

наслаждался искусством приготовления колбас и мясных пирогов и умением выполнять ножом более тонкую работу. Образ адского пламени пугал его несказанно, днем мерцая в закоулках воображения, по ночам разгораясь и пожирая его сны. Он продавал первосортную говядину заводчикам и владельцам шахт, а шейную часть и потроха — шахтерам и фабричным рабочим. Возлагая большие надежды на будущее Вильяма, тем не менее ни к чему конкретному он его не склонял, лишь бы его профессия была хорошей и с перспективой роста.

Вильям вырабатывал наблюдательность на дворе фермы и на бойне, где пол был покрыт пропитанными кровью опилками. Для призвания, которое он наконец для себя определил, отцовские навыки оказались неоценимы: Вильям научился отменно обдирать, препарировать и коллекционировать экземпляры птиц, зверей и насекомых. Он анатомировал муравьедов, кузнечиков, муравьев с отцовской тщательностью, правда в микроскопическом масштабе. Дневники дней, что он провел на ферме и на бойне, отражали его стремление стать великим и самобичевание за грехи — за гордыню, недостаточное смирение, самомнение, медлительность

и нерешительность на пути к величию. Он попробовал свои силы в школе и управляющим в цехе чесальщиков шерсти, но о своих успехах на этом поприще писал с горечью: он был хорошим учителем латыни и видел, что вызывало затруднения у учеников; способный управляющий, он быстро находил лодырей и прогульщиков, а если надо было, мог быстро помочь, но его дарования, что бы они собой ни представляли, не проявлялись; он топтался на месте, а намеревался пойти далеко. Он не смог бы сейчас перечитать эти дневники, полные навязчивых, мучительных мыслей, жалоб на то, что ему не хватает воздуха, самобичевания, но он хранил их в одном из банков как часть отчета, отчета детального, о развитии ума и характера Вильяма Адамсона, который все еще не оставил надежды стать великим человеком.

Тон записей изменился, когда он занялся коллекционированием. Он предпринимал теперь долгие прогулки по сельской местности (в той части Йоркшира, где он жил, поля и красивейшая пустошь соседствовали с темными, грязными уголками) и первое время был охвачен религиозным экстазом, который соединялся с преклонением перед поэзией Вордсворта; он искал знаки

Божественной любви и порядка в каждой цветущей былинке, в журчащем ручье, в изменчивых облаках. Позже он стал брать с собой коробку, в которой относил растения домой, где их высушивал и с помощью «Энциклопедии растений» Лудона[3] классифицировал. Он находил представителей крестоцветных, зонтичных, губоцветных, розоцветных, бобовых, сложноцветных и великое множество их разновидностей, сменяющих друг друга в зависимости от места произрастания и климата, затемняя и размывая строгую упорядоченность ветвей классификации. Одно время в его дневнике стали появляться записи о чуде Божьего промысла, и незаметно для себя он перестал копаться в себе и перешел к описанию венчиков, форм листовых пластинок, живых изгородей, болот и заросших берегов. Впервые его дневник наполнился радостью обретенной цели. Тогда же он принялся собирать насекомых и был поражен, обнаружив на нескольких квадратных милях поросшей вереском пустоши сотни разных видов жуков. Частенько наведываясь на бойню, он подмечал, где предпочитают откладывать

**[3] Примечания: 3**

*Лудон Джон* (1783–1843) — шотландский архитектор и садовод; им был написан ряд работ по садоводству, парководству и малым архитектурным формам.

яйца мясные мухи, описывал, как двигаются и питаются их личинки, как кишит и плодится вся эта неорганизованная с виду масса, движимая каким-то упорядочивающим началом. Казалось, мир изменился: вырос и стал ярче; зеленые, голубые и серые акварельные краски уступили место яркому, режущему глаз узору из тонких линий и разлетающихся точек, блестящих черных и малиновых пятен и полосок, радужно-изумрудных, темно-коричневых, как жженый сахар, и влажно-серебристых.

Позже он понял, что его главная страсть — общественные насекомые. Он рассматривал правильные ячейки сот в ульях, наблюдал за цепочками муравьев, которые общались при помощи тонких усиков и всем скопом перетаскивали крылья бабочки и кусочки клубничной мякоти. Подобно глупому великану, он стоял и смотрел, как эти непостижимые создания, проявляя недюжинный ум, созидают и разрушают в трещинах брусчатки у него под ногами. Вот он, ключ к пониманию мира. Он посвятил целые страницы дневника наблюдению над муравьями. Тогда, в 1847-м, ему было 22 года. В том же году в ротерхемской школе механики он познакомился с энтомологом-любителем, и тот показал ему в

журнале «Зоолог» статьи Генри Уолтера Бейтса[4], где, в частности, шла речь об отряде жесткокрылых. Он написал Бейтсу, изложив собственные наблюдения над муравьиными сообществами, и получил благосклонный ответ; Бейтс советовал ему работать и далее, добавив, что «с другом и коллегой Альфредом Уоллесом[5] задумал экспедицию в амазонские джунгли в поисках неведомых доселе животных». Вильям уже был знаком с отчетами Гумбольдта[6] и В. Г. Эдвардса, красочно описавшими буйство амазонской флоры, игривых и неунывающих носух, агути, ленивцев; кричаще оперенных трогонов, момотов, дятлов, дроздов, попугаев, манакинов и бабочек «величиной с ладонь, насыщенной металлической синевы». Неизведанные леса, покрывающие

**[4] Примечания: 4**

*Бейтс* (Бэтс) *Уолтер* (1825–1892) — английский естествоиспытатель, энтомолог, который в 1862 г. дал объяснение поразительному сходству окраски некоторых бразильских лесных бабочек, принадлежащих к разным семействам. Он показал, что птицы избегают склевывать ядовитых или неприятных на вкус бабочек, распознавая их по специфической окраске, и что существуют съедобные виды, маскирующиеся под несъедобные. Таким образом, Бейтс стал первооткрывателем мимикрии в природе. Указанный вид мимикрии назван в его честь мимикрией Бейтса.

**[5] Примечания: 5**

*Уоллес Альфред* (1823–1913) — английский естествоиспытатель, независимо от Ч. Дарвина разработавший в 1858 г. эволюционную теорию, в которой движущей силой эволюции выступал естественный отбор.

**[6] Примечания: 6**

*Гумбольдт Александр фон* (1769–1859) — немецкий путешественник, натуралист. Гумбольдт внес большой вклад в развитие физической географии и биогеографии. В 1799–1804 гг. участвовал в экспедиции по Южной Америке.

миллионы квадратных миль, способны принять в свои сияющие девственные глубины, кроме Уоллеса и Бейтса, еще одного английского энтомолога. Там ему встретятся новые виды муравьев, которые, не исключено, будут названы в его честь *adamsonii,* там будет где развернуться сыну мясника на его пути к величию.

Восторженные, фантастические мечты перемежались теперь в его записях со сметами затрат на оборудование, на ящики для образцов, с названиями кораблей и полезными адресами. Вильям покинул Англию годом позже Уоллеса и Бейтса — в 1849 году, а вернулся в 1859-м. Бейтс дал ему адрес своего коммерческого агента Сэмюэла Стивенса, который получал и продавал собранные натуралистами образцы. Он-то и рассказал о Вильяме преподобному Гаральду Алабастеру, который лишь по смерти своего бездетного брата в 1848 году унаследовал титул баронета и особняк в готическом стиле. Страстный коллекционер, Алабастер писал своему новому другу, которого никогда не видел, длинные письма, достигавшие адресата спустя долгое время; его одинаково интересовали как верования аборигенов, так и повадки бражника и муравья зойба. Вильям отвечал тоном выдающегося натуралиста, за-

бравшегося в глушь, куда до него не ступала нога человека, приправляя письма милым самоуничижительным юмором. В письме, которое Вильям получил через год после того, как оно было отправлено, Гаральд Алабастер поведал ему о жестоком пожаре на судне Уоллеса в 1852 году. Перспектива, что на обратном пути еще один натуралист может потерпеть крушение, почему-то представлялась Вильяму маловероятной, — как оказалось, напрасно. Бриг «Флер-де-Ли» был прогнившим негодным судном, и Вильям не застраховал на случай гибели свою коллекцию. Как всякий человек, избежавший смерти, он был полон простой радости, что жив, когда получил от Гаральда Алабастера письмо с приглашением, и, собрав все, что удалось спасти, включая тропические дневники и самых ценных бабочек, отправился в Бридли-холл.

Дневники, что он вел в тропиках, были сплошь в пятнах (коробку он залил парафином, уберегая от жвал муравьев и термитов), в грязи и лиственном соке, что было следствием не всегда удачных перевозок в каноэ; соленая вода, словно обильные слезы, оставила на страницах чернильные разводы. Он сидел в одиночестве в лачуге с кровлей, сплетенной из листьев, и земляным

полом и торопился описать все: прожорливые орды муравьев-легионеров, крики лягушек и аллигаторов; замыслы наемных помощников, сговаривавшихся его убить; однообразные зловещие вопли ревунов; языки племен, среди которых жил; бесконечные различия в окраске бабочек, нашествия кусачих мух и утрату душевного равновесия в огромном зеленом мире бессмысленного изобилия, буйной растительности, неторопливого, бесцельного и бездушного существования. Напрягая глаза при свете горящего черепахового жира, он писал, как одинок, как ничтожен по сравнению с рекой и лесом; как полон решимости вынести все, хотя в то же время уподоблял себя мошке, бьющейся в склянке коллекционера. Он привык выражаться, не имея возможности говорить на родном языке, в письменной форме, хотя бегло владел португальским, *lingua geral*, языком большинства аборигенов, и несколькими племенными наречиями. Изучение древнегреческого и латыни развило в нем вкус к языкам. Упражнения в описании природы сделали его ценителем поэзии. В джунглях он читал и перечитывал «Потерянный рай», «Рай обретенный» и сборник «Перлы наших старых поэтов». Эту книгу он и взялся теперь читать. Бы-

ло, наверное, не меньше часа ночи, но кровь его кипела, а разум бодрствовал. Сон не шел к нему. В Ливерпуле он купил новую записную книжку в зеленом, мраморного рисунка, элегантном переплете; раскрыв ее на первой чистой странице, он переписал стихотворение Бена Джонсона, которое всегда его влекло к себе, а теперь вдруг заговорило по-новому, злободневно:

*Вы видали лилей белизну,*
*Не тронутых рукою?*
*Вы видали снегов пелену,*
*Не смешанных с землею?*
*Осязали мех соболиный,*
*Пух лебединый?*
*Обоняли шиповника цвет по весне*
*Или нард на огне?*
*Услаждала вас улья казна?*
*Столь бела, столь нежна, столь прелестна она!*[7]

Те самые слова, которые ему хотелось написать в дневнике. «Столь бела! Столь нежна! Столь прелестна!» — хотелось ему воскликнуть.

---

**[7] Примечания: 7**
Перевод В. Рогова.

Его ждала неизвестность. Ему вспомнилась строчка из детской сказки, слова арабского принца, которому шаловливые духи на мгновение показали во сне прекрасную принцессу Китая. «Я умру, если она не будет моей», — сказал принц своим родственникам и слугам. Вильям опустил перо на бумагу и написал:

«Я умру, если она не будет моей».

Какое-то время, с пером в руке, он раздумывал, затем, строчкой ниже, написал снова:

«Я умру, если она не будет моей». И добавил:

«Разумеется, я не умру. Это нелепо. Но знакомая фраза из старой сказки, кажется, лучше всего отражает тот обвал, тот водоворот, что случился сегодня вечером в моей душе. Полагаю, я существо рациональное. Я выстоял, сохранил рассудок и бодрость духа, несмотря на то что жил впроголодь, несмотря на долгое одиночество, желтую лихорадку, предательство, людскую злобу, кораблекрушение. В детстве, когда я читал сказки, сила любви, выразившаяся в словах: „Я умру, если она не будет моей“, внушала мне скорее ужас, нежели восхищение. Я не торопился любить. Я не искал любви. Составленный мною рациональный план, совпадающий сегодня с моим романтическим планом, предполагает, что, отдохнув, я возвра-

щусь в джунгли; в этом плане не отведено места поискам жены, ибо я полагал, что в ней особенно не нуждаюсь. Верно и то, что, когда я был в бреду и, раньше, когда лечился от лихорадки в хижине той грязной ведьмы, которая причиняла мне страданий больше, чем оказывала помощи, я мечтал временами, чтобы рядом была ласковая подруга, которая была мне очень нужна, но которую я по глупости своей забыл, и тогда передо мной возникал бесплотный образ тоскующей девы, проливающей по мне слезы, да, я очень тосковал по ней.

К чему я стремлюсь? Я пишу, будучи почти в такой же горячке, как тогда. Сам факт, что я допускаю мысль о возможности нашего соединения, с традиционной точки зрения покажется оскорбительным, ибо, согласно ей, мы занимаем неравное положение в обществе; и, более того, у меня нет ни денег, ни перспектив. Но общепринятый взгляд не сможет меня поколебать; я не испытываю почтения к придуманным ложным авторитетам, чинам и социальным ступеням, которые сохраняют путем пустой и низкой суеты внутрисемейных браков; какой ни есть, я такой же порядочный человек, как Е. А., и могу поклясться, что я использовал свой разум и

физические возможности для достижения по-настоящему достойной цели. Но убедят ли эти рассуждения людей, чья семья устроена так, чтобы давать отпор чужакам, подобным мне? Разумней всего забыть, подавить неуместные чувства, поставить точку».

На секунду он задумался и написал в третий раз:

«Я умру, если она не будет моей».

Он спал хорошо, и ему снилось, будто он идет по лесу за стайкой золотистых птиц; птицы усаживаются, охорашиваются, подпускают его к себе, а потом летят прочь, пронзительно крича, и вновь садятся подальше от него.

Рабочий кабинет Гаральда Алабастера примыкал к маленькой часовне Бридли-холла. Он был шестиугольной формы, с деревянными панелями на стенах и двумя вырезанными в камне глубокими окнами в позднем готическом стиле; потолок, тоже каменный, серовато-желтого цвета, состоял из меньших по размеру шестиугольников и походил на пчелиные соты. В центре его находилось необычное окно для дневного света, напоминавшее фонарь Илийского собора, а под ним — широкий, внушительный готический стол, отчего кабинет имел вид совещательной

комнаты капитула. Вдоль стен стояли высокие книжные шкафы, полные книг в лоснящихся кожаных переплетах, и тумбы с вместительными выдвижными ящиками. Под стеклянным верхом одной из шестиугольных тумб блестящего красного дерева покоились, приколотые булавками, бабочки семейств геликонид, парусников, данаид, итомид, изловленные когда-то Вильямом. Над коробками были вывешены листы; по краю каждого вился очаровательный узор из фруктов, цветов, листьев, птиц и бабочек, который окаймлял тщательно выписанный готическими буквами текст. Гаральд Алабастер указал на листы Вильяму:

— Евгения любит разрисовывать их для меня. Они радуют глаз: красиво надписаны и старательно исполнены.

Вильям прочитал вслух:

> «Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых:
>
> Муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою;
>
> Горные мыши – народ слабый, но ставят домы свои на скале;
>
> У саранчи нет царя, но выступает вся

она стройно;

Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах».

***Притчи 30: 24–28***

— Посмотрите, с каким вкусом подобраны чешуекрылые. Это тоже работа Евгении. Боюсь, она не опиралась на строго научные принципы, но работа тонка и замысловата, словно окно-розетка с живым узором, и в самом деле показывает невероятную красочность и великолепие мира насекомых. Мне особенно по душе пришлась ее идея разместить среди бабочек маленьких радужно-зеленых скарабеев. Евгения говорит, что на эту мысль ее навели шелковые узелки в вышивке.

— Вчера вечером она описала мне свою работу. По всему видно, она очень умело обращается с коллекционным материалом. И результат отменный, просто восхитителен.

— Евгения — милая девочка.

— Она очень красивая.

— И надеюсь, ее ожидает настоящее счастье, — промолвил Гаральд Алабастер.

Вильяму, внимательно прислушивавшемуся к каждому его слову, показалось, что Алабастер до

конца не уверен в том, что так и будет.

Гаральд Алабастер был высок, сухопар и сутуловат. Его лицо, худое, цвета слоновой кости, носило фамильное сходство с его детьми; слегка водянистые синие глаза, которые чуть слезились, рот прятался в пышной патриархальной бороде. И борода, и длинные густые волосы были почти седые, но кое-где уцелевший светло-русый цвет сообщал им неожиданно тусклый латунный оттенок. Алабастер носил свободную черную куртку с жестким стоячим воротничком и мешковатые брюки, а поверх — нечто вроде монашеской сутаны из черной шерсти с длинными рукавами и капюшоном — возможно, надевал ее из практических соображений, поскольку, даже растопив все камины, чего почти никогда не делали, не удавалось обогреть очень холодные углы особняка. Вильям вел с ним многолетнюю переписку, но впервые встретился лицом к лицу. Он ожидал увидеть человека более молодого и крепко сложенного, бодрого и уверенного, как те коллекционеры, с которыми он свел знакомство в Лондоне и Ливерпуле, люди дела и любители интеллектуальных развлечений. Свои спасенные сокровища он снес вниз и теперь, не распаковывая, положил на рабочий стол Алабастера.

Гаральд Алабастер дернул за шнурок звонка, висевшего над столом, и, бесшумно ступая, слуга внес кофейный поднос, разлил кофе по чашкам и удалился.

— К счастью, вам удалось спастись, и мы должны быть благодарны за это, однако гибель образцов — очень тяжелая потеря. Пусть мой вопрос не покажется нескромным, но что вы намереваетесь делать дальше, мистер Адамсон?

— У меня едва ли было время об этом подумать. Я надеялся выручить сумму, достаточную, чтобы некоторое время пожить в Англии, используя обширный материал своих дневников, написать о путешествиях, заработать денег на снаряжение и вернуться на Амазонку. Те из нас, кто побывал там, едва прикоснулись к таинственной завесе, за которой тянутся миллионы миль неизвестных джунглей, скрывающих миллионы неведомых существ. Я намереваюсь решить ряд проблем… особый интерес представляют для меня муравьи и термиты, я хотел бы посвятить себя долговременному изучению некоторых сторон их жизни. Я, например, полагаю, что смогу найти лучшее, чем у мистера Бейтса, объяснение удивительным повадкам муравьев-листорезов; мне бы также хотелось отыскать муравейник легионеров вида

*Eciton burchelli*, чего до сих пор никому не удавалось. Мне даже приходила мысль, что они вечные переселенцы, разбивающие лагерь лишь на время, такое поведение не свойственно известным видам муравьев, но эцитоны, в поисках пищи разоряющие все вокруг, должны постоянно перемещаться, чтобы выжить. Есть еще одна интересная проблема, решение которой может подтвердить наблюдения мистера Дарвина: муравьи, в течение тысячелетий селившиеся в некоторых бромелиевых, очевидно, обусловили внутреннее строение этих растений — в процессе роста в них образуются пустоты и коридоры, которые служат гостям-муравьям приютом. Мне бы хотелось продемонстрировать эту зависимость, и я также… Впрочем, прошу меня извинить за то, что, нарушая приличия, говорю сбивчиво и без остановок. Когда я жил в лесу, ваши письма, сэр, были мне утешением, редкой роскошью. Они прибывали вместе с самым необходимым — провизией, которой постоянно не хватало: маслом, сахаром, пшеницей, мукой, — я ожидал их с нетерпением. Желая продлить наслаждение, я растягивал чтение, как растягивал запасы сахара и муки.

— Рад, что сумел кому-то доставить подлинное

удовольствие, — ответил Гаральд Алабастер. — Надеюсь, теперь я смогу помочь вам в более практичных материях. Сейчас мы разберемся с тем, что вы привезли, — за экземпляры, которые я оставлю себе, я вам щедро заплачу. Вот только я подумал… мне хотелось бы знать, не согласитесь ли вы погостить у нас какое-то время, необходимое для того, чтобы… Видите ли, если бы ваша коллекция уцелела, вам пришлось бы потратить много времени на сортировку и составление описи — труд, что и говорить, объемный… Стыдно признаться, но в пристройках у меня свалены горы ящиков, купленных без особого разбора у мистера Уоллеса, мистера Спруса, у путешественников, вернувшихся с Малакки, из Австралии и Африки, — я недооценил всю сложность приведения в порядок их содержимого. Есть что-то весьма несправедливое в том, что, лишая землю ее красоты и чудес, люди не ищут им применения, ведь только культ полезных знаний и способность любознательности могут оправдать наше хищничество. Я, как дракон из поэмы, владею сокровищем, но не умею им воспользоваться. Мне хотелось бы предложить вам привести все в порядок; если вы согласитесь на мое предложение, у вас появится возможность

обдумать дальнейшие шаги…

— Весьма великодушно, — заметил Вильям, — тем самым у меня была бы крыша над головой и работа, на которую я способен.

— Но вы колеблетесь…

— Я всегда четко видел свою цель, имел ясное представление о том, что я должен делать и как должна протекать моя жизнь…

— И вы сомневаетесь, что Бридли-холл имеет отношение к вашему призванию?

Вильям был в нерешительности. Его мысли занимал образ Евгении Алабастер, белая грудь которой поднималась из моря кружев ее бального платья, как Афродита из пены прибоя. Но он не собирался говорить о своих чувствах; ему даже доставляло удовольствие их скрывать.

— Я должен изыскать средства для снаряжения следующей экспедиции.

— Возможно, — заговорил вкрадчиво Гаральд Алабастер, — в будущем я сумел бы вам помочь в этом. Не как простой покупатель, но более существенным образом. Я хотел бы тем не менее предложить вам остаться у нас подольше и по крайней мере осмотреть мои богатства; разумеется, ваша работа будет оплачена по договоренности, исходя из ваших профессиональных

качеств. Я не стремлюсь полностью занять ваше внимание, об этом и речи не идет, так что у вас будет достаточно времени для обдумывания вашего будущего труда. А тем временем и все остальное уладится, будет найдено судно, и, смею надеяться, однажды какая-нибудь гигантская жаба или свирепого вида жук, обитатель нижнего яруса джунглей, увековечат мое имя, будучи названы, скажем, *Bufo amazoniensis haraldii* или *Cheops nigrissimum alabastri.* Мне эта мысль по душе, а вам?

— Не вижу повода и причины отказываться от подобного предложения, — отозвался Вильям, снимая с коробки обертку. — Я принес вам нечто… нечто чрезвычайно редкое, и, по стечению обстоятельств, у себя дома, в девственном лесу, этот образец уже носит имя одного из членов вашей семьи. Здесь у меня несколько самых необычных экземпляров геликонид и итомид, весьма интересных, а тут несколько роскошных парусников, одни — с красными точками на крыльях, другие — темно-зеленые. Я желал бы обсудить с вами кое-какие значимые различия в форме, которые вполне могут быть доказательством того, что эти создания пребывают в процессе внутривидовой дивергенции.

Взгляните! Вот эти, думаю, особенно вас заинтересуют. Я знаю, вы получили посланный мною экземпляр *Morpho Menelaus;* я отправился на поиски его сородича, бабочки *Morpho Rhetenor,* более яркой, с сильнее выраженным металлическим отливом и размахом крыльев более семи дюймов. Одной мне удалось завладеть, однако, как видите, она малопригодна для коллекции — крылья чуть надорваны и не хватает лапки. Эти бабочки летают над широкими, залитыми солнцем лесными дорогами; летают неторопливо, словно птицы, изредка взмахивая крыльями, и очень редко опускаются ниже двадцати футов, так что их почти невозможно поймать. Они невероятно красивы, когда в зеленоватом свете проплывают у вас над головой. Но я нанял нескольких проворных мальчишек-индейцев, они забрались на деревья и сумели отловить для меня пару бабочек вида, родственного ретенор, не менее редких и по-своему не менее прелестных; и хотя они не голубой окраски, посмотрите: самец — лоснящийся, атласно-белый, самка — бледно-лиловая и неброская, но утонченно красивая. Когда мне принесли бабочек, да еще в таком отличном состоянии, я почувствовал, как кровь ударила мне в голову, мне показалось, что от волнения я упаду

в обморок. Тогда я и не подозревал, как к месту они придутся в вашей коллекции. Эти бабочки — близкие родственники: *Morpho Adonis* и *Morpho Uraneis Batesii.* Их видовое название — *Morpho Eugenia,* сэр Гаральд.

Гаральд Алабастер смотрел на блестящих мертвых бабочек.

– *Morpho Eugenia.* Замечательно. Какое дивное создание! Как она прекрасна, какая филигранная форма. Удивительно. Будучи столь хрупким созданием, она достигла меня с другого конца земли, пройдя через такие опасности. А какая редкая! Ни разу в жизни не видел такой бабочки. Даже не слышал, чтобы кому-то еще довелось ее видеть. *Morpho Eugenia,* замечательно.

Он снова потянул за шнурок звонка, отчего в комнате послышался слабый скрип.

— Трудно не согласиться с герцогом Аржильским в том, — продолжал он, — что несказанная красота этих созданий сама по себе есть свидетельство работы Творца, который также одарил человека восприимчивостью к красоте и чувствительностью к едва заметным различиям и оттенкам цвета.

— Мы и в самом деле очень чутко воспринимаем их, — осторожно сказал Вильям, — интуиция

подсказывает мне, что вы правы. Но с точки зрения науки я нахожу необходимым возразить: на выполнение какой цели в природе направлены эти яркость и красота? Мистер Дарвин, насколько мне известно, склонен думать, что интенсивная алая или золотая окраска именно самцов бабочек и птиц (тогда как самки часто невзрачны и неприметны), которую они как бы выставляют напоказ, есть преимущество, благодаря которому самец может быть избран самкой в качестве брачного партнера. Мистер Уоллес доказывает, что неброская окраска выполняет защитные функции, помогает самке быть невидимой, когда она прячется под листком, чтобы отложить яйца, или когда сидит в гнезде, сливаясь с окружающей тенью. Я сам замечал, что ярко окрашенные бабочки-самцы кружатся огромными стаями в солнечных лучах, тогда как самки робко прячутся под кустом или в прохладном сыром месте.

Раздался стук в дверь, и в кабинет вошел лакей.

— А, Робин, отыщите, если сможете, мисс Евгению и младших девочек — мы хотим кое-что им показать. Велите ей поторопиться.

— Да, сэр.

И дверь снова закрылась.

— Есть еще один вопрос, — продолжал Вильям, — который я часто себе задаю. Почему самые яркие бабочки сидят без опаски на листьях с расправленными крыльями; почему они летают неторопливо, лишь изредка взмахивая крыльями? Взять, к примеру, парусников, известных также под именем фармакофагов, иначе «пожирателей яда», потому что они питаются ядовитыми лозами аристолохии; они будто понимают, что могут фланировать безбоязненно, что хищник их не сцапает. Возможно, что дерзкая демонстрация яркого и разноцветного окраса — своего рода бесстрашное предупреждение. Бейтс предполагает даже, что некоторые безобидные виды подражают в окраске ядовитым парусникам, чтобы сделаться столь же неуязвимыми. Он открыл нескольких белых и зеленовато-желтых пиерид, которых не отличил бы от итомид не только брошенный мимоходом взгляд, но и внимательный наблюдатель, не вооруженный, правда, микроскопом…

В комнату вошла Евгения. Она была очаровательна в платье из белого муслина, украшенном вишнево-красными лентами и бантом и перехваченном пояском того же цвета. Когда она приблизилась к отцовскому столу, чтобы по-

смотреть на бабочек, Вильям растерялся, и ему почудилось, что ее окутывает облако волшебных пылинок, которое притягивает и в то же время отталкивает его, не пуская за незримый барьер. Он вежливо ей поклонился и тут же вспомнил о безрассудных отчаянных словах, которые записал в дневнике: «Я умру, если она не будет моей»; представил себе корабль, взлетающий на волнах бурлящей зеленой воды, скатывающихся с носа судна, водяную пыль, клубящуюся в воздухе. Опасность его не пугала, но он обладал трезвым рассудком, и мысль о том, что бесплодный жар может иссушить его, не принесла радости.

— Какое чудное создание, — проговорила Евгения. Ее мягко очерченные губы были приоткрыты. Вильям видел влажные, ровные, молочно-белые зубы.

— Это *Morpho Eugenia,* дорогая. Названа не в твою честь, но отдана мистером Адамсоном в твое распоряжение.

— Какая прелесть. Она изумительна — такая белая, такая блестящая…

— Нет-нет, это самец. Самка — та, что поменьше, светло-лиловая.

— Какая жалость. Меня привлекает как раз его атласно-белый окрас. Это, впрочем, естественно,

ведь я женщина. Мне хотелось бы представить их в полете. Но, как ни пытайся сохранить их естественный вид, они все равно выглядят застывшими, как палые листья. Я бы хотела держать дома бабочек, как мы держим птиц.

— Их вполне можно держать в оранжерее, если должным образом ухаживать за личинками, — ответил Вильям.

— Как было бы приятно сидеть в оранжерее в окружении целого облака бабочек. Как романтично!

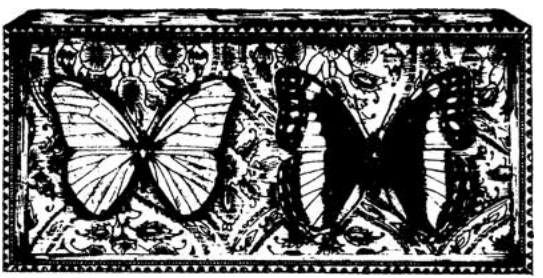
— Я без труда мог бы устроить для вас облако из бабочек. Разумеется, не из *Morpho Eugenia,* но из местных: синих и белых, золотистых и алых. В этом облаке вы сами были бы *Morpho Eugenia,* что означает «прекрасная», «изысканной формы».

— В противоположность аморфности, — заметила Евгения.

— Совершенно верно. Первобытные амазонские джунгли — бесконечное однообразие зелени, облака мошек и москитов, плотная стена ползучих растений и подлеска — часто представлялись мне воплощением бесформенности. Но вот появлялось нечто совершенное, великолепно оформленное, от чего захватывало дух. И это была *Morpho Eugenia,* мисс Алабастер.

Она обратила на него свой влажный взор, пытаясь решить, не заключен ли здесь комплимент; казалось, она обладала особым чутьем на комплименты. Он встретился с ней взглядом, коротко и печально улыбнулся, и она ответила ему короткой и печальной улыбкой и быстро прикрыла ресницами синие озера глаз.

— Я сделаю для них специальный стеклянный ящичек, вот увидите, мистер Адамсон. Они будут танцевать вдвоем вечно, одетые в белый атлас и лиловый шелк. Вы должны подсказать мне, какие цветы и листья нарисовать для фона, — мне бы хотелось, чтобы они выглядели как настоящие.



— К вашим услугам, мисс Алабастер.

— Мистер Адамсон дал согласие погостить у нас некоторое время, дорогая, и помочь мне привести в порядок коллекции.

— Хорошо. В этом случае я смогу воспользоваться его предложением.

Разобраться в повседневной жизни Бридли-холла было нелегко. Вильям чувствовал себя одновременно беспристрастным антропологом и сказочным принцем, которого удерживали в заколдованном замке незримые врата и шелковые узы. Каждый здесь занимал определенное место и вел определенный образ жизни, так что ежедневно на протяжении месяцев он открывал для себя новых людей, о существовании которых не подозревал, занимавшихся делами, ранее ему неведомыми.

Бридли строили как средневековую усадьбу, но на деньги нового времени. Продолжалось это долго; в 1860 году с начала строительства минуло тридцать лет. Алабастеры принадлежали к древнему благородному роду, испокон веку сохранявшему чистоту крови; они никогда не обладали большой властью, но возделывали поля, собирали книги, лошадей, разные диковинки и разводили домашнюю птицу. Гаральд Алабастер был вторым сыном Роберта Алабастера, который и построил Бридли-холл на деньги, полученные с приданым жены, дочери ост-индского купца. Дом перешел по завещанию старшему брату

Гаральда, тоже Роберту, который, в свою очередь, женился на состоятельной девице, дочери графа средней руки; та родила ему двенадцать детей, но все они умерли в младенчестве. Гаральд, как и полагалось младшему брату, принял духовный сан и обосновался в Фенах, где в свободное время занимался ботаникой и энтомологией. Он был тогда беден — состояние Роберта-старшего осело в Бридли, унаследованном Робертом-младшим. Гаральд был женат дважды. Первая жена, Джоанна, родила ему двух сыновей, Эдгара и Лайонела, и умерла в родах. Гертруда, нынешняя леди Алабастер, вышла за него замуж, как только он овдовел. Гертруда Алабастер также принесла богатое приданое — она была внучкой владельца шахт, склонного к благотворительности и умевшего в то же время удачно вложить капитал. Она рожала детей, одного за другим, с завидной покорностью. Сначала Вильям думал, что у нее только те пятеро, с которыми его познакомили, но вскоре обнаружил по меньшей мере еще пятерых: троих — Маргарет, Элен и Эдит, в классной комнате, близнецов Гая и Алису — в детской. Среди домочадцев было несколько разновозрастных девиц-приживалок, родственниц самих Алабастеров и их жен. За столом неизменно при-

сутствовала некая мисс Фескью, которая громко чавкала и хранила упорное молчание; еще в доме жила сухопарая мисс Кромптон, которую обычно называли Мэтти. Она не была ни гувернанткой — эти обязанности исполняла мисс Мид, — ни няней, как Дакрес, хотя младшие члены семейства находились под ее опекой. Бывали в гостях молодые люди, друзья Эдгара и Лайонела. А в темном мире за дверью людской обитала прислуга: от дворецкого и экономa до посудомоек и мальчиков на побегушках.

День начинался с утренней молитвы в домовой церкви. Служба отправлялась после завтрака, к ней ходили те члены семьи, которые уже успели встать, и неслышные слуги, всякий день в разном составе: служанки в черных платьях и безупречно белых передниках и слуги в черных сюртуках; они рассаживались — мужчины справа, женщины слева — на задних скамьях. Алабастеры занимали передние ряды. Ровена ходила к службе часто, Евгения редко, дети в сопровождении Мэтти и мисс Мид — каждый день. Леди Алабастер появлялась исключительно по воскресеньям и обыкновенно дремала в переднем углу, пурпурная от лучей солнца, бьющих из витражного окна. Церковь была очень простой, внутри было

не жарко. Сидели на жестких дубовых скамьях, и единственным, что привлекало взгляд, были высокие витражи с синими виноградными гроздьями и кремовыми лилиями да сам Гаральд. В первые дни пребывания Вильяма в доме Гаральд читал краткие проповеди. Они вызывали у Вильяма живой интерес. В них не было ни привычных ему с детства угроз, ни религиозного экстаза, ни багровых бездн, где горел вечный огонь, ни алых потоков жертвенной крови. Проповеди были добрыми; в них говорилось о любви — о любви к ближнему, что было особенно актуально, о любви к Богу Отцу, который неусыпно печется о благоденствии всякой птахи и простер свою бесконечность на Отца и Сына, дабы сделать свою любовь понятнее для человеков, которые начинают постигать природу любви на примере естественных уз, связывающих членов семьи, материнского тепла и отцовского покровительства, братской и сестринской близости; этой любви назначено выйти из лона семьи и, в стремлении уподобиться любви Божественного Родителя, объять все творение: сначала домочадцев, затем свой народ и далее все человечество, вообще все живое, столь дивно сотворенное.

Гаральд читал проповедь, а Вильям всматри-

вался в его лицо. Если приходила Евгения, он иногда осмеливался наблюдать и за ней; но ее глаза были всегда скромно потуплены, к тому же она обладала великим умением сидеть не шелохнувшись, сложив руки на коленях. Гаральд же всякий раз был иным. Временами, когда его голова была вскинута, а на белые пряди бороды падал свет, он — пронзительным взором, белоснежной сединой волос, древностью — напоминал Бога Отца. Иной раз, когда он вел речь спокойно и едва слышно, устремив взгляд на шахматные клетки пола, он казался почти жалким; неопрятна была и его старая поношенная мантия. Случалось, что на миг он представлялся Вильяму португальским монахом-миссионером, — с ними ему приходилось встречаться на Амазонке, то были исхудавшие до крайности люди с горячечным взглядом, которые тщились разгадать причину непонимания со стороны умиротворенно-равнодушных индейцев. А это сходство, в свою очередь, наводило Вильяма, сидевшего на жесткой скамье в английской церкви, на воспоминания об ином ритуале, когда мужчины-индейцы собирались

и пили каапи, или айауаску[8], вино мертвеца. Однажды, попробовав вина, он увидел, словно с высоты птичьего полета, ландшафты, города-громады, высокие башни; он блуждал по лесу, со всех сторон кишели змеи, и жизнь его была в опасности. Женщинам под страхом смерти запрещалось не только пробовать вино, но и смотреть на ботуто — барабаны, созывавшие на церемонию возлияния. Сейчас, сидя на мужской половине церкви среди членов благочинного английского семейства, он вспоминал, как разбегались в панике женщины, закрывая глаза руками, и одновременно наблюдал, как Евгения розовым языком облизывает пухлые губы. Вильям почувствовал, что обречен на раздвоенность сознания. Что бы с ним ни происходило, все порождало образ-двойник оттуда, отчего не только амазонские обряды, но и английская проповедь казалась странной, ненастоящей, непонятной. Под покровом ночи он сумел вывезти один ботуто в каноэ, спрятав его под одеялами, но, как и все его иму-

**[8] Примечания: 8**

*Айауаска* (также каапи) — южноамериканский напиток, приготовляемый на алкогольной основе из истолченной в муку тропической лианы, которая содержит сильный галлюциноген, идентичный ЛСД. Используется амазонскими знахарями как лекарственное средство, а также для отправления местных культов, поскольку, кроме характерного ощущения полета, вызывает, по убеждениям аборигенов, способность ясновидения.

щество, барабан скрылся под толщей серой воды. Возможно, он и стал причиной его злоключений.

— Мы должны без устали благодарить Господа за Его многие к нам милости, — сказал Гаральд Алабастер.

Вильяму оборудовали рабочее место в заброшенной седельной по соседству с конюшней. Часть комнаты была заставлена жестяными коробками, деревянными ящиками, ящиками из-под чая, набитыми образцами со всего света, скупленными Гаральдом без особого, судя по всему, разбора и предпочтения. Там были обезьяньи шкурки, тонкие шкурки попугаев, заспиртованные ящерицы и чудовищные змеи, горы коробок с мертвыми жуками, ярко-зелеными и переливчато-пурпурными и похожими на закопченных чертей с уродливыми рогатыми головами. Здесь же стояли ящики с образцами минералов, были свалены пучки мхов, связки плодов и цветов, привезенные из тропиков и с ледяных шапок Севера, медвежьи зубы и носорожьи рога, акульи костяки и куски кораллов. Содержимое нескольких ящиков источили в мелкую пыль термиты, некоторые образцы превратила в вязкое месиво плесень. Когда Вильям спросил своего благодетеля, на каких принципах он должен строить

работу, Гаральд ответил:

— Вы ведь знаете, как навести порядок. Разберите экземпляры по какому-то одному принципу, чтобы эти образцы приобрели хоть какой-то смысл.

Вильям догадался, что Гаральд не взялся за эту работу сам отчасти потому, что не имел ни малейшего представления о том, с чего начать. Временами он приходил в бешенство оттого, что сокровища, ради которых люди, подобные ему, рисковали жизнью и здоровьем, свалены в полном беспорядке на конюшне. Он раздобыл складной стол, гроссбухи, коллекционные шкафы и шкафы с выдвижными ящиками для крупных образцов. Он установил микроскоп и начал готовить ярлыки. Ежедневно ему приходилось перекладывать образцы из ящика в ящик: то сталкивался с целым войском жуков, то обнаруживал сонм лягушек. Он так и не придумал, по какому принципу сортировать материал, но продолжал усердно готовить ярлыки, раскладывать и изучать.

В седельной было холодно и темно, как в могиле, кроме того места, где свет проникал через окно, расположенное так высоко, что в него нельзя было заглянуть. Когда конюхи чистили стойла,

Вильям слышал каждый звук и чувствовал каждый запах: и парной запах навоза, и аммиачный дух конской мочи, и топот кожаных башмаков, и шелест вздетого на вилы сена. Эдгар и Лайонел были любителями верховой езды. Эдгар держал гнедого арабского жеребца с изогнутой, мускулистой атласной шеей. Жеребца звали Саладин; в полутьме стойла он сверкал глазами и переступал с ноги на ногу, скаля зубы. Айвенго, так звали охотничью лошадь Эдгара, огромный серо-стальной жеребец, был хорошо откормлен и отменно брал барьеры. Не было случая, чтобы Эдгар отказался на пари взять с Айвенго самое невообразимое препятствие, и конь всегда оказывался на высоте. Они походили друг на друга — оба мускулистые и высокие; оба распираемые едва сдерживаемой силой, они лишены были той плавности движений, которой отличались томившийся в стойле Саладин, кобылицы и жеребята в загоне, Ровена и Евгения. Вильям слышал, как Эдгар и Лайонел уезжали на верховые прогулки и возвращались, слышал быстрый перестук железных подков на камне и скрежет, когда кони кружились и танцевали. Иногда к молодым людям присоединялись барышни. Евгения в синем, под цвет глаз, костюме наездницы садилась на

красивую послушную вороную кобылу. Вильям спешил управиться с работой и выходил из своей пещеры посмотреть, как она садится в седло, поставив ножку на ладони грума и взявшись руками в перчатках за поводья; ее волосы обычно стягивала синяя сетка. В такие моменты Эдгар, сидя верхом на Айвенго, поглядывал на Вильяма. Вильям чувствовал, что тот его недолюбливает. Эдгар относился к нему так, как он относился к людям, занимающим промежуточное положение между его родными и неприметными, немыми слугами. Он замечал его, конечно, при встрече слегка кивал, но общения избегал.

Леди Алабастер проводила дни в маленькой гостиной с видом на лужайку перед домом. Комната была типично дамской, с гранатово-красной стенной обивкой, по которой были разбросаны розово-кремовые веточки жимолости. Красные плотные бархатные шторы нередко почти закрывали солнечный свет: у леди Алабастер болели глаза, и она часто страдала мигренями. В камине всегда горел огонь; Вильям приехал ранней весной и на первых порах счел это естественным, но с приближением лета буквально обливался потом в своем сюртуке. Леди Алабастер, казалось, была не способна двигаться, более по причине

врожденной вялости, нежели из-за какого-либо недуга; она не шла, а вперевалку передвигалась по коридорам дома, когда наступало время завтрака или обеда; у Вильяма создалось впечатление, что ее колени и щиколотки, скрытые под множеством юбок, непомерно отекли и причиняют ей боль. Она возлежала обычно на широкой софе под окном, повернувшись к нему спиной и обратившись к огню камина. В комнате была уйма подушек, расшитых крестиком по шерсти, цветками, фруктами, голубыми бабочками и алыми птицами — шелковой ниткой по атласу. Рядом с леди Алабастер всегда лежали пяльцы, но Вильяму ни разу не довелось застать ее за вышиванием, хотя, возможно, при нем она из вежливости откладывала работу. Она показывала ему вышивки Евгении, Ровены и Эниды, мисс Фескью, Мэтти Кромптон и девочек, своим слабым голосом призывая его выражать восхищение. В комнате стояли стеклянные сосуды с высушенными маковыми головками, ворсянкой, гортензией и несколько скамеечек для ног, о которые в полумраке комнаты спотыкались гости и слуги. Казалось, добрую часть дня она только и делала, что пила чай, лимонад, миндальную наливку, шоколадное молоко, ячменный отвар

или травяные настои, которые нескончаемым потоком несли для нее по коридорам на серебряных подносах горничные. Она также поглощала в большом количестве пирожные, миндальное печенье, пирожки, желе и сладкие булочки, их доставляли из кухни с пылу с жару; после еды крошки собирали и выметали вон. Она была непомерно толста и, кроме как ради особых случаев, не надевала корсета, а лежала в просторном блестящем халате, закутанная в кашемировые шали, в кружевном чепчике, завязанном под множеством подбородков. Как у многих полнотелых женщин, ее кожа была розовой, а лицо мягким и нежным, словно луна, и на удивление гладким; правда, маленькие выцветшие глаза заплыли толстыми складками кожи. Иногда ее горничная Мириам садилась рядом и добрых полчаса расчесывала все еще блестящие волосы своей хозяйки, удерживая их в ловких руках и без конца размеренно водя по ним гребнем слоновой кости. Леди Алабастер говорила, что расчесывание утишает ее мигрень. Когда же головная боль делалась нестерпимой, Мириам ставила госпоже холодные компрессы и смачивала ей веки настоем лещины.

Вильям чувствовал, что эта незлобивая вялая

женщина была организующей силой семейства. То и дело являлся к ней эконом за распоряжениями; приводила девочек читать наизусть стихи и отвечать уроки мисс Мид. Приносил бумаги дворецкий; приходил и уходил повар; садовник, обтерев подошвы, вносил в горшках цветочные луковицы и букетики и сообщал, что и где намерен посадить. Этих людей часто встречала и провожала до дверей Мэтти Кромптон. Как-то раз она зашла в мастерскую к Вильяму, чтобы передать ему просьбу хозяйки дома.

Высокая и стройная, в немодном черном платье с аккуратными белыми манжетами и белым воротничком, она остановилась в тени дверного проема. Ее лицо было худощаво и неулыбчиво, кожа в тон темным, заправленным под простой чепец волосам — смуглая. Тихим, отчетливым и ровным голосом она сообщила Вильяму, что леди Алабастер будет рада, если по окончании работы он выпьет с ней чашку чаю. По всему видно, он предпринял настоящий подвиг во имя любви. Что это у него в руке? Выглядит пугающе.

— Полагаю, фрагмент одного из образцов, частью которого он был. Кое-какие части некоторых экземпляров рассыпались при перевозке. И для самых загадочных я завел отдельную коробку.

Эти предплечье и кисть, очевидно, принадлежали довольно крупному примату. Они очень напоминают детскую руку, не так ли? Но я вас уверяю, что это не так. Кости слишком легкие. Наверное, я напоминаю вам колдуна.

— Что вы, — возразила Мэтти Кромптон, — такое сравнение даже не приходило мне в голову.

Леди Алабастер угостила Вильяма чаем, бисквитом и теплыми пшеничными лепешками с вареньем и сливками и выразила надежду, что он не испытывает неудобств и Гаральд не перегружает его работой. «Нисколько, — подтвердил Вильям, — у меня много свободного времени». Он собрался было добавить, что, согласно уговору, у него должно оставаться время для написания книги, но тут в разговор вступила Мэтти Кромптон:

— Леди Алабастер надеется, что вы сможете немного заняться образованием младших детей и тем самым помочь мне и мисс Мид. Она полагает, что дети должны воспользоваться тем, что у нас живет выдающийся натуралист.

— Разумеется, я буду рад сделать все, что в моих силах…

— У Мэтти всегда такие удачные идеи, мистер Адамсон. Она очень изобретательна. Ну, Мэтти,

рассказывайте.

— На самом деле все очень просто. Мы уже устраиваем маленькие походы за коллекционным материалом, мистер Адамсон: рыбачим в прудах и речках, собираем цветы и ягоды, но все это происходит очень сумбурно. Если бы вы согласились иногда ходить с нами, руководили бы нашими вылазками, показали, что заслуживает внимания и что искать. И еще у нас проблемы с классной комнатой. Я давно мечтаю установить в ней улей со стеклянными стенками, наподобие того, какой был у Губера, а также устроить колонию муравьев, чтобы малышки могли наблюдать за жизнью сообществ насекомых. Могли бы вы это сделать? Согласны? Вы ведь знаете, с чего нам начать. Вы бы подсказали, что нам следует искать.

Вильям ответил, что с удовольствием им поможет, но про себя подумал, что не умеет говорить с детьми и, более того, не питает к ним особой любви. Его раздражал визг детей, с которым они носились по лужайке и по выгону.

— Чрезвычайно вам благодарны, — проговорила леди Алабастер, — мы поистине извлечем выгоду из вашего пребывания у нас.

— Евгения тоже любит с нами ходить, — заме-

тила Мэтти Кромптон. — Малыши отправляются рыбачить или собирать цветы для гербария, а она берет с собой альбом для эскизов.

— Евгения молодец, — заметила рассеянно леди Алабастер, — да и вообще мои девочки не доставляют мне никаких хлопот. Господь наградил меня хорошими дочерьми.

И Вильям стал участником вылазок на природу. Он понимал, что его к этому принудили усилиями мисс Мид и Мэтти Кромптон, напомнив о его зависимом положении, но тем не менее он получал удовольствие от прогулок. Все три старшие дочери иногда присоединялись к ним, иногда нет. Иногда он не знал, пойдет ли с ними Евгения, до самого выхода, когда все уже собирались на посыпанной гравием дорожке перед домом, вооруженные сачками, банками из-под варенья на веревочных ручках, жестяными коробками и ножницами. Бывали дни, когда он с самого утра не мог работать, потому что начинал гадать, увидит он ее сегодня или нет, и у него что-то сжималось в груди: воображение рисовало ему, как она будет выглядеть, когда пойдет по лужайке к воротам, через выгон и сад под цветущими фруктовыми деревьями в поле, которое спускалось к речушке, где они ловили гольянов и колюшку,

охотились за улитками и личинками веснянки и ручейников. Младшие девочки нравились ему: эти послушные бледные малышки, в платьицах, застегнутых на все пуговицы, помалкивали, пока к ним не обращались. Элен умела отыскивать сокровища на изнанке листьев и любопытные норки в наносах ила на берегу. Когда Евгении не было с ними, он становился самим собой, изучал все вокруг с пристальным вниманием, словно одновременно был и чутким первобытным охотником, и современным натуралистом. Он ощущал себя то животным, пугающимся грозных звуков и шорохов, а то ученым-исследователем. Знакомое покалывание кожи было вызвано не страхом, но тем невидимым облаком электрических разрядов, которое окружало Евгению, когда она спокойно шла по лугу. Возможно, это был и страх. Ему этого вовсе не хотелось. Но он как будто и не существовал, пока это ощущение не возникало вновь.

Однажды все, включая Евгению и Эниду, ловили в речке рыбу, и его вовлекли в разговор о природе. Прошел сильный весенний дождь, клочки травы и веточки плыли по обычно спокойной реке, под полощущими в воде ветви плакучими ивами и белыми тополями. Две белые утки и

лысуха деловито сновали взад-вперед в поисках пищи; солнце стояло над водой, чашечки калужницы отливали золотом, в воздухе танцевали ранние мошки. Терпеливая охотница Мэтти Кромптон поймала две колюшки и теперь водила сачком у берега, всматриваясь в тени в глубине. Евгения стояла рядом с Вильямом. Она вдохнула полной грудью и выдохнула.

— Какая красота! — сказала она. — Как я счастлива, что мне выпало жить именно здесь. Видеть, как знакомые цветы появляются в лугах каждую весну, видеть вечное течение знакомой реки. Наверное, вам такая жизнь кажется очень ограниченной, с вашим-то опытом, ведь вы столько повидали. Но мои корни уходят так глубоко…

— Когда я жил на Амазонке, — отвечал Вильям просто и искренне, — мне все время виделся английский луг по весне, точно такой, как сегодня: цветы, свежая трава, раннее цветение, ветерок, который подхватывает все на своем пути, земля, освеженная дождем. Мне думалось, это и есть истинный рай; ничто на земле не сравнится красотой с цветущим берегом нашей реки, с живой изгородью из роз и шиповника, жимолости и брионии. До отъезда я прочел красочные описания великолепия тропических джунглей, цветов,

фруктов и ярких животных, но то великолепие не сравнится с нашим. Там — утомляющее зеленое однообразие и такая масса буйной, рвущейся вверх, удушающей растительности, что часто неба не видно. Правда, климат там как в золотом веке: в тропической жаре все цветет и созревает безостановочно и одновременно; в одно и то же время там и весна, и лето, и осень и совсем нет зимы. Но в растительности таится что-то враждебное. Есть там дерево *sipo matador,* в переводе «убийца сипо», которое вырастает высоким и тонким, как вьюн, оно обвивается вокруг другого дерева, поднимается по нему до самой кроны на тридцать-сорок футов, выедая его древесину, пока то не погибнет и, падая, не увлечет сипо за собой. В тишине внезапно, словно пушечный выстрел, раздается треск рушащихся деревьев — жуткий звук, нагоняющий ужас; долго я не мог понять, что это. Там все необычно, мисс Алабастер. Есть разновидность фиалки — посмотрите на здешние фиалки, — которая, вырастая, превращается в исполинское дерево. И все же во многом этот мир невинен и непорочен, этот лес девствен, а народы, живущие в глубине материка, — дики, они так же не ведают о пороках — дьяволах — современного мира, как наши прародители. И

тем не менее в чем-то два эти мира удивительно похожи. Индейским женщинам запрещено прикасаться к змее. И вот они прибегают к вам и просят убить змею. По просьбе испуганных женщин мне пришлось истребить множество змей. И ради этого покрывать значительные расстояния. Даже там увидели связь между женщиной и змием, словно связь эта и вправду часть общей для всех народов системы символов… даже там, где и не слыхивали о Книге Бытия… я все говорю и говорю, боюсь, я вас утомил.

— О нет. Я просто очарована. Мне приятно было услышать, что наш в каком-то смысле мир весны остался вашим идеалом. Мне хочется, чтобы вы были здесь счастливы, мистер Адамсон. А то, что вы говорили о женщинах и змеях, очень меня заинтересовало. Неужели вы были совсем отрезаны от общества цивилизованных людей, мистер Адамсон? Один среди нагих дикарей?

— Не совсем так. У меня было много друзей всех рас и оттенков кожи в разных сообществах. Но иногда я действительно бывал единственным белым в деревне какого-нибудь племени.

— И вам не было страшно?

— Отчего же, довольно часто. Мне дважды случайно доводилось услышать, что меня соби-

раются убить; заговорщики не подозревали, что я знаю их язык. Но мне выпало счастье видеть проявления доброты и дружбы со стороны людей, которые были совсем не так просты, как могут показаться на первый взгляд.

— Они и в самом деле голые и разрисованные?

— Некоторые. Другие одеты наполовину. Или полностью. Они очень любят раскрашивать себя растительными красками.

Прозрачные синие глаза Евгении были устремлены на него, лоб чуть нахмурен; Вильям чувствовал, что она размышляет о его отношениях с теми нагими людьми. А потом ощутил, что его мысли пачкают ее, что он слишком заляпан грязью и нечист и не имеет права даже думать о ней, тем более посягать на сокровенность ее мыслей, обнажая свою тайную суть. Он проговорил:

— А эти пучки травы на воде напоминают мне огромные острова из вырванных с корнем деревьев, лиан и кустов, проплывающих по великой реке. Мне случалось проводить параллели с «Потерянным раем». В минуты отдыха я читал Мильтона. Тогда мне в голову приходил тот отрывок, где рай после потопа уносит водой.

Мэтти Кромптон, не отрывая глаз от реки, процитировала:

*И Райская гора напором волн*
*Бодливых будет сдвинута и вниз*
*С деревьями, кустами и травой*
*Теченьем ярым смыта, снесена*
*В залив открытый; там укоренясь,*
*Она покрытый солью островок*
*Бесплодный образует, где жилье*
*Крикливых чаек стаи обретут,*
*Тюлени и чудовища глубин*[9].

— Умница, Мэтти, — сказала Евгения.

Мэтти Кромптон промолчала и вдруг резко погрузила сачок в воду, повела им и извлекла яростно бьющуюся колюшку с розовой грудью и оливковой спиной, очень большую, по крайней мере для колюшки. Она пустила рыбку из сачка в банку с другими пленниками, и девочки столпились вокруг посмотреть. Колюшка судорожно глотнула воздух и замерла на поверхности. Затем, видно, к рыбе вернулась утраченная сила. Она порозовела, ее грудь стала удивительного, очень густого розового цвета, проступавшего из-под оливкового, в который было окрашено ее

---

**[9] Примечания: 9**
Перевод А. Штейнберга.

туловище. Рыбка расправила спинной плавник, превратившийся в подобие колючего драконьего хребта, и обратилась в стремительно, почти неуловимо для глаза движущуюся торпеду, атакующую соседок по банке, которым в их круглостенной тюрьме негде было укрыться. Вода в банке вскипела. Евгения принялась смеяться, Элен — плакать. Вильям пришел на выручку и стал переливать рыбок вместе с водой из банки в банку до тех пор, пока вояка в розовой жилетке, которому пришлось открывать рот на траве, не оказался в отдельной банке. Другие рыбы разевали свои трепещущие рты. Элен присела на корточки и склонилась над ними. Вильям заметил:

— Обратите внимание, именно этот агрессивный самец носит розовый жилет. В банке еще два, но в отличие от этого, возбужденного или озлобленного, они не розовые. Мистер Уоллес утверждает, что самки невзрачны потому, что в отличие от папаши, который не только «строит», но и охраняет «дом», где нерестилась самка, им не приходится нести караул у кладки, пока не вылупятся и не уплывут мальки. И все же еще долго после того, как у него исчезнет нужда привлекать самку в свой красивый домик, он, возможно как

предостережение, сохраняет свою ярко-красную окраску.

Мэтти сказала:

— Мы, наверное, осиротили его икринки.

— Отпустите его, — попросила Элен.

— Нет-нет, давайте отнесем его домой и немного подержим в банке, а когда изучим, отпустим, — сказала мисс Мид. — Он построит другое гнездо. Каждую минуту съедаются тысячи икринок, Элен, так уж устроена природа.

— Но ведь мы не природа, — возразила Элен.

— Что тогда мы? — спросила мисс Кромптон.

«Она еще не укрепилась в вопросах веры», — решил про себя Вильям. Очевидно, что природа улыбчива, но безжалостна. Он протянул Евгении руки, чтобы помочь ей взобраться на берег, и она ухватилась за них своими, в хлопчатых перчатках, нагретых ее теплом и пропитанных тем неведомым, что выдыхала ее кожа.

Трудно было понять, чем весь день занимается Гаральд Алабастер. Он не отлучался из дому, как его сыновья, хотя иногда прогуливался в одиночестве между цветочными клумбами, сцепив руки за спиной и опустив голову. Ему, казалось, и дела не было до того, что он столь усердно, хотя и без особого разбора, собрал. Коллекцию он всецело

передоверил Вильяму. Когда тот заходил доложить о проделанной работе в шестиугольный кабинет, хозяин угощал его стаканом портвейна или хереса и внимательно выслушивал. Иногда они беседовали — либо Вильям говорил один — о книге про общественных насекомых, которую он намеревался написать. Однажды Гаральд сказал:

— Не помню, говорил ли я вам, что пишу книгу.

— Нет, не говорили. А очень хотелось бы узнать, о чем она.

— Эта книга из разряда неосуществимых; сегодня каждый пытается написать такую. Книга, которая должна путем серьезных, веских доводов показать, что есть основания считать мир созданием Творца, Зодчего.

Он остановился и взглянул на Вильяма пристально и выжидающе из-под белых бровей. Вильям мысленно взвешивал эти «основания».

Гаральд продолжал:

— Я понимаю не хуже вас, что все убедительные доказательства в руках моих оппонентов. Будь я сейчас молод, так же молод, как вы, красота и искусность доводов мистера Дарвина, да и не только его, склонили бы меня на сторону атеистического материализма. Было время, когда Пейли не зазор-

но было доказывать, что человек, нашедший на вересковой поляне часы или даже пару шестеренок часового механизма, естественно задумается о создателе этого инструмента[10]. Тогда ничем, кроме промысла Творца, создавшего каждую вещь для только ей присущей цели, нельзя было объяснить совершенство хватательных движений руки, хитросплетения паутины и сложное строение глаза. Но сейчас мы располагаем убедительнейшим и вполне удовлетворительным объяснением: причина всего, видите ли, — постепенные изменения естественного отбора, происходящие на протяжении тысячелетий. И всякий довод, нацеленный на то, чтобы отыскать присутствие разумного Создателя в Его творениях, обязан принимать во внимание красоту и убедительность этих доказательств, не должен отметать их с презрительной усмешкой и пытаться их опровергнуть ради защиты Того, кого нельзя защитить, пользуясь немощными и пристрастными умозаключениями.

— Совершенно справедливая мысль, сэр. Это

---

**[10] Примечания: 10**

*Пейли Вильям* (1743–1805) — английский священник и философ-идеалист, автор ряда богословских работ. В своей «Естественной теологии» (1802) доказывал существование Бога, используя аналогию с часами и часовщиком.

единственно верный подход.

— Но что думаете вы, мистер Адамсон? Ведь я не знаю, во что вы веруете и веруете ли вообще.

— Этого я и сам не знаю. Скорее всего, нет. Мои исследования и наблюдения привели меня к выводу, что мы продукт безжалостных законов поведения материи, ее изменения и развития, не более того. Но вот верю ли я в это в глубине души — не могу сказать. Вера не дана человеку изначально. Я бы даже сказал, что она в любом своем проявлении развивается, как искусство приготовления пищи или табу на инцест, вместе с развитием человеческой цивилизации. Убеждения, к которым приводит меня разум, постоянно меняются под воздействием инстинктов.

— Мысль о том, что приятие Творца столь же естественно для человека, как и его инстинкты, сыграет значительную роль в том, что я намерен написать. Что же до взаимоотношений инстинкта и разума в живых тварях, то здесь я в совершенном недоумении: есть ли у бобра первоначальный замысел плотины, понимает ли пчела… или продумывает… сложную шестиугольную форму сот, которые безукоризненно вписываются в любое ограниченное пространство? Так наш с вами свободный разум, мистер

Адамсон, и приводит нас к убеждению, что постичь этот дивный мир и наш собственный разум как часть мира, разум, который умеет переноситься в прошлое и будущее, умеет отражать действительность, изобретать, созерцать и рассуждать, было бы невозможно без Божественного промысла, источника разума меньших братьев наших. Но этот Промысел для нас непостижим, и наша неспособность его постичь может проистекать лишь из двух причин. Первая — потому что должно быть так, а не иначе, потому что Божественная Первопричина разумна и она есть. Вторая, противная, — ее в последнее время все успешнее доказывают, — потому что наши возможности не бесконечны, мы такие же твари, как членистоногие или желудочные кисты. И творим Бога по собственному подобию, потому что по-другому не умеем. Но я не могу поверить в это, мистер Адамсон, не могу. Такая вера ведет в чудовищную мрачную бездну.

— Мое безверие, — нерешительно начал Вильям, — можно объяснить отчасти тем, что я был воспитан в христианстве, совершенно отличном от того, что исповедуете вы. Сейчас я вспоминаю одну проповедь на тему вечного наказания: священник велел нам представить, что вся Земля

состоит сплошь из песка и по истечении каждой тысячи лет всего одна песчинка отрывается и улетает в пространство. Затем нам велели вообразить медленный ход тысячелетий — песчинка за песчинкой, тот невообразимый срок, что должен миновать, пока Земля хоть сколько-нибудь заметно уменьшится в размере, и еще миллионы и миллионы неисчислимых миллионов лет, когда убыль сделается заметней, до тех пор, пока не улетит последняя песчинка, а потом нам сказали, что все это невообразимо долгое время тоже всего лишь песчинка в сравнении с бесконечностью вечной кары, и так далее. После чего нам живописали омерзительное и исключительно талантливо придуманное зрелище вечных мук: шипит горящая плоть, рвут нервы и выкалывают глаза, дух в вечном унынии, а душу и тело вечно терзает боль, которая не притупляется, не утихает на протяжении тысячелетий изощренной жестокости…

По-моему, такой Бог создан по образу и подобию тех людей, худших из людей, которые и сегодня своими бесчинствами приводят нас в трепет, — продолжал он, понизив голос. — Я заметил, что жестокость тоже бывает инстинктивной, по крайней мере у некоторых представителей на-

шего вида. Я знаю, что такое рабство, сэр Гаральд, мне довелось видеть, что обыкновенные люди могут сотворить с другими людьми, если это дозволено обычаем…

Отвергнув этого Бога, я почувствовал, что очистился, освободился, — мне точно открылась вдруг ослепительная истина. Я знал женщину, которую все эти ужасы привели к самоубийству. Добавлю, что за мое отступничество отец отверг меня и лишил наследства. Еще и в этом причина моей бедности.

— Надеюсь, у нас вы счастливы.

— Безусловно. Вы очень добры ко мне.

— Я бы хотел попросить вас помочь мне в работе над книгой. Нет-нет, поймите правильно, я не прошу писать книгу. Чтобы оформить и прояснить свои соображения, мне необходим собеседник, пусть даже оппонент.

— Сочту за честь, раз уж я здесь.

— Знаю, вам не терпится покинуть нас. Вновь отправиться в путешествие. Надеюсь, придет время, когда я помогу вам. Ведь мы обязаны либо самостоятельно исследовать сокровенные уголки природы и ее неведомую жизнь, либо поддерживать и поощрять других в этом предприятии.

— Благодарю вас.

— А разве Дарвин, когда пишет о строении глаза, не допускает существования Творца? Он сравнивает совершенство глаза с совершенством телескопа и, говоря о медленных изменениях в стекловидной глазной ткани и светочувствительном нерве, замечает, что, проводя параллель между разумом человека и факторами, формирующими глаз, «мы должны допустить существование некой силы, неустанно наблюдающей за изменениями в прозрачных тканях». Мистер Дарвин призывает нас допустить, что эта неустанно наблюдающая сила непостижима, что это — слепая необходимость, закон материи. Но я скажу вам, что сама материя заключает в себе великую тайну: как могла она возникнуть, как сумела организоваться? — и, задаваясь подобными вопросами, не окажемся ли мы лицом к лицу с Предвечным, с Тем, кто вопрошал у Иова: «Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Да вот и Дарвин пишет, что прозрачные оболочки образуют «живой оптический прибор, настолько превосходящий прибор, сделанный из стекла, насколько Господни творения превосходят творения рук человеческих».

Так он пишет. И нам проще вообразить неусыпную заботу бесконечного наблюдателя, чем поверить в слепую случайность. Проще вообразить изменения в глазной жидкости, сравнивая их с песчинками из той проповеди; так и можно было бы, пожалуй, представить себе работу слепой случайности: песчинка, еще и еще песчинка — каждая неизмеримо мала и легковесна, но сколь значительны они в массе…

Мэтти Кромптон напомнила Вильяму о его обещании обустроить стеклянный улей и муравейник. Под руководством Вильяма собрали улей для пчел в ширину медового сота, в окне детской сделали отверстие и вывели в него леток; стенки улья завесили черной тканью. Пчел взяли у фермера-арендатора; они глухо жужжали, когда их переселяли в новый дом. Для муравьев привезли из ближайшего города стеклянный ящик и установили на отдельный стол, застланный зеленой бязевой скатертью. Мэтти Кромптон заявила, что вместе с Вильямом пойдет на поиски муравьев. Прошлым летом она заметила в вязовой рощице несколько видов муравьев. Они отправились вместе, взяв с собой два ведра, банки, ящички и пробирки, узкий совок и пару пинцетов. Мэтти шла быстро и молча. Она привела Вильяма к

очень крупному муравейнику: многие поколения насекомых трудились над его постройкой, и Вильям наметанным глазом тотчас же определил, что это жилище рыжих лесных муравьев. Муравейник привалился к вязовому пню; купол из веточек, стеблей травы и сухих листьев служил ему кровлей. Неровные цепочки муравьев сновали внутрь и наружу.

— Как-то раз я попробовала держать муравьев дома, — сказала Мэтти Кромптон, — но, по-видимому, у меня тяжелая рука. Какой бы красивый дом я ни строила, сколько бы ни приносила им плодов и цветов, рано или поздно они скрючивались и умирали.

— Вам, наверное, не удалось отловить матку. Муравьи — общественные насекомые и живут лишь ради блага муравейника, центр которого — матка, или царица, остальные же заняты только тем, что ухаживают за ней и кормят. Однако, если она перестает производить потомство, они убивают ее и выволакивают из муравейника или просто обходят вниманием — и скоро она умирает голодной смертью, потому что не способна сама себя прокормить. Муравьи созданы, чтобы окружать заботой ее и ее потомство, пока она в расцвете сил. Чтобы устроить домашний

муравейник, нам нужна царица. Рабочие муравьи утрачивают волю к жизни, если ее нет рядом, — перестают двигаться и становятся ко всему равнодушны, как девушки в депрессии, а затем испускают дух.

— Но как отыскать царицу? Неужели придется разорить весь муравейник? Так мы нанесем огромный вред…

— Я похожу поищу муравейник помоложе, чтобы можно было перенести его целиком на новое место.

Он долго бродил, вороша листья палкой, провожая маленькие муравьиные караваны до трещин и щелей в корнях и земле. Мэтти Кромптон стояла на месте и наблюдала. На ней было коричневое шерстяное платье, строгое, без отделки. Темные волосы были заплетены в косы и уложены вокруг головы. Она могла долгое время простоять вот так, точно статуя. Вильям ощущал острое удовольствие: его пытливое «я», «я» охотника, не находившее себе применения в стенах Бридли-холла, вновь пробудилось. Под его пристальным взглядом лесная подстилка ожила и исполнилась движения: он увидел сороконожку, множество жуков, дождевого червя, шарики кроличьего помета, крохотное перышко, кладку мотылька или

бабочки на травинке, раскрывающиеся фиалки, конические входные отверстия которых были покрыты тончайшей пыльцой, качающийся побег, вздрагивающий камешек. Он вытащил из кармана лупу, направил ее на клочок земли, покрытый мхом, галькой и песком, и увидел кипение незримых до того жизней: то пытались высвободиться из кокона полупрозрачные миллионноногие бегуны, плотные, как пуговички, паучата. Они притягивали к себе его чувства и ум, словно тысяча магнитов. А вот гнездо черных муравьев, *Acanthomyops fuliginosus;* они обосновались небольшими семействами в лабиринтах ходов и укреплений в доме лесных муравьев. А тут, по опушке рощицы, марширует колонна кровавых муравьев-рабовладельцев, *Formica sanguinea.* Ему всегда была любопытна их военная тактика. Он сказал об этом Мэтти Кромптон и указал на различие между рыжими лесными муравьями, *Formica rufa,* и рабовладельцами *sanguinea:* первые были рыжевато-коричневые, с более темным брюшком, чем голова, другие — полностью кроваво-красного цвета.

— Они вторгаются в гнезда лесных муравьев и крадут яйца, а вылупившихся муравьишек взращивают как собственных чад, и те становятся

рабочими *sanguinea.* Захватчики и защитники дерутся насмерть.

— И этим похожи на людские сообщества, как и многим другим.

— Британские муравьи-рабовладельцы менее зависимы от своих рабов, чем швейцарские *Formica rufescens,* за которыми наблюдал Губер: он отмечает, что рабочие муравьи этого вида заняты исключительно захватом рабов; без рабского труда их племя рано или поздно вымерло бы, поскольку рабы выращивают их потомство и добывают для них пищу. Мистер Дарвин пишет, что, переселяясь в новый дом, наши рабовладельцы несут рабов на себе, тогда как более свирепых, но зависимых и совершенно беспомощных швейцарских господ на новое место переносят в своих челюстях рабы.

— Но может быть, и те и другие вполне довольны своим положением, — заметила Мэтти Кромптон. Она произнесла это равнодушно, со столь удивительной бесстрастностью, что было невозможно решить — даже если бы Вильям внимательно прислушивался к ее словам, — иронизирует она или просто из вежливости поддерживает беседу.

Но Вильям слушал вполуха: он нашел малень-

кий, покрытый соломой муравейник и готовился произвести раскопки. Взяв у нее совок, он удалил несколько слоев земли, ощетинившихся рассерженными муравьями-воинами, усеянных личинками и яйцами. Потом в несколько приемов раскопал центр муравейника, и муравьи бешено засуетились. Следуя его указаниям, мисс Кромптон собрала несколько крупных, прослоенных листьями и былинками кусков дерна вместе с рабочими муравьями, личинками и яйцами.

— Кусаются, — кратко заметила она, стряхивая мелких вояк с запястий.

— Да уж. Прокусывают кожу, потом очень грациозно изгибаются и впрыскивают в ранку муравьиную кислоту из брюшка. Отступаем?

— Нет. Я как-нибудь управлюсь с парой кипящих праведным гневом муравьишек.

— Но ни за что не справились бы с огненными муравьями, еще их называют *tucunderas*; стоило мне по неосторожности их растревожить, как они несколько недель не давали мне покоя. У бразильцев есть верная поговорка: огненный муравей — владыка. От него не спрячешься, не защитишься, его не остановишь; чтобы спастись от его набегов, люди бросают дома.

Поджав губы, Мэтти Кромптон выбирала мура-

вьев из рукавов и рассаживала их по коробкам. Вильям разрыл один из ходов и обнаружил родильную камеру матки:

— Вот и она. Во всем своем великолепии.

Мэтти Кромптон заглянула в отверстие:

— Трудно поверить, что она и ее проворные слуги относятся к одному виду…

— Еще бы. Но она не столь непомерно толста, как матка термитов: та точно пузатая бочка и кажется величиной с гору по сравнению с маленькими послушными самцами, которые все время рядом со своей госпожой, или рабочими особями, которые снуют по ней, наводят чистоту и порядок, выносят бесконечно откладываемые яйца и всякий мусор.

Матка лесных муравьев была лишь вполовину крупнее, чем ее работяги. В отличие от тусклорыжих рабочих муравьев она была толстая и глянцевитая, а ее тело опоясывали рыжие и белые полосы. Эти полосы объяснялись тем, что распиравшие ее яйца раздвигали рыже-коричневые пластины члеников, так что в промежутках были видны более уязвимые и эластичные белесые покровы. Голова сравнительно с телом казалась маленькой. Вильям подцепил матку пинцетом вместе с несколькими рабочими муравьями,

которые ухватились за ее лапки. Он посадил ее на ватную подушечку в коробку и принялся наставлять мисс Кромптон относительно того, какой величины и из какой части муравейника отбирать рабочих муравьев, личинки и яйца.

— Мы должны взять образцы почвы, растительных остатков, из которых построен муравейник, и запомнить, чем его обитатели питаются, а когда муравьи окажутся в новом доме, девочки, если им достанет терпения, смогут с пользой для себя проводить опыты, выяснять, каковы их предпочтения в пище.

— Не поискать ли нам и самцов?

— В эту пору мы их не найдем. В муравейнике они бывают только в июне и июле, иногда в августе. Они вылупляются, как полагают, из яиц, отложенных неоплодотворенными рабочими муравьями, это своего рода партеногенез. После спаривания с маткой живут недолго. Их легко узнать — у них есть крылья, а глаза огромной величины; они совсем не могут обходиться без посторонней помощи, заниматься строительством или поисками пищи. Естественный отбор, очевидно, способствовал развитию у них — в ущерб остальным — тех навыков, что обеспечивают успех в брачных танцах…

— Не могу не отметить, что у людей все как раз наоборот: успех женщины в этом предприятии определяет ее дальнейшую жизнь.

— Я и сам не раз об этом думал. В мире людей наблюдается приятный парадокс: на балах молодые девушки порхают в ярких бальных платьях, а юноши — в строгих темных костюмах. В дикарских же племенах внешней красотой, как и самцы птиц и бабочек, похваляются мужчины. Но, по-моему, жизнь матки не намного слаще, чем жизнь ее многочисленных, бесполезных и всеми презираемых поклонников. Я спрашиваю себя, кто они, эти маленькие твари, которые суетятся, нежно носят и кормят друг друга, кусают врагов, — личности в полном смысле слова или, подобно клеткам нашего тела, составляют единое целое и руководимы неким разумом, духом гнезда, подвигающим всех: и матку, и слуг, и рабов, и ее партнеров по танцу — трудиться на благо всего семейства, всего вида?

— А может, мистер Адамсон, вы зададите себе тот же вопрос в отношении людей?

— Очень может быть. Я родом с севера Англии — там наши ученые, владельцы мельниц и шахт рады бы превратить людей в хорошо притертые шестеренки исполинской машины. Вот и

доктор Эндрю Ур[11] в «Философии производителей» выражает пожелание, чтобы рабочих обучали коллективной слаженности, «чтобы они отказались от бессистемных навыков работы и уподобились действующим с неизменной точностью сложным автоматам». Эксперименты Роберта Оуэна[12] — самая светлая сторона этой философии.

— Любопытно, но это уже другой вопрос, — проговорила мисс Кромптон. — Волеизъявление мельников — не дух гнезда.

Вильям наморщил лоб, размышляя.

— Возможно, природа одна и та же, — сказал он, — если предположить, что, обращая рабочих в части одной машины, они, как и все остальные, выполняют волю духа улья.

— Ах, вот как, — живо откликнулась мисс Кромптон, — я понимаю, о чем вы. Ваша мысль — это кальвинизм в современных одеждах, норовящий проникнуть через черный ход или, если

---

**[11] Примечания: 11**

*Ур Эндрю* — английский экономист, автор труда «Философия производителей, или Экспозиция экономики промышленных предприятий Великобритании с научной, моральной и коммерческой точки зрения» (1835).

**[12] Примечания: 12**

*Оуэн Роберт* (1771–1858) — английский утопический социалист. Считал, что человек — порождение обстоятельств: «…зло проистекает из положения вещей».

угодно, через леток.

— Вы много думаете, мисс Кромптон.

— Для женщины? Ведь вы хотели сказать «для женщины», но потом из вежливости воздержались. Да, я люблю думать. От размышлений я получаю огромное удовольствие — как греющаяся на солнышке пчела или муравей, который щекочет тлю. Не считаете ли вы, мистер Адамсон, что мы должны снабдить наш искусственный муравьиный рай колонией тли?

— Стоило бы. И засадить его растениями, которые любит тля… Но потерпят ли тлю в классной?

Собравшиеся вокруг муравейника девочки взвизгивали от восторга и отвращения. Муравьи с образцовым прилежанием рыли землю и обустраивали новый дом. Мисс Мид, пожилая женщина с мягкими чертами лица и редеющими волосами, из которых торчали шпильки, рассказывала девочкам о доброте муравьев: они трудятся ради общего блага, угощают сестер нектаром из своих запасов, ласково поглаживают друг друга и нянчат сестренок, не вылупившихся из яиц и личинок, а потом заботливо переносят их из одного дортуара в другой, с бескорыстной самоотдачей чистят и кормят. Маргарет ткнула Эдит локтем в бок и сказала:

— Знаешь, кто ты? Маленькая личинка, маленький червячок.

— Да вы хуже червячков, — сказала Мэтти Кромптон, — перепачкались в земле по уши.

Мисс Мид, очевидно привыкшая не обращать внимания на мелкие стычки, мечтательным голосом завела рассказ про Купидона и Психею:

— Муравьи, милочки, помогали людям с незапамятных времен. Об этом и говорится в истории о несчастной принцессе Психее. Она была так прекрасна и так все вокруг ее любили, что богиня красоты Венера стала ей завидовать и велела своему сыну Купидону наказать прекрасную девушку. Королю, отцу девушки, сообщили, что он оскорбил богов и должен понести наказание: его дочь будет отдана в жены ужасному летучему змию. Ему надлежало нарядить ее в наряд невесты, отвести на самый верх страшно высокой скалы и оставить там для отвратительного жениха.

— Кто-то подоспеет и убьет дракона, — заявила Энида.

— Это из другой сказки, — возразила Мэтти Кромптон.

Мисс Мид раскачивалась на стуле, прикрыв глаза. Она продолжала:

— Так бедная девушка, одетая в кружева, в венки из цветов и с нитками чудных жемчужин, осталась на высоком утесе. Она очень горевала, но спустя какое-то время заметила, что ее наряды колышутся под дуновением слабых ветерков, и вдруг ветерки подхватили ее и отнесли далеко-далеко в великолепный дворец; стены мраморных залов были украшены шелковыми гобеленами, а для трапезы приготовлены золотые чаши и сладкие фрукты, но вокруг не было ни души. Она оказалась одна среди этой роскоши. И тут невидимые руки взялись ее потчевать, заиграли невидимки-музыканты; ей и пальцем не надо было шевелить: все ее желания немедленно исполнялись. А когда наконец она решила лечь спать, кто-то сладчайшим и нежнейшим голосом сказал ей, что теперь он ее муж и осчастливит ее, если она ему доверится. И она поняла, что может ему довериться, потому что такой прекрасный голос не мог принадлежать исчадию ада. И они были счастливы, но муж предупредил ее, что их счастье будет длиться вечно, если она станет слушаться его советов и, самое главное, не станет пытаться его увидеть.

Так она и жила в блаженстве, пока ей не захотелось повидать родных, и она сказала об этом

желании своему нежному супругу. Он омрачился, ибо знал, что ее прихоть погубит их, но отказать жене не посмел. И тогда ее родные в мгновение ока были доставлены к ней западным ветром. Все, что они увидели, привело их в восторг, только ее сестры — как всякие сестры — позавидовали ей, милые мои, и хоть они радовались, что ее не сожрал змий, все же им было не по душе, что она так счастлива. Они стали ее допытывать, откуда она знает, что ее муж — не тот самый гадкий змий, ведь люди видели, добавили сестры, как змий плавал в реке неподалеку; они надоумили ее зажечь свечу, когда ее возлюбленный будет спать, и посмотреть, кто же он на самом деле. Она послушала советов сестер — ах, как неразумно! — и при пламени свечи увидела вовсе не змия, а прекрасного златовласого юношу. Но воск капнул на его лицо, он проснулся и промолвил печально: «Теперь ты больше никогда меня не увидишь», расправил крылья, ибо то был крылатый Купидон, бог любви, и улетел.

Но несчастная Психея была решительной девушкой и отправилась на поиски своей любви. Когда до Венеры дошла весть о ее странствиях, она заявила, что девушка — ее беглая служанка; Психею схватили и привели в покои разгневан-

ной богини. Богиня дала ей кучу невыполнимых заданий, объявив, что, если Психея с ними не справится, ее прогонят и она никогда не увидит ни мужа, ни друзей, а станет простой рабыней и будет в тяжких трудах зарабатывать свой хлеб. Ей предстояло сортировать семена. Богиня смешала и свалила перед ней целую гору разных семян — пшеницы, ячменя, проса, чечевицы, бобов, семена мака и вики — и велела несчастной девушке до вечера отделить их друг от друга. Психея села и заплакала, потому что не видела края работе. И вдруг кто-то под ее ногами тоненьким и скрипучим голоском спросил, что за беда с ней приключилась. Это был крохотный муравьишко.

— Может, я смогу тебя выручить? — сказал он.

— Это тебе не под силу, — ответила Психея, — но спасибо и на добром слове.

Однако муравей и не подумал отступать: он позвал на помощь друзей, родственников, соседей, и вот целое муравьиное войско, муравьиное море…

— У меня мурашки по коже побежали, — сказала Вильяму Мэтти Кромптон, — стоило лишь представить этот легион добровольцев.

— А мне не по себе стало при мысли о горе семян, которую надо разобрать. Тотчас вспоминаю,

что и моя работа меня ждет…

— Занятно, что сказочных принцев и принцесс так часто обязывают, помимо иных невыполнимых заданий, разбирать семена. Великому множеству незадачливых влюбленных героев поручается разбирать семена. По-вашему, антропология может дать этому удовлетворительное объяснение?

— Несомненно. Но оно мне неведомо. Мне кажется, в этих сказках превозносятся мудрость и полезность муравьев. Возможно, на мое мнение влияет мой собственный интерес к муравьям. С тропическими муравьями нелегко жить бок о бок. Я попытался — жил какое-то время в хижине, где на земляном полу муравьи зойба насыпали два огромных муравейника. В той же хижине я сумел найти *modus vivendi* с несколькими семьями крупных коричневых домовых ос. Они строят совершенно удивительные гнезда, похожие на перевернутые кубки, подвешенные за ножку к перекрытиям. Мне льстило, что осы признали меня хозяином дома, в котором висели их гнезда, — они никогда меня не жалили, а на чужаков нападали. Мне казалось, что мы «нашли общий язык», — возможно, то была иллюзия: они с необыкновенным рвением истребляли крупных

мух и тараканов, поражали их с невероятной точностью. Я научился восхищаться их красотой, изобретательностью, геройской свирепостью. И довольно хорошо изучил их искусство строителей и убийц.

— В сравнении с теми дикарями наши лесные муравьи должны вам казаться просто ручными.

— Здесь мне хорошо. Я делаю полезное дело, а кроме того, все так добры ко мне.

— Надеюсь, все останутся довольны вашей сортировкой, — проговорила Мэтти Кромптон.

Уж не померещилось ли ему, подумал он позже, будто за этими словами что-то скрывается?

Бывали мгновения, по мере того как весна вызревала в раннее лето, когда сортировка его утомляла. В определенном смысле эта работа представлялась ему подвигом во имя любви, однако он не предвидел вознаграждения. И о каком вознаграждении могла идти речь? Евгения предназначалась не ему, его отстраняли все дальше в пределы некоего срединного мира, где ему надлежало быть компаньоном девочек, компаньоном и помощником старика. Молодежь постоянно уезжала и возвращалась, у них становилось все больше друзей и подруг. Среди них был молодой человек по имени Робин Суиннертон, который

часто по приезде, обхватив Евгению за талию и улыбаясь ей снизу вверх, помогал ей спрыгнуть с ее черной кобылы Ночки. Тогда смятение, как удав, сжимало душу Вильяма Адамсона, смятение, вызванное ощущением блаженства, когда он представлял себя на месте молодого человека, обнимающего ее упругое тело, внезапным уколом слепой ревности и звуками рассудительно-холодного голоса, который внушал ему, что чем быстрее они объявят о помолвке, тем лучше для него, ибо тогда он от нее освободится. «Так стань свободным сейчас же, оставь надежду», — убеждал он себя, но слушать себя было невыносимо. Он рисовал пальцем на своих губах дивный изгиб ее губ — словно касался их ртом.

Он привык к одиночеству, не умел ни сплетничать, ни прислушиваться к досужим шепоткам и все же предчувствовал — так в теплые дни можно почувствовать на своем лице облако пыльцы, осыпающейся с могучих деревьев, — что-то должно произойти. И вот однажды, направляясь по узкому и темному, как в монастыре, коридору в шестиугольный кабинет Алабастера, он столкнулся с Робином Суиннертоном, который поспешал к выходу. Это был молодой человек с рыже-каштановыми кудрями и милой улыбкой;

сейчас улыбка была просто ослепительной, и это насторожило Вильяма Адамсона. Робин едва не сшиб Вильяма с ног, остановился, чтобы извиниться, пожал ему руку и расхохотался:

— Спешу к своему счастью, сэр, голова только этим и занята…

— Этот юноша, — сказал Гаральд Алабастер, когда Вильям вошел, — просил руки моей дочери. Я дал согласие, он же говорит, что ему уже известен ее ответ, — так что поздравьте меня.

— Искренне поздравляю.

— Первый птенчик покидает наше гнездо.

Вильям повернулся к окну.

— За ним скоро улетят и другие, такова жизнь, — сказал он.

— Я знаю. Что тут поделаешь. Должен признаться, меня беспокоит Евгения. По-моему, это известие не сделает ее счастливой, хотя, может быть, я не до конца ее понимаю.

Вильяму показалось, что прошла вечность, прежде чем он понял, о чем речь.

— Так, значит… значит, замуж выходит не Евгения?

— Что? Ах нет. Я едва не сказал: «Ах нет, *увы*». Замуж выходит Ровена. Ровена станет женой мистера Суиннертона.

— А мне казалось, мистер Суиннертон неравнодушен к мисс Евгении.

— Да и жена думала, но выяснилось, он любит Ровену. Евгению может огорчить, что Ровена выходит замуж первой. Она, как вы знаете, была помолвлена, но ее жених трагически погиб. С тех самых пор… не понимаю, в чем дело… к ней сватались многие, очень многие, если принять во внимание ограниченность круга знакомых по соседству, но она не… не знаю, то ли она демонстрирует холодность, то ли, может быть… поймите, Вильям, она молодец, она очень стойко перенесла потерю, не сломилась, не роптала, но, боюсь, вкус к жизни вернется к ней еще не скоро.

— Она прекрасна, сэр, она прекрасна… она само совершенство. Пройдет немного времени, и она найдет себе… достойного спутника.

— И я так думаю, но жена беспокоится. Мне кажется, радость матери будет омрачена, если первой замуж пойдет Ровена, — ведь это несправедливо; но можно ли — и нужно ли — мешать счастью Ровены? Впрочем, я не имею права обременять вас своими переживаниями по поводу Евгении в преддверии — и этим в первую очередь должны быть заняты наши мысли — столь

счастливого дня для Ровены.

— По-моему, ваша тревога по поводу Евгении совершенно естественна, она… ее породила ваша чуткость… и я хоть и посторонний человек, мне тоже… — Он хотел сказать «тоже дорога Евгения», но осторожность взяла верх.

— Вы добрый молодой человек, вы умеете сопереживать, — проговорил Гаральд Алабастер. — Я очень рад, что вы сейчас с нами. Очень рад. У вас доброе сердце. А это — самое главное.

Теперь, когда Вильям виделся с Евгенией, он пристально вглядывался в нее, отыскивая признаки уныния. Она казалась спокойной и безмятежной, как и всегда, так что впору было подумать, что отец заблуждается на ее счет, если бы однажды Вильям не стал свидетелем странной сцены. Он спокойно направлялся к своему рабочему месту и, проходя мимо седельной и мельком взглянув в окно, увидел Евгению, которая разговаривала с кем-то, с кем — он не видел; она была расстроена и даже плакала. Казалось, она кого-то о чем-то умоляет. Послышались быстрые шаги, и Вильям пригнулся, чтобы его не заметили, — по направлению к дому прошагал Эдгар Алабастер, его лицо было искажено злостью. Чуть погодя во двор вышла Евгения и остановилась, застыла на

секунду, а затем нетвердым шагом направилась в сторону выгона и вырытой вдоль сада канавы. Вильям понял, ибо любил ее, что слезы застилают ей глаза, понял, потому что постоянно наблюдал за ней, что ее самолюбие будет ранено, если кто-то увидит, как она плачет. Но он пошел за ней следом — ведь он любил ее — и, став рядом, устремил взгляд в сторону канавы, отделявшей дом от внешнего мира, которую со двора не было видно. Время шло к вечеру: длинные тени тополей протянулись через луг.

— Я не мог не заметить, что вы опечалены. Вам чем-то помочь? Я готов сделать все, что в моих силах.

— Мне ничего не надо, — глухо проговорила она, не выказывая, однако, желания избавиться от его общества.

Он не знал, что сказать. Он не смел выдать своей осведомленности о ее несчастье — ведь он узнал о нем не от нее самой. И не смел сказать: «Я вас люблю, я хочу вас утешить, потому что люблю», хотя сгорал от желания, чтобы она повернулась и выплакалась на его плече.

— Вы прекрасная и добрая, вы заслужили счастье, — сказал он глухо. — Мне невыносимо тяжело видеть ваши слезы.

— Вы очень добры, но помочь мне нельзя, уже невозможно. — Она невидящими глазами смотрела на долгие тени. — Мне лучше умереть, правда, хочу умереть, — сказала она, и слезы хлынули из ее глаз. — Мне надо умереть, — выкрикнула она, — надо умереть, раз Гарри умер.

— Я знаю о вашей трагедии, мисс Алабастер. Мне бесконечно жаль вас. Я уповаю на то, что вы найдете утешение своей душе.

— Нет, вы ничего не знаете, — отвечала Евгения. — Ничегошеньки. И никто не знает.

— В таком случае вы по-настоящему мужественны. Пожалуйста, не падайте духом, — он судорожно пытался подобрать нужные слова, — в вас все влюблены, вы просто не можете быть несчастной.

— Неправда. Все не так. Они полагают, что любят, но на самом деле не могут. Не могут. Я не могу быть любима, мистер Адамсон, не способна быть любимой, это мое проклятие, вы ведь не понимаете…

— Уверен, что вы ошибаетесь, — возразил он пылко. — Я не знаю никого более достойного любви, никого. Вам следует знать — я не имею права… если бы моя жизнь, мое положение в этой жизни были другими… короче говоря, я был бы

готов на все ради вас, мисс Алабастер, вы должны это чувствовать. Я знаю, женщины чувствуют подобные вещи.

Она чуть вздохнула, почти утешившись, как ему подумалось, и опустила голову, перестав смотреть с неподвижностью статуи через канаву.

— Вы добрый и милый, — неожиданно ласково сказала она. — И мужественный. Пусть вы и не понимаете меня. Вы так добры ко всем, и к девочкам тоже. Какое счастье, что вы с нами.

— Это я почитал бы за огромное счастье, если бы вы назвали меня другом, несмотря на все различия между нами, если бы вы мне хоть чуть-чуть доверились. Не знаю, что я такое говорю: с чего бы вам доверяться мне? Я бы так хотел что-то для вас сделать. Все равно что. Вы ведь знаете, что у меня совсем ничего нет. Сплошные фантомы. Но все же, прошу вас, повелевайте мною, если хоть как-то я могу вам пригодиться.

Она вытирала глаза и лицо кружевным платочком. Веки ее припухли и порозовели. Это его тронуло и возбудило. Она усмехнулась:

— Девочкам вы подарили стеклянный муравейник и улей. А мне однажды обещали облако из бабочек. Неплохая идея.

Она протянула ему маленькую руку, как всегда затянутую перчаткой, и он прикоснулся к ней губами, запечатлев невесомый, словно бабочка, поцелуй, который тем не менее колющей болью отозвался в его теле и затрепетал в жилах.

И он решил подарить ей бабочек.

Он понял, как она несчастна, и его отношение к ней изменилось. Он захотел защитить ее, и это стремление, сосуществовавшее теперь с обожанием, помогало ему замечать много нового: и как грубовато обходится с нею Эдгар, и как ее сестры воодушевленно и наперебой болтают о свадьбе, в то время как она бродит в одиночестве, — потому ли, что они не хотели делиться с ней, или потому, что она сама не выказывала желания принимать участие в их планах, Вильям не знал наверняка. Он начал собирать гусениц разных видов из разных мест и звал на помощь Мэтти Кромптон с девочками, не открывая им, для чего ему нужны гусеницы. Он велел приносить гусениц вместе с теми растениями, которыми они питались, на тех листках, где их нашли. Он помещал гусениц в кроличьи и голубиные клетки, как только окукливались, и держал там до первой линьки. Вырастить облако оказалось задачей не из легких, но он не сдавался и вывел несколько

бабочек — маленьких синих и разнообразных оттенков белого цвета, красных адмиралов, ванесс и перламутровок, а также пару зеленоватых лесных бабочек и множество разновидностей мотыльков: желто-коричневых горностаевых, лишайниц, древоточцев и прочих ночных летунов. Лишь решив, что этих бабочек будет достаточно для облака, он попросил у Гаральда позволения выпустить их в оранжерее.

— Можно не опасаться нашествия прожорливых личинок — я позабочусь, чтобы они не повредили растения. Я обещал мисс Алабастер облако из бабочек, и теперь, кажется, оно получится.

— Вижу, терпения вам не занимать. Бабочки, разумеется, много красивее в полете, чем приколотые булавками. Евгения будет очарована.

— Мне хотелось… заставить ее улыбнуться, что еще я мог для этого сделать…

Гаральд взглянул на Вильяма Адамсона, и его белые брови сошлись на переносице.

— Евгения вам не безразлична.

— Я сделал для девочек стеклянные улей и муравейник. А ей пообещал, возможно по глупости, облако из бабочек. Надеюсь, сэр, вы позволите поднести ей этот… эфемерный дар. Они прожи-

вут, сэр, самое большее несколько недель.

Гаральд умел выглядеть снисходительным и проницательным, точно читал чужие мысли. Он ответил:

— Евгения будет в восторге. Как и мы все. Мы вместе с ней насладимся волшебством. Волшебство, Вильям, — это прекрасно. Метаморфоза — это прекрасно. Прекрасно, когда невзрачные бескрылые гусеницы превращаются в бабочек.

— Я не смею…

— Не говорите ничего. Ничего. Ваши чувства делают вам честь.

Однажды утром, чуть свет, когда все домочадцы еще спали, Вильям выпустил бабочек. В шесть часов, сбежав по лестнице вниз, он обнаружил здесь обитателей дома, которые разительно отличались от тех, кого он видел в дневное время: целая стая молодых женщин в черном беззвучно суетилась, перенося с место на место ведра с золой, ведра с водой, коробки с принадлежностями для натирания полов, метлы, щетки и выбивалки для ковров. Они, словно рой молодых ос, спустились из-под крыши; лица их были бледны, глаза туманны; они приседали, безмолвно приветствуя его, когда он проходил мимо. Некоторые были совсем еще дети, почти ровесницы девочек из детской,

только последние были в изящных юбочках с кружевными оборками и атласными фестонами, а на этих, по большей части костлявых, были тесные однотонные корсеты, широкие черные юбки и жестко накрахмаленные чепчики.

Оранжерея соединяла библиотеку с крытой галереей церкви, в противоположной стороне от рабочего кабинета Гаральда. Она представляла собой прочное строение из стекла и чугуна под высоким куполом крыши. У стены бил фонтан, обложенный замшелыми каменными глыбами, мраморная нимфа подставляла кувшин под струю воды. В неглубокой чаше, куда падала вода, плавали золотые рыбки. Растительность была изобильной, а кое-где буйной; несколько чугунных решеток в форме листьев плюща и перевившихся ветвей поддерживали сплетение ползучих и вьющихся растений, образуя, таким образом, наполовину скрытые от глаза ниши, внутри которых были подвешены огромные плетенки, полные ярких цветов, испускавших тонкий аромат. Повсюду в латунных, отливающих золотом широких горшках стояли пальмы, а пол был выложен блестящими пластинами из черного мрамора и под определенным углом зрения, при определенном освещении, казался

черным зеркальным озером.

Вильям внес ящики с сонными насекомыми и бережно поместил их на влажную землю, в корзинах и среди листьев. Сын садовника недоверчиво наблюдал за его манипуляциями, но, когда пара бабочек покрупнее, согретых восходящим солнцем, запорхала под крышей, перелетая из плетенки в плетенку, мальчик оживился. Вильям велел ему держать двери закрытыми, а семью Алабастер не впускать под любым предлогом до тех пор, пока солнце не достигнет зенита и все бабочки не поднимутся в воздух; бабочки питаются светом, а согревшись в лучах солнца, они начинают танцевать. И когда это случится, он пригласит Евгению.

— Я обещал подарить мисс Евгении облако из бабочек, — сказал Вильям.

Парнишка бесстрастно заметил:

— Ей понравится, сэр, это точно.

Вильям остановил Евгению на лестнице после завтрака. Поскольку завтракали поздно, солнце было почти уже в зените. Ему пришлось дважды ее окликнуть: она была целиком погружена в свои невеселые мысли. И спросила немного раздраженно:

— В чем дело?

— Прошу вас, пойдемте. Мне надо вам кое-что показать.

На Евгении было синее платье, украшенное клетчатыми лентами. Наступило мгновение, страшный момент, когда казалось, что она сейчас откажет, но вот ее лицо смягчилось, она улыбнулась, повернулась и пошла с ним. Он подвел ее к оранжерее:

— Входите быстро и закройте дверь.

— Мне ничто не угрожает?

— Нет, ведь я с вами.

Она вошла, и Вильям закрыл дверь. В сверкании зелени и стекла он сначала ничего не увидел и решил было, что из его затеи ничего не вышло, но тут, точно они только и ждали девушку, коричнево-оранжевые, синие и светло-голубые, серно-желтые и облачно-белые, густого красного цвета и с павлиньими глазками на крыльях бабочки стали появляться из листвы, спускаться из-под стеклянного купола, проноситься мимо, парить, порхать; они танцевали вокруг нее и усаживались ей на плечи, касались ее раскинутых рук.

— Они принимают ваше платье за небо, — шепнул Вильям.

Евгения стояла не шевелясь, поворачивая го-

лову влево и вправо. Все новые и новые бабочки подлетали к ней, повисали, трепеща, на синем платье, на жемчужно-белых руках и шее.

— Если вам неприятно, я их отгоню, — сказал он.

— О нет, — ответила она, — они такие легкие, такие нежные, словно расцвеченный воздух…

— Ведь почти облако?

— Облако и есть. Вы чародей.

— Это вам. У меня нет для вас ничего настоящего: ни жемчугов, ни изумрудов — ничего, но так хочется подарить вам хоть что-нибудь…

— Вы дарите мне жизнь, — сказала она, — они живые самоцветы, нет, они лучше самоцветов…

— Они думают, что вы цветок…

— Да, да. — Она медленно повернулась на триста шестьдесят градусов, а бабочки поднялись и, вновь усевшись, сложились в волнистые узоры.

Растения в оранжерее не были выходцами из какого-то одного места на земле; скорее, они были родом сразу со всех мест. Английские примулы и пролески, желтые нарциссы и крокусы сияли среди роскошных вечнозеленых тропических вьюнов, их слабый аромат смешивался с экзотическим ароматом стефанотиса и сладким запахом жасмина. Евгения не переставая кружилась и

кружилась, бабочки порхали вокруг, плененная вода плескалась в чаше фонтана. Что бы ни случилось с ней, с ним, с ними обоими, он навсегда запомнит ее такой, в этом сверкающем дворце, где встретились два его мира, подумал Вильям; так и вышло: на протяжении всей последующей жизни ему временами вспоминалась девушка в синем платье, со светлыми, позолоченными солнцем волосами, среди вьюнов и весенних цветов, окруженная облаком бабочек.

— Они страшно хрупкие, — сказала она. — Их можно ранить простым прикосновением, убить, неосторожно прижав. Но я не причиню вреда ни одной. Ни за что. Как же мне отблагодарить вас?

Они уговорились, что она придет еще вечером, когда вместо бабочек в воздух поднимутся мотыльки, у которых расцветка нежнее: меловая, призрачно-белая, светло-лимонная, темно-желтая, серебристая. Целый день девочки то и дело вбегали в оранжерею и радостно вскрикивали, восхищаясь движением бабочек и игрой красок. Приглашение прийти вечером на них не распространялось. Вильям надеялся, что ему удастся в сумерках побыть с Евгенией наедине, просто тихо посидеть вместе. Такое он себе пообещал вознаграждение: из этого видно было, что обсто-

ятельства пусть совсем немного, но изменились, как и его отношение к ней. Несколько раз он вспоминал слова Гаральда — загадочные, но исполненные некоего глубокого смысла: «Не говорите ничего. Ничего. Ваши чувства делают вам честь».

О каких чувствах шла речь? О его любви к ней или о почтении к ее недосягаемости и сословному превосходству? Что ответит Гаральд, если он заявит: «Я люблю Евгению. Она будет моей, или я умру», — нет, так говорить смешно, может быть, сказать: «Я люблю Евгению; быть рядом с ней мука для меня, ибо я надеюсь на то, на что не имею права надеяться...» Что тогда ответит Гаральд? Скрывалась ли отеческая нежность в пристальном взгляде Гаральда, или это ему почудилось? Не возьмут ли верх отцовский гнев и негодование, если он заговорит? Может быть, Гаральд ценит в нем благоразумие и сдержанность?

Когда наступил вечер, один крупный кокон начал лопаться; Вильям взял его с собой в оранжерею: решил понаблюдать до прихода Евгении — это будет полезным занятием. Он присел на низкую скамейку, над которой нависали лозы дикого винограда и вился страстоцвет. Стеклянная стена, остуженная ночным воздухом, холодила

ему спину. Кое-где в ней отражались мерцающие венчики светильников, спрятанных за пологом листьев. Местами стена была прозрачна, и он видел темную бесцветную траву, пустое небо и тонкий серебряный серп луны. Облачка мотыльков кружили вокруг светильников, которые он для безопасности забрал металлической сеткой. Вильям не хотел, чтобы выращенные им насекомые обожгли крылья. Расцветки оказались еще красивее, чем он ожидал: травяная и бумажно-белая, кремово-желтая, искристо-серая. Большой мотылек — императорский мотылек, или ночной павлиний глаз, единственный представитель сатурнид на Британских островах, высвобождался, вспарывая оболочку куколки, встряхивался, расправляя мятые крылья, таращил огромные глаза и поводил мохнатыми усиками. Вильям не уставал дивиться, наблюдая за этим процессом. Взрослая подвижная ярко-зеленая гусеница, опоясанная коричневыми полосками, покрытая желтыми волосатыми бугорками, исчезала и внутри кокона обращалась в кремоподобную бесформенную массу. Из этого крема рождался толстый и глазастый императорский мотылек с бархатистой коричневой головой, покрытый мышиного цвета пухом.

Дверь, щелкнув, открылась, и он понял, что Евгения прислушивается, стараясь понять, здесь ли он. Потом раздались тихие шаги ног в мягких башмачках, шуршание юбок. И вот она подошла — в серебристом вечернем платье поверх сиреневой нижней юбки — морфо Евгения. Полумрак отобрал с ее лица обычные краски.

— Вот вы где! Как всегда, верны своему слову. А ваши мотыльки пытаются совершить самосожжение.

— Видите, я спрятал светильники в сетки, чтобы защитить их. Не могу понять, почему они одержимы идеей принести себя в жертву огню. Не уверен, что это можно объяснить тем, что, зажигая яркий искусственный свет, мы невольно обманываем их инстинкт самосохранения. Возможно, они принимают огоньки свечей за свет очень ярких небесных тел, по которым ночью находят дорогу. Хотя эта гипотеза не кажется мне всецело удовлетворительной. Присядьте, и посмотрим, примут ли вас мотыльки за луну, как бабочки приняли вас за небо и цветок.

Евгения присела рядом на скамью. Ее близость волновала его. Он очутился внутри той атмосферы, того света и запаха, который окружал ее и притягивал его, как водоворот притягивает

корабль, как аромат цветка притягивает пчелу.

— Кто это?

— Новорожденный павлиний глаз. Самка. Скоро она окрепнет, и я выпущу ее из клетки.

— Она совсем слабенькая.

— Чтобы выбраться из куколки, требуется много сил. Все насекомые наиболее уязвимы во время метаморфозы. Они легко могут стать добычей хищника.

— Но здесь нет хищников?

— Конечно нет.

— Хорошо. Как здесь хорошо: луна светит, мотыльки безмятежно летают вокруг.

— Это награда, что я пообещал себе за ваше облако из бабочек. Недолго покойно посидеть с вами наедине. И все.

Она сидела, склонив голову, будто внимательно рассматривала мотылька. О стекло снаружи бился другой мотылек, пытаясь, судя по всему, попасть внутрь, к нему присоединился еще один. Трепетная самка задрожала и встряхнула крыльями.

— Не отвечайте… и не подумайте, что я хочу своими словами нарушить ваш покой, я лишь хочу сказать… вы не представляете, как важны для меня эти мгновения… я буду помнить их

вечно… вашу близость и этот покой. Если бы все было иначе, я бы говорил вам… о другом… но я отнюдь не витаю в облаках; я рассудителен и не питаю никаких надежд… хочу лишь сказать вам несколько откровенных слов, потому что знаю: это вас не обидит…

Крупные насекомые, расправив крылья, ползли к ним по черному полу. Другие протискивались через маленькое отверстие в стеклянной двери и в полумраке вслепую двигались вперед или падали, паря в воздухе, с крыши. Насекомые стукались о стеклянные стены и крышу, отчего те мелко подрагивали, постепенно дребезжание раздавалось все чаще и громче. Вот они приблизились, подобно бегущему в панике войску, захлопали крыльями вокруг головы Евгении, стрекоча, облепили ей лицо — тридцать, сорок, пятьдесят, целое облако самцов рвалось к оцепенелой самке. Их собиралось все больше и больше. Евгения пыталась отмахнуться от них, стряхивала с юбок, вытаскивала из рукавов и складок платья, не выдержала и заплакала:

— Отгоните же их. Мне противно.

— Это самцы сатурнии. Их таинственным образом притягивает самка. Я отнесу ее в другой конец оранжереи… видите… они летят за ней,

оставив вас в покое…

— Вот еще один, запутался в кружеве. Я сейчас закричу.

Он пробрался к ней через суматошную толпу мотыльков и запустил пальцы ей за воротник, чтобы выдворить наглеца.

— Должно быть, дело в запахе…

Евгения всхлипывала:

— Какой ужас, они точно летучие мыши, точно привидения, какая мерзость…

— Тише. Я не хотел напугать вас.

Он дрожал. Она обняла его за шею, положила голову ему на плечо и буквально повисла на нем.

— Милая…

Она рыдала.

— Я совсем не хотел…

Она воскликнула:

— Виноваты вовсе не вы, вы хотели мне помочь. Просто все вокруг плохо. Я так несчастна.

— Из-за капитана Ханта? Вы до сих пор так сильно горюете о нем?

— Он не хотел жениться на мне. Он умер, потому что не хотел жениться на мне.

Она плакала, а Вильям держал ее в своих объятиях.

— Какая чушь. Каждый был бы рад на вас же-

ниться.

— На самом деле это не был несчастный случай. Так только говорят. Он умер, потому что… не хотел… на мне… жениться.

— Почему не хотел? — спросил ее Вильям, словно спрашивал ребенка, вообразившего буку в пустом углу.

— Откуда мне знать? Но это правда. Мне совершенно ясно… что он не хотел… свадьба была готова… и наряды… все мои наряды тоже… купили все, платья для подружек невесты, цветы, — все, что нужно. А он… он не выдержал…

— Вы причиняете мне страдания своими словами. Мое самое заветное желание, и вам это известно, — просить вас стать моей женой. А я никогда не смогу это сделать, потому что вы состоятельны, я же не могу себя прокормить, не только жену. Я прекрасно это понимаю. Но невыносимо больно слышать то, что вы говорите, и не быть в состоянии… самому…

— Я не хочу выходить замуж за мешок с деньгами. У меня есть свои.

Наступило долгое молчание. Несколько одержимых страстью мотыльков неуклюже пролетели мимо и присоединились к пульсирующему ковру из самцов, облепивших проволочные сте-

ны клетки, в которой сидела самка.

— Что вы сказали?

— Мой отец — добрый человек, он верит в христианское братство, верит, что все равны в глазах Бога. Он полагает, что вы щедро одарены умом, и считает это очень ценным даром, столь же ценным, как земли, рента и все прочее. Он мне сам сказал.

Она посмотрела на него; ее глаза все еще были покрасневшими, припухшими и… ранимыми.

— Можно было бы устроить двойную свадьбу, — сказала Евгения. — Я не хочу выходить замуж после Ровены.

Вильям судорожно сглотнул. Мотылек чуть коснулся крылом его потного лба. Вильям вдыхал призрачные запахи джунглей и сладкий густой аромат гардений. Маленькая розовая лишайница уселась на блестящие волосы Евгении под его подбородком. Его сердце бешено колотилось.

— Могу ли я поговорить с вашим отцом? Завтра?

— Да, — ответила Евгения и протянула губы для поцелуя.

Вильям полагал, что отношение к нему Гаральда резко изменится, стоит только ему заговорить о женитьбе на Евгении. Все это время Гаральд

был к нему неопределенно добр, а временами, что казалось даже странным, выказывал горячую благодарность за беседы и внимание. Теперь, сказал он себе, все будет иначе. Патриарх, обороняясь, станет потрясать мечом. Вильяму дадут почувствовать, что он, человек без будущего и родословной, слишком самонадеян. Наверняка ему откажут от дома. Слепая уверенность Евгении в том, что такого не случится, лишь свидетельствует, насколько она невинна и доверчива. Вильяма раздирали противоречивые чувства. «Я умру, если она не будет моей», — кричала знакомым голосом его кровь. И в то же время ему снились картины, похожие на сны под воздействием паров каапи, будто он стремительно пролетает над лесами или при сильном бризе рассекает под парусами море, борется с течением на верхних порогах Амазонки или прорубает с помощью мачете дорогу в сплетении лиан.

Он сказал Гаральду, что давно и тайно любит Евгению и лишь благодаря случайности обнаружил, что и она разделяет — надеется, что разделяет, — его чувства. Он ни о чем не помышлял и не намерен был открывать свои чувства, но теперь должен просить ее руки, и, если ему откажут, он уйдет.

— Очень больно сознавать, что я не могу предложить вам ничего, кроме своей бедности.

— У вас есть мужество, ум и доброта, — возразил отец Евгении, — чтобы выжить, такими качествами должна обладать каждая семья. Кроме того, Евгения вас любит. Должен сказать, я бы многое отдал, чтобы она была счастлива. Ей столько пришлось пережить, и я уже перестал надеяться, что у нее достанет сил искать счастья в любви и браке. У нее есть состояние, оно закреплено завещанием и перейдет к ней…

От недостатка смелости или, возможно, из деликатности Вильям Адамсон не коснулся вопроса о том, как и где им предстоит жить и на какие средства. Ему, мужчине, который ничего не приносит в семью, казалось более чем вульгарным спрашивать, что ему причитается и причитается ли вообще. Гаральд продолжал говорить легко и туманно, давал расплывчатые и приятные обещания. Вильям был достаточно зорок, чтобы видеть их неопределенность, но не имел ни силы духа, ни оснований к ним придираться или требовать большей ясности.

— Покамест вы с Евгенией можете оставаться здесь, — сказал Гаральд, — в лоне семьи, так что, когда вы, что не исключено, соберетесь в

очередное путешествие, она будет среди родных. Само собой разумеется, вам не захочется сразу радикально менять свою жизнь, так что, думаю, у нас вам будет хорошо. Позже, если пожелаете, вы отправитесь путешествовать. Я надеюсь, так оно и будет. И надеюсь оказать вам весьма значительную помощь. А до тех пор, полагаю, вы великодушно согласитесь проводить часть досуга в беседах со мной. Очень на это надеюсь. Пользуясь ясностью вашего ума, я смогу намного легче распутывать хитросплетения рассуждений о людях и мире, в котором мы живем. Мы даже могли бы записывать наши дискуссии в виде философской беседы.

Вильям понял, что расплачиваться придется мыслями. Но рассуждать вслух было столь же естественно, как дышать воздухом, есть мясо и хлеб. И с того дня, когда Евгения дала согласие на брак, до дня свадьбы, который старались всемерно приблизить, чтобы не задерживать бракосочетания Ровены, — так что времени было ровно столько, чтобы успеть сшить свадебные платья, — все это время Вильям беседовал с Гаральдом Алабастером. Сам он со вздохом облегчения отрекся от отцовской религии, зиждившейся на муках, страданиях и обетованном

блаженстве, — со вздохом христианина, с плеч которого спадает тяжкий груз, когда он минует болото уныния. Но Гаральд почти увяз в этом болоте. Его мысли были для него самого мукой; честность и скрупулезность собственных размышлений терзали и опустошали его.

Он часто говорил о вреде, который наносит вере тот, кто, не обладая даром убеждения, берется доказывать существование Бога или библейские истины. Как Вильям Уэвел[13] смеет утверждать, будто продолжительность дня и ночи приспособлена к продолжительности человеческого сна? — спрашивал Гаральд. Ведь ясно как белый день, что все сущее живет и движется согласно определенному ритму: реагируя на тепло и свет солнца, а также на его отсутствие, соки поднимаются вверх по дереву, раскрываются и закрываются цветы, люди и звери спят или выходят на охоту, лето приходит на смену зиме. Нельзя помещать себя в центр вселенной, пока не убедишься наверняка, что ты этого достоин. Мы не должны творить Бога по своему образу и подобию, чтобы не выглядеть глупцами. Гаральд надеялся, порой вопреки здравому смыслу, что

**[13] Примечания: 13**
*Уэвел Вильям* (1794–1866) — английский историк и философ-идеалист.

существование Божественного Творца будет убедительно доказано, и не терпел доводов типа того, что у мужчины есть соски, а у человеческого эмбриона — рудиментарный хвост, низводивших Творца до уровня неумелого ремесленника, который берется за работу, а затем начинает ее переделывать. Так позволено поступать человеку, но так не может поступать Бог — это ясно, если взять на себя труд размышлять трезво хотя бы секунду. Но тем не менее некоторые рассуждения об аналогии человеческого разума Божественному он принимал — они укрепляли его в его вере, и он не сбрасывал их со счетов.

— Что вы скажете об учении о красоте? — спросил он Вильяма.

— О какой красоте мы говорим, сэр? О красоте женщин, леса, небес или тварей?

— О красоте вообще. Я хочу сказать, что способность человека любить во всем красоту — любить симметрию, восхитительную яркость цвета, тонкое совершенство форм листьев, кристаллов, змеиных чешуек и крыльев бабочки — доказывает, что в нас есть нечто бескорыстное и духовное. Человек, который восхищается бабочкой, уже не грубое животное, Вильям. Он уже больше, чем бабочка.

— Мистер Дарвин считает, что красота бабочки призвана привлекать брачного партнера, а красота орхидеи — облегчить опыление ее пчелами.

— Я возражу: ни пчела, ни орхидея не испытывают столь же острой радости при виде совершенства цветов и форм. И можем вообразить Создателя, сотворившего мир, ибо Он упивался своим даром обратить камни, глину, песок и воду в такое разнообразие видов, ведь так? Мы можем очень ясно представить себе этого Творца, потому что и в нас живет потребность создавать произведения искусства не ради удовлетворения низменного инстинкта выживания, не ради сохранения нашего вида, а лишь потому, что они прекрасны и сложны и дают пищу душе.

— Скептик, сэр, возразил бы, что ваше рассуждение о произведениях искусства напоминает ему о Пейли и его часах, которые, по утверждению философа, должны всякого — стоит лишь ему найти две сцепленные шестерни — наводить на мысль о существовании Создателя. Возможно, восхищение красотой или формой, о котором вы говорите, — всего лишь то, что делает нас приматами, а не животными.

— Я, как и герцог Аржильский, считаю, что неотразимое великолепие райских птиц может

послужить доказательством того, что в некотором смысле мир все же был создан, чтобы восхищать человека. Ибо птицы эти не способны восхищаться собой, но зато мы умеем восхищаться ими.

— Они танцуют для своих брачных партнеров, так же как индюки и павлины.

— Но не чувствуете ли вы, что ваше умение восхищаться и удивляться соответствует чему-то, что находится вне вас, Вильям?

— И правда, чувствую. Но и задаю себе вопрос: обязан ли я кому-либо этим умением? Ибо Творец, если Он и есть, очевидно, совершенно равнодушен к собственным творениям, которыми мы так восхищаемся. У природы острые зубы, она беспощадна, как выразился мистер Теннисон[14]. Амазонские джунгли действительно будят чувство изумления благодаря своему буйству и великолепию. Но некий дух витает над ними — ужасный дух бездумной борьбы за жизнь и апатичной инертности — разновидности растительной алчности и всеобщего разложения, потому много

---

**[14] Примечания: 14**

*Теннисон Альфред* (1809–1892) — английский поэт Викторианской эпохи, продолжавший в своем творчестве традиции «озерной школы». Поэт-лауреат с 1850 г. Широкую популярность ему принесли «In memoriam» (1850) и «Принцесса» (1847), цикл поэм «Королевские идиллии» (1859). Цитата из поэмы «In memoriam» (1850).

легче поверить в некую неразумную природную силу. Ибо, я думаю, доводы деистов о том, что тигры и фиги-душители задуманы, чтобы не допустить страданий старых оленей и гниения древесных стволов, удовлетворят вас не более, чем рассуждения Уэвела о дне и ночи.

— Мир очень изменился, Вильям. И я уже не верю, как верил в детстве, в наших прародителей из рая, в то, что в змее сокрыт Сатана, в архангела с огненным мечом, закрывающего райские врата. Я достаточно пожил и уже не верю безоговорочно в Рождество Христа в холодную ночь, когда ангелы пели в небесах, и пастухи, дивясь, всматривались в высь, и волхвы везли через пустыню на верблюдах дары. Теперь мне преподносят мир, где мы таковы, каковы есть, благодаря изменениям, многие тысячелетия происходившим в мягких и костных тканях, мир, где ангелы и демоны не воюют в небесах, защищая всего лишь кто добродетель, кто порок, в этом мире мы едим и едят нас и мы претворяемся в чью-то плоть и кровь. Музыка и живопись, поэзия и сила духа — зыбкий мираж. Близится время, когда я просто истлею, словно гриб. Очень вероятно, что заповедь любить ближнего не более чем благоразумный инстинкт общежития, родительский

инстинкт, он есть у всякого высшего примата. Одно время я очень любил картины, изображающие Благовещение: ангел с радужными крылами, по сравнению с которыми крылья бабочки и райской птицы — бледная тень, ангел с бело-золотой лилией в руке преклоняет колени перед задумчивой юной девой, которой суждено стать Божьей Матерью, матерью, облеченной в плоть любви, мудрости, дарованной нам навечно или на время. И вот все это словно стерто, сцена пуста, и на фоне черного театрального задника я вижу самку шимпанзе, которая с недоумением смотрит из-под нависающих бровей, отвратительно скалит крупные зубы и прижимает к морщинистой груди своего волосатого отпрыска, — и это любовь, облеченная в плоть?

И знаю, что мой ответ — «да»: если Бог творит, Он творит человека из обезьяны; но утрата моя неизмерима, я на грани отчаяния. Я начал жизнь маленьким мальчиком, каждый мой поступок горел в золотой книге добрых и злых дел и должен был быть впоследствии взвешен и рассмотрен милосердным Господом, к кому я шел трудно и неуверенно. Я завершаю жизнь, как остов листа, который превратится в перегной, как мышь, раздавленная совиным клювом, как теленок,

которого ведут к воротам бойни, откуда нет возврата, за которыми только кровь, прах и тление. И однако, ни один зверь не может думать о том, о чем думаю я. Ни лягушка, ни даже гончая не смогут вообразить ангела Благовещения. Откуда все это?

— Это тайна. Может быть, тайна и есть Бог. Доказано, что тайна эта — материя: мы существуем и мы разумны, но материя остается таинственной по своей природе, как бы мы ни пытались разобраться в закономерностях ее метаморфоз. Законы изменения материи не объясняют ее сути и источника.

— Сейчас ваши мысли подкрепляют мое мнение. Но я чувствую, что всякое рассуждение — только потуга разума, слишком немощного, чтобы превратить рассуждение в доказательство.

Однако, кроме страха, есть и надежда. Откуда он, наш разум?

Вне стен шестиугольного кабинета много внимания уделялось тайнам мирским, материальным. Евгения, Ровена, как и другие девушки — ведь для невест требовалось много подружек, — посвящали все время примерке и подгонке нарядов. Портнихи, шляпницы и швеи

без конца сновали по детским и будуарам. Краем глаза можно было увидеть странные картины: юные леди стояли неподвижно, укутанные в шелка, точно в кокон, а вокруг них суетились чистенькие и незаметные служанки, их рты щетинились булавками, а пальцы без устали щелкали ножницами. Для Вильяма и Евгении обустраивали новые спальные комнаты. Иногда Евгения приносила на его суд образцы саржи и дамаска. Он не позволял себе высказывать неодобрение и вообще был настолько равнодушен к комфорту, что его даже слегка забавляла эта бурная деятельность, однако не испытал особого удовольствия, оказавшись объектом внимания портного и камердинера Лайонела Алабастера, которые не только сшили ему свадебный костюм, но и заказали достойную джентльмена повседневную одежду для жизни на природе: брюки, куртки и башмаки. Время шло, и на кухнях восхитительно запахло свежими пирогами, студнями и пудингами. Теперь Вильяму полагалось проводить время в курительной комнате в компании Эдгара, Лайонела, Робина Суиннертона и их друзей, которых интересовали всего две темы: они говорили о разведении лошадей и охотничьих собак да о ставках и пари. Пропустив стакан-дру-

гой портвейна, Эдгар неизменно принимался пересказывать свои славные подвиги: однажды он на Саладине перескочил через стену дальнего загона, так что оба едва не свернули шеи; в другой раз он на спор вскочил на Айвенго через окно в Бридли-холл, и они проехались от окна до стены по турецкому ковру; раз ему случилось в наводнение переплывать на Айвенго реку, и их едва не унесло течением.

Вильям любил во время этих рассказов сидеть в своем углу, спрятавшись за облачком дыма от сигары. На висках и шее Эдгара вздувались жилы. Он, как и его конь, был сильным, неуравновешенным животным. Рассказывая, он то понижал голос до мелодичного бормотания, то начинал надрывно кричать, так что больно было слушать. Вильям оценивающе разглядывал его. Он решил, что Эдгару в недалеком будущем суждено умереть от апоплексического удара и его смерть пройдет совершенно незамеченной, поскольку его существование бесцельно и лишено ценности. Он представил, как несчастная лошадь, всхрапывая, скользит по полу Бридли-холла, ее задние ноги окаменели от напряжения. А этот человек — он смеется, как смеялся, заставляя коня танцевать на каменных плитах, чего тому никогда бы не

пришлось делать, живи он на воле. Очевидно, Вильям не до конца отрекся от отцовой суровой веры. Оценивая Эдгара Алабастера глазами Бога, в которого давно не верил, он видел в нем множество недостатков.

Однажды вечером, всего за неделю до свадьбы, он осознал, что и Эдгар приглядывается к нему. Он сидел, откинувшись на спинку, невидимый окружающим, а Эдгар рассказывал о том, как однажды проскочил на двуколке сквозь бреши в семи живых изгородях; должно быть, на лице Вильяма отразились его мысли, потому что он вдруг увидел прямо перед собой красную, потную физиономию Эдгара.

— А у вас не хватило бы на это ни смелости, ни силы. Сидите здесь, глупо улыбаетесь, а такой трюк вам не по зубам.

— Несомненно, — ответил миролюбиво Вильям, вытянув ноги и расслабившись: он знал, что так только и можно противостоять столь злобному напору.

— Мне не нравится, как вы себя ведете. И никогда не нравилось. Складывается впечатление, что вы все время ехидно про себя ухмыляетесь.

— У меня нет нужды ехидничать. Ведь мы теперь как братья, я надеюсь, и я не должен давать

вам оснований подразумевать меня в насмешке. Это было бы дурно.

— Ха, братья. Какая чушь. Вы дурно воспитаны, сэр, вы совсем не пара сестре. В вас течет дурная, плебейская кровь.

— Не принимаю обвинений ни в дурной, ни в плебейской крови. Я сознаю, что неровня вашей сестре, потому что не имею ни больших перспектив, ни состояния. Ваш отец и Евгения отнеслись ко мне очень великодушно, не обратив на это внимания. Надеюсь, со временем вы смиритесь с их решением.

— Вам бы надо ударить меня. Ведь я вас оскорбил. Вы — презренное существо, вы безродны и трусливы. Так встаньте же и ответьте на вызов.

— Незачем. Что до родовитости, так мой отец был честным и добрым человеком, а мне неведомы иные добродетели, достойные уважения. Что же касается смелости, так позвольте вам сказать, что я прожил десять трудных лет на Амазонке, где меня не раз пытались убить, где я постоянно рисковал умереть от укуса ядовитой змеи, что я пережил кораблекрушение и две недели провел на спасательной шлюпке в открытом океане. Можно ли утверждать, что при этом я выказал меньше смелости, чем вы, когда заставили

несчастное животное прыгать в окно? Я знаю, что такое истинная смелость, сэр. Быть смелым не значит бросаться с кулаками на обидчика.

— Хорошо сказано, Вильям Адамсон, — проговорил Робин Суиннертон, — хорошо сказано, дружище.

Эдгар схватил Вильяма за грудки:

— Она не будет твоей, слышишь? Ты недостоин ее. Вставай!

— Прошу вас, не дышите мне в лицо. Вы походите на разъяренного дракона. Я не намерен из-за вас бесчестить семью, членом которой надеюсь стать.

— Поднимайся!

— На Амазонке юнцы из местных племен, одурманившись спиртным, ведут себя точно так же. И нередко по неосторожности убивают друг друга.

— А мне плевать, если ты умрешь.

— Согласен. Но не наплевать на собственную жизнь. А если умру я, каково будет Евгении? Ей уже пришлось однажды…

Что он говорит? Его ужаснуло, что он коснулся покойного возлюбленного Евгении, пускай и в гневе. Косвенный намек, прерванный на полуслове, поразительно подействовал на Эдгара. Он побелел, неуверенно выпрямился и тяжелыми

руками принялся механически отряхивать брюки. Вильям подумал: «Теперь уж он точно меня убьет» — и отклонился в сторону, чтобы избежать удара, готовый вскочить и ударить Эдгара в пах. Но тот лишь выдавил из себя нечто нечленораздельное и, продолжая шлепать ладонями по одежде, вышел из комнаты. Лайонел сказал:

— Прошу вас, не… не обращайте внимания на выходки Эдгара. Он буен в подпитии, но, когда хмель выветривается, подчас и не припомнит, что произошло. Вас оскорбили винные пары.

— Что ж, я рад, если дело только в этом.

— Наш жених молодчина. Цивилизованный человек. Разве мы на войне? Мы — цивилизованные люди в смокингах, и сидим, когда полагается сидеть. Я восхищаюсь вами, Вильям. Эдгар — анахронизм. Вы уж точно не предполагали, что мне известны такие слова.

— Почему же. Спасибо за вашу доброту.

— Нам надо чаще видеться.

— С огромным удовольствием.

Впоследствии Вильям с трудом мог припомнить, какие чувства испытывал в день свадьбы. Он отметил про себя — точно был не женихом, а сторонним наблюдателем, что всякая церемония вызывает в нем не только ощущение

значительности происходящего, но и обостренное ощущение нереальности. Он решил, что это ощущение могло проистекать из отсутствия веры в христианское Писание, в христианский мир, который так трогательно описал ему Гаральд. Аналогии, не имеющие отношения к происходящему, всплывали в памяти даже в эти священнейшие минуты, и, стоя бок о бок с Робином Суиннертоном перед завывающим органом в приходской церкви Святого Захарии и наблюдая за тем, как, ведомые под руки Эдгаром и Лайонелом, по проходу между рядами к ним идут Евгения и Ровена, он думал о религиозных праздниках в Пара и Барре, видел, как несут к церкви куклы Девы Марии с нарисованной улыбкой, убранные кружевами, шелком и серебряными лентами, вспоминал индейские пляски и туземцев в масках сов, ибисов и анаконд.

Но свадьба была истинно английской, весьма буколической. Евгению и Ровену одели как сестер — но не близнецов — в белые шелковые платья с длинными кружевными шлейфами; одно было щедро украшено розовыми бутонами, другое, платье Евгении, — кремово-золотистыми кружевами. На обеих были короны из розеток и жемчужные ожерелья. Обе держали букеты из

лилий и роз, а когда процессия приблизилась и он встретил свою невесту, от благоухания цветов закружилась голова. За ними следовали маленькие девочки с розовыми и золотыми лентами в волосах, в белых тюлевых платьях, перехваченных в талии атласными поясками; они несли корзины с цветочными лепестками, чтобы осыпать ими новобрачных. Церковь была битком набита: родных и друзей Вильяма не было, зато в избытке были представлены Алабастеры и Суиннертоны, их соседи и знакомые, и все — украшенные цветами и лентами, и все кланялись молодым. Ровена раскраснелась от возбуждения, а Евгения была бледна как воск, бледные губы, ровные, без пятнышка, бесцветные щеки, лишь сияло золото опущенных ресниц. Они произнесли слова брачного обета, и Гаральд обвенчал дочерей, повторяя вопросы звучно и с удовольствием, а затем сказал, как трогательно подобное двойное бракосочетание: становится совершенно ясно, что семья выросла, а не уменьшилась, как обычно случается после свадьбы. Ибо Ровена останется в их приходе, а Евгения остается до поры в родном доме, который стал родным и Вильяму Адамсону, — как тут не радоваться?

Вильям должен был бы почувствовать и услы-

шать, что их души как одна произносят слова обета, но этого не случилось. Он чувствовал лишь мягкость великолепного наряда, облекавшего тело Евгении, аромат цветов, слышал, как безукоризненно и четко она отвечала на вопросы отца в отличие от Ровены: та запиналась и сбивалась, прикрывала рукой рот и улыбкой просила мужа извинить ее. Евгения смотрела прямо перед собой, на алтарь. Когда Вильям взял ее руку, чтобы надеть кольцо, ему пришлось потрудиться, чтобы надвинуть его на ее вялый, неживой палец. И, стоя рядом с ней в церкви, отделенный от нее пышными юбками, он подумал: «Как быть, если и ночью она будет такой оцепенелой?» А потом подумал, что наверняка многие мужчины на его месте втайне боялись того же, о чем не скажешь вслух. А когда они двинулись к выходу сквозь толпу почтенных дам в украшенных цветами чепчиках, господ в черных фраках и шелковых галстуках, скромно одетых слуг в соломенных шляпах и работников с фермы, стоявших у самой двери, он подумал, что, пожалуй, на свадьбе каждый гость беспокоится о молодых: «Как-то у них все выйдет?» Идя к выходу, он чувствовал, как потаенные мысли льнут к нему, щекочут его и покалывают. «Она слишком невинна, она ничего

не знает», — решил он. И попытался представить, как леди Алабастер рассказывает Евгении о тайнах супружества, но у него ничего не выходит. Леди, в переливающемся розово-лиловом платье, сидела в первом ряду и ласково им улыбалась.

«В конце концов, все переживают первую ночь», — решил он, когда, сощурясь от яркого света, ступил на церковный двор, где их встретили птичий гомон и пронзительный визг девочек. Род людской продолжается, и повсеместно, еженощно невинные девушки становятся женами и матерями. Рука Евгении лежала недвижно в его руке, жена была очень бледна и едва дышала. Ее мысли и чувства были ему неведомы.

Девочки осыпали их лепестками, налетел ветер, и лепестки взмыли ввысь облаком розовых, золотых и белых крылышек. Девочки носились вокруг молодоженов, пронзительно кричали и швыряли в них пригоршни мягких снарядов.

День прошел за трапезой, в речах и беготне по лужайке, а под конец в танцах. Вильям танцевал с Евгенией, по-прежнему бледной и молчаливой, внимательно следившей за своими движениями. Танцевал с Ровеной — она без остановки смеялась, и с Энидой, которая все болтала о том, как он, незнакомец с потерпевшего крушение

корабля, объявился в их доме. Мимо проносилась Евгения в объятиях Эдгара, и Лайонела, и Робина Суиннертона, и даже когда смолкла музыка, казалось, что все продолжают кружиться в вальсе. Наконец молодая чета Суиннертонов уехала к себе, и Алабастеры занялись приготовлениями ко сну, а Вильям не мог решить, куда же направиться ему, но никто ему не подсказал. Эдгар и Лайонел вели праздную беседу в курительной, но он знал, что там его не ждут, да у него и не было желания к ним присоединяться. Гаральд, проходя мимо по коридору, остановил его и сказал: «Благослови тебя Бог, мальчик мой» — только и всего. Леди Алабастер ушла к себе рано. Вещи Вильяма перенесли из комнатки на чердаке в его новую туалетную комнату, смежную со спальней, обустроенной для него и Евгении. Туда он и поднялся, встревоженный и неприкаянный, — Евгения ушла к себе раньше, — ломая голову над вопросом, обязан ли он соблюсти некий предварительный обряд.

В его спальне камердинер стелил постель и согревал ее, что показалось Вильяму излишним. Для него приготовили свежую ночную рубашку и расшитые Евгенией шелковые тапочки. Тощий камердинер, в черном сюртуке, с длинными бе-

лыми руками и мягкими рыжими бакенбардами, налил из синего кувшина в таз воды для умывания и вручил ему мыло и полотенце. Показав, где лежат новые, слоновой кости щетки для волос, подарок Евгении, камердинер поклонился и беззвучно исчез. Вильям прошел к двери спальни и постучал. Он не знал, как себя чувствует жена и как ему вести себя. Но робко надеялся, что они обо всем договорятся.

— Войдите, — раздался звучный голос, и он отворил дверь.

Евгения стояла на сброшенном смятом платье, утопая в кружевах. Над юбками, как в вечер их первой встречи, вздымались ее мраморные непорочные плечи. Венок, брошенный на туалетный столик, уже увядал. Худенькая, в черном шерстяном платье горничная, вынув булавки из волос Евгении, расчесывала освобожденные шелковистые пряди, и они ручейками растекались по ее плечам. Каждый раз волосы вздымались навстречу щетке и приникали к ней, пока горничная не взмахивала ею в очередной раз. Они потрескивали.

— Простите, — сказал он, — я, пожалуй, уйду.

— Марте осталось расстегнуть крючки и расчесать меня. Чтобы волосы не секлись, надо

ежедневно по меньшей мере двести раз проводить по ним щеткой. Вы не слишком утомились?

— Нисколько, — ответил он, оставаясь в дверях. Какая белоснежная у Евгении кожа. Должно быть, и соски у нее белые. Ему вспомнилась строчка из Бена Джонсона: «Так бела, так нежна, так прелестна она!» И тут он почувствовал себя непрошеным гостем, да еще в присутствии Марты, и смутился; горничной тоже стало неловко, и потому она отвернулась и принялась работать щеткой еще усерднее.

Но Евгения не смутилась. Она переступила теперь уже ненужные оборки и воздушные шелка и сказала:

— Как видите, мы почти закончили. Убери кружева, Марта. Перестань расчесывать и унеси все. Не знаю, все ли здесь так, как вы ожидали. Вам нравятся комнаты? Я постаралась подобрать тона, которые, кажется, вам нравятся, — зеленоватый и кое-где малиновый. Вам нравится?

— О да. Чудесно, очень уютно.

— Не дергай, Марта. Расстегни крючки здесь и здесь. Теперь уже совсем недолго, Вильям.

Значит, ему велят уйти. Оставив дверь приоткрытой, он вернулся в туалетную комнату, облачился в ночную рубашку и надел уютные та-

почки. Постоял, прислушиваясь к каждому звуку, свеча и луна за окном освещали его фигуру в ночной рубашке, забавную, точно он завернулся в простыню. Он слышал, как суетилась горничная и как скрипнула кровать, когда Евгения забралась в нее. Наконец, тихонько постучав, в дверях появилась горничная:

— Мадам готова принять вас, сэр. Все готово, вы можете войти.

Она придержала дверь, когда он проходил, присела, поправила постель и, опустив глаза, бесшумно выскользнула из комнаты.

Он боялся причинить Евгении боль. Но еще больше он полуосознанно боялся ее осквернить, как земля из стихотворения Джонсона запачкала снег. Он не был чист. Его научили кое-чему, даже научили многому, на танцах в Пара и в мулатских поселках ночами после танцев, и лучше бы сейчас о том не вспоминать, хотя, с другой стороны, и такой опыт мог пригодиться. Евгения сидела в постели; на необъятной кровати с пологом и занавесями громоздились одна на другой мягкие перины, набитые гусиным пухом, подушки, отороченные белыми кружевами, и мягкие валики — мягкое гнездышко, свитое на большой и мрачной кровати. «Как же невинная

самочка должна трепетать перед самцом, — подумал он, — это и понятно, ведь она так нежна, так бела, незапятнанна, неприкосновенна». Он стоял, опустив руки.

— Ну же, — сказала Евгения. — Я здесь. Мы оба здесь.

— Милая моя. Никак не могу поверить своему счастью.

— Еще немного сомнений, заставляющих вас стоять на пороге, и вы простудитесь.

На ней была сорочка broderie anglaise[15], расчесанные волосы веером рассыпались по плечам. В колеблющемся свете ее лицо танцевало у него перед глазами, а вокруг свечи танцевал и метался одинокий горностаевый мотылек. Вильям медленно-медленно приблизился к ней, страшась своего дурного опыта и своей силы, а она засмеялась, задула вдруг свечу и скрылась под одеялом. Когда и он пробрался внутрь, она протянула к нему невидимые руки, и он коснулся ее мягкого тела. Он крепко прижал ее к себе, чтобы утишить дрожь, ее и свою, и проговорил, уткнувшись в ее волосы:

— Я полюбил тебя с той самой минуты, как

---

**[15] Примечания: 15**

Английская вышивка, вид декоративной вышивки по белому полотну *(фр.)*.

увидел.

Она ответила тихим, бессловесным стоном, немного испуганным, немного похожим на чириканье птички, устраивающей гнездовье. Он гладил ее волосы и плечи и чувствовал, как на удивление крепко и уверенно она его обнимает, как ее ноги касаются его ног. Все глубже погружалась она и тянула его за собой вглубь темного и теплого гнезда, где почти нечем было дышать и становилось все жарче, так что на их коже выступил пот.

— Я не хочу, чтобы тебе было больно, — сказал он, а ее вздохи, вскрики и знаки удовольствия становились призывнее, когда она, смеясь, то с силой прижималась к нему, то отстранялась от него.

Какое-то время он следовал за ней, ловя ее горячие руки, и осмелился наконец дотронуться до ее груди, живота, спины; она же отвечала знаками — то ли страха, то ли удовольствия, этого он не понимал. Наконец страсть пересилила его, и он, вскрикнув, вошел в нее, и острые зубки впились ему в плечо, и она, содрогнувшись и отпрянув, приняла его.

— Милая, — прошептал он, оказавшись во влажном тепле, — милая, сладкая моя, ты пре-

лестна.

Она издала странный звук — полусмех-полурыдание. Он думал о тайне взаимного познания, о том, на что способны мужчина и женщина, как и другие твари, когда они безбоязненно подчиняются инстинкту. Евгения, белая и холодная как снег Евгения уткнулась в него горячим лицом и непрерывно целовала и целовала его в шею, где пульсировала вена. Ее пальцы вплелись в его волосы, их ноги сплелись — неужели это та самая Евгения, та, про которую он писал: «Я умру, если она не будет моей»?

— Любимая, — сказал он, — как счастливы мы будем, как же счастливы мы будем… это просто сказка.

Она засмеялась, перекатилась на спину и призывно притянула его к себе. Потом они заснули неспокойным сном, и когда в предрассветном сумраке он проснулся, увидел, что ее огромные глаза устремлены на него, и почувствовал, как руки ее касаются его укромных мест, и услышал знакомые всхлипы, то понял, что она просит еще, еще.

А потом в дверь постучала горничная, она принесла горячей воды, утренний чай и печенье; и Евгения проворно, подобно ящерке, сбегающей

с горячего камня, отпрянула и улеглась недвижно — спящая красавица с безмятежным розовым личиком под прядями волос.

Жил ли он долго и счастливо? Свадебным пиром закончилась сказка; пусть и с немалым трудом, но все же автору удалось преподнести читателю урок морали, и вот он перевернул последнюю страницу романа, в котором мелькнула страшная тень смерти, зато у героев появились чада, а в их отныне безмятежной жизни царит иллюзия вечной гармонии, любви, рождаются и лепечут дети, в садах спеют плоды, в полях наливается хлеб и теплыми ночами люди пожинают урожай. В тайном уголке души Вильяма, как и у большинства людей, жила надежда, что его жизнь сложится именно так, но он прятал эту надежду, боясь заглядывать в неведомое будущее. Он ожидал, что они с женой изобретут для выражения своих чувств никому не известный язык, и смутно надеялся, что она первая найдет этот язык. Женщины великолепно разбираются во всем, что касается чувств, а многое из того, что занимало его, — его научное самолюбие, любовь к открытиям, страсть к путешествиям — казалось неподходящим предметом для столь тонких изысканий. Первые недели совместной жизни

их тела говорили друг с другом языком расплавленного золота, шелковистых прикосновений, нежности, так что серым скучным днем долгое, нежное молчание было естественной формой общения. И вот однажды жена пришла к нему и, потупив глаза, сообщила сдержанно, шепотом, что, кажется, она тяжела и можно ожидать радостного события. Сначала он ощутил укол страха, но тут же подавил его, приласкал жену и поздравил, закружил ее, смеясь, и сказал, что она совсем не та, что раньше, совсем другая, что она дивная и загадочная. Она улыбнулась как бы своим мыслям и сказала, что ей не по себе, что она ощущает некоторую слабость и ее подташнивает, что, конечно же, вполне естественно. И так же внезапно, как открылась, дверь к счастью вновь захлопнулась перед ним и скрыла золотой сад ночей, меда и роз. Он теперь спал один, и жена спала без него в белом гнездышке и медленно пухла, ее груди наливались, появился второй сливочно-белый подбородок, и рос живот.

Забеременев, Евгения растворилась в мире женщин. Она подолгу спала, поздно вставала и уже днем отправлялась на покой. Она все шила крохотные кружевные одежки, тонкие, как паутинка, шарфики, чепчики с оборками

и маленькие чулочки. Часами просиживала перед зеркалом, устремив взгляд на отражение своего лилейного лица, а горничная без устали расчесывала ей волосы, которые с каждым разом становились все глаже. Ноги у нее отекали; она подолгу лежала на софе, держа в руке закрытую книгу, уставившись в пространство. В должное время ожидание закончилось, послали за доктором, и Евгения отправилась к себе в спальню в окружении нянек и горничных, одна из которых по прошествии почти восемнадцати часов торжественно сообщила Вильяму, что он теперь счастливый отец, и не одного, а двух здоровых младенцев женского пола. Вильям стоял, осмысливая вести, а мимо торопливо сновали женщины, унося что-то в ведрах и запачканное белье в корзинах. Он вошел к Евгении. Она лежала на накрахмаленных подушках, до самого подбородка укрытая покрывалами непорочной белизны, ее волосы были забраны мягкой синей лентой. Его дочери лежали в корзине у кровати, как два одинаковых яйца, точно спеленатые крошечные мумии; их мятые личики были испещрены красноватыми, свинцовыми и белесыми пятнами. От белья поднимался лавандовый запах, смешанный с другим, слабым запахом

молока и крови, запахом родов. Вильям нагнулся и поцеловал жену; щека была холодной, хотя на лбу и верхней губе блестели бисеринки пота. Евгения закрыла глаза. В этой комнате, среди этих запахов он показался себе посторонним. Евгения только чуть вздохнула, но ничего не сказала.

— Я очень тобой горжусь, — сказал Вильям и почувствовал, как его скрипучий мужской голос режет густой мягкий воздух.

— Ступайте, она совсем без сил, — сказала ему повитуха.

Малышек назвали Агнессой и Дорой, и Гаральд покрестил их в церкви. К тому времени у них уже были лица. Одинаковые лица с одинаковыми ртами, которые просили есть одновременно, с одинаковыми скулами и синими глазками. Они были похожи на Гаральда, унаследовав фамильные черты. Головки, на которых пульсировали жилки, покрывал белый пушок.

— Как маленькие лебеди, — сказал однажды Вильям Евгении, сидя с ней рядом в гостиной, куда няня каждый день приносила малышек на свидание с матерью. — Ты как лебяжий пух, а они точно маленькие лебеди. Мне кажется, они на меня совсем не похожи.

Евгения высвободила из шалей руку и сжала

его пальцы.

— Они еще будут похожи, — возразила она с уверенностью матроны. — Я видела очень много малышей, они меняются каждую неделю, день ото дня. Фамильное сходство, как облачко, пробегает по их лицам, сегодня они похожи на папу, завтра на дедушку, во вторник на тетушку Понсонби, а в пятницу в обед на прабабушку. Все потому, что эти милые крошки такие нежные, такие податливые, — если понаблюдать терпеливо, можно внезапно увидеть у Агнессы свой подбородок или Дора вдруг улыбнется, как улыбалась бабушка.

— Наверное, ты права, — сказал Вильям, обнаруживая с удивлением и радостью, что ее пухлая рука все еще лежит в его руке, мягкие пальчики все еще в его ладони.

Малышек кормила грудью Пэгги Мэдден, но не такими представлял себе кормилиц Вильям: кормилица должна быть, подобно Юноне, величава и обильна, с полными руками, широкими бедрами и большой грудью. А Пэгги Мэдден была худышкой с длинной, журавлиной шеей и жилистыми руками. Она обычно ходила в платье землистого цвета, застегнутом под подбородок, и темно-синем переднике. Под этой скромной,

неяркой одеждой выдавались вперед шары грудей, которые никак не вязались с узкой талией и хрупкими плечами. Глядя на них, Вильям с неудовольствием ощущал, как тело его откликается на эту картину. Однако существование Пэгги Мэдден возвратило Евгении дееспособность, так что, когда Вильям приходил к себе, дверь в ее спальню была радушно открыта, а внутри мерцал огонь. Он вступал в это свечение, и Евгения принимала его в постели; как в былые времена, она ласково утыкалась ему в шею, повторялись всплески пламенной страсти и вскрики, только кожа ее стала мягче и податливей, груди, на которые он опускал победную голову, сделались большими и сладкими, стал нежнее и немного одряб живот. Все повторилось: краткие недели блаженства сменились долгими месяцами совершенной вялости, витьем гнезда, но на этот раз родился сын, такой же белоголовый птенец; а потом снова все повторилось — родилась еще пара близнецов, девочки Мэг и Арабелла. Евгения решила назвать сына Эдгаром, и тут Вильям впервые осмелился возразить. «Эдгар есть в каждом поколении Алабастеров», — заявила Евгения, с решительным видом выпятив губы и спрятав полный подбородок. Вильям возразил, что его сын Адамсон, а не

Алабастер и что он хочет назвать ребенка в честь кого-нибудь из своей семьи, каким бы захудалым ни был его род.

— Не понимаю, ради чего, — сказала Евгения, — с твоими родственниками мы не видимся, не общаемся, да и вряд ли будем. К нам они не приезжают, и Эдгар их никогда не увидит. Мы — твоя семья, и, по-моему, ты должен признать, что здесь к тебе хорошо относятся.

— Более чем хорошо, дорогая, более чем. И все же…

— Все же?

— Хотелось бы иметь хоть что-то свое. Ведь мой сын в некотором смысле моя собственность.

Это ее озадачило. Подумав, она снисходительно согласилась:

— Назовем его Вильям Эдгар.

— Только не моим именем. Пусть у него будет имя моего отца. Роберт. Роберт — хорошее английское имя.

— Тогда Роберт Эдгар.

Она пошла на уступку, и ему показалось невежливым и неуместным возражать против второго имени. Так мальчик получил имя Роберт; временами Вильям улавливал на лице малютки собственное настороженное выражение, хотя,

вообще говоря, мальчик, как и остальные дети, пошел в Алабастеров — такой же бледный, стройный и нервный. Даже в то время рождение пятерых детей всего за три года считалось быстрым и большим приращением семьи; как-то раз Вильям поймал себя на мысли, что его неуклюжие малыши очень похожи на щенячий выводок. И, завладев той, которую так страстно желал, о ком писал в дневнике, он не был счастлив в полной мере.

Он был несчастлив по многим причинам. Больше всего его мучила мысль, что он позабыл о своей цели, о своем призвании. Просить Гаральда помочь ему снарядить новую экспедицию он не смел, такая просьба была бы неуместна: его дети были еще слишком малы. Он вновь стал разбирать коллекцию Гаральда, набивал бесконечные чучела, выдумывал хитроумные способы хранения экземпляров, даже сравнивал под микроскопом африканских муравьев и пауков с их малайскими и американскими сородичами. Но коллекция была столь бессистемна и запутанна, что он нередко впадал в уныние. Не о такой работе он мечтал. Ему приходилось перебирать мертвые высушенные оболочки, а хотелось наблюдать жизнь, изучать живых тварей. Иногда

он с горечью обнаруживал сходство этого нагромождения надкрыльев, пустых грудных клеток, слоновых ног и перьев райских птиц с путаной книгой Гаральда о Божьем промысле, в которой тот брел по замкнутому кругу, часто останавливаясь в недоумении, находя на мгновение просвет и вновь теряясь в колючих зарослях честного сомнения.

Чем пристальнее они оба рассматривали мех, зубы, цветки, клювы, хоботки, тем тверже он убеждался в том, что существует мощная, жестокая созидательная сила, которая не обладает ни снисхождением, поскольку неразумна и бесстрастна, ни любовью, потому что она без сожаления избавляется от всего бесполезного и убогого, ни потребностью творить, поскольку вовсе не восторгом подпитывается ее таинственная звериная энергия; и сила эта искусна, прекрасна и ужасна. И чем большее восхищение он испытывал, наблюдая, как эта сила исподволь изменяет все живое, тем более тщетными и жалкими представлялись ему попытки Гаральда поймать ее в сеть теологии, увидеть в круговерти природы отражение и подтверждение его взглядов на доброту и справедливость. Временами он едва не переходил на крик, пытаясь втолковать это

Гаральду, но всякий раз не мог решиться без обиняков заявить о своих убеждениях — из чувства долга перед стариком, из почтительности, из стремления уберечь его от потрясения. Он был уверен, что, раскрыв Гаральду свои истинные соображения, повергнет своего благодетеля и тестя в бездну отчаяния. И не делал этого из простого человеколюбия.

Но тем сильнее ощущал он омрачавшее его жизнь одиночество. В амазонских джунглях он тоже был одинок. Когда он, бывало, сидел у костра на лесной прогалине, прислушиваясь к воплям ревунов, стрекоту крыльев, казалось, он все бы отдал, лишь бы услышать человеческий голос, заурядное «Как поживаете?», замечание о дурной погоде или безвкусной пище. Но там он был самим собой — мыслящим существом, выживающим при помощи быстрой смекалки, разум жил в его хрупком теле, он видел солнце и луну, взмокал от пота и речных испарений, его кусали москиты, жалили кровососущие мухи, глаза и уши спасали его от змей, помогали на охоте. Здесь же, в сельском доме, в замкнутом и сложном обществе его обитателей, он был одинок совсем по-другому, хотя редко оставался наедине с собой. В женское общество на кухне, в детской

и гостиной он не был вхож. Его малютки находились под опекой сначала кормилицы, потом няни и воспитательницы, их возили в колясках, кормили из бутылочек и с ложечки. Жена только дремала да занималась шитьем, а слуги кормили и обихаживали ее. Девочки были заняты своими делами, наряжались, вечерами играли в какие-то понятные только им игры с бирюльками, буквами, досками и костями. Молодые люди часто отсутствовали, а возвратясь домой, чересчур дымили и шумели. Ему нравился Робин Суиннертон, тот также был расположен к Вильяму, но Ровена оставалась бездетной, и сестры охладели друг к другу; к тому же Суиннертоны часто уезжали отдыхать на Озера, в Париж или в Альпы.

Слуги были неизменно заняты и по большей части молчаливы. Они бесшумно исчезали за дверью людской, в тех таинственных пространствах, куда его нога не ступала, хотя в комнатах, где протекала его жизнь, он встречал их на каждом шагу. Они наливали ему ванну, вечером отворачивали покрывало, подавали еду и уносили посуду, уносили грязную одежду и приносили свежую. Они были исполнены четкого сознания цели в той же мере, в какой чада этого дома были его лишены. Однажды, поднявшись из-за бессон-

ницы в половине шестого утра, он направился в кухню отрезать ломтик хлеба, намереваясь затем пойти к реке посмотреть на восход солнца. И вспугнул судомойку, маленького эльфа в черном платье и чепце, со шваброй и двумя большими ведрами; заметив его, она от неожиданности вскрикнула и с лязгом уронила ведро. В ведре что-то шевелилось, и он заглянул в него: внутри кишели черные тараканы, их было очень много, измазанные чем-то клейким, они ползали друг по другу, падали, сучили лапками и усиками.

— Что вы делаете? — спросил он.

— Выношу ловушки, — ответила девочка. Она была совсем ребенком. Ее губы дрожали. — В мойке они кишмя кишат, сэр. На ночь я ставлю ловушки, мисс Ларкинс показала мне как: наливаешь патоки в глубокую жестянку, они туда падают и не могут выбраться. Потом я выношу их на улицу и ошпариваю. Удивительно, сэр, сколько ни ошпаривай, они не переводятся. Запах омерзительный, — сказала она, а потом, будто испугавшись, что слишком откровенно продемонстрировала свое отвращение, резко подхватила ведро. — Простите меня, — пробормотала она, уверенная, что в чем-то провинилась.

В голове промелькнуло: а что, если ему начать

изучать тараканов; они здесь в таком изобилии и совершенно бесполезны.

— Может быть, мне удастся увидеть, как они размножаются. Не могла бы ты отловить для меня дюжины две крупных и здоровых особей? За вознаграждение, разумеется…

— Да, они едят все подряд, — сказала она. — Они такие противные, выйдешь рано утром, хрустят под ногами. Мне кажется, мисс Ларкинс будет недовольна, если я стану собирать их даже для вас, она велит мне их ошпаривать до того, как встанут хозяева. Я попрошу у нее позволения, но вряд ли ей это понравится.

Он почувствовал слабый неприятный запах из ее рта. Резкий, тошнотворный запах исходил также от патоки и насекомых, которые копошились в ведре и шуршали. Он попятился, позабыв про хлеб. Девочка подняла ведра, и мышцы на ее худой шее над хрупкими плечами напряглись, а спина сгорбилась. Бедняжка. Вильям тщетно пытался представить себе, как она живет, о чем думает, чего боится, на что надеется. В его воображении она смешалась с плененными ею жесткокрылыми, которые безуспешно рвались на свободу.

Но в доме были уголки — между мягким

гнездышком спальни и чердаком, погребами, задними комнатами, — в которых существовали отторгнутые касты прислуги, где Вильям вновь становился самим собой. Иногда он подолгу просиживал в классной комнате, наблюдая, как усердно трудятся обитатели стеклянного улья и муравейника. Он приходил сюда, дождавшись, когда дети уйдут играть или гулять, и иногда встречал здесь Мэтти Кромптон; ее положение в доме, думал он иногда печально, столь же неопределенно, как и его собственное. Оба они были бедны, оба числились почти на положении работников, теперь оба стали родственниками хозяев, но не хозяевами. Он не делился этими размышлениями с мисс Кромптон; после женитьбы она стала относиться к нему настороженнее и с какой-то щепетильной почтительностью. Он теперь задумывался над тем, как и чем она живет, — так же, как начал замечать тяжкий труд созданий вроде девчушки-эльфа, что каждый божий день ошпаривала тараканов, и пришел к выводу, что от Мэтти Кромптон требовалось «приносить пользу»; должность ее при этом не уточнялась, это было бы унизительно. По его мнению, женщины лучше, чем мужчины, умеют приносить пользу. В домах, подобных этому,

все было устроено женщинами и для женщин. Гаральд Алабастер был, конечно, хозяин, но по отношению к часовым шестеренкам домашней жизни он выступал в роли *deus absconditus*[16]: он запустил механизм жизни и мог при необходимости остановить его, но никак не вмешивался в ее ход.

Все же именно Мэтти Кромптон высказала одно предложение, которое подтолкнуло Вильяма вернуться к целенаправленной деятельности. Однажды весной около полудня он застал ее сидящей перед муравейником; рядом на столе стояло блюдце с кусочками фруктов, пирога и мяса, а она что-то усердно вписывала в большую записную книжку.

— С добрым утром. Надеюсь, не помешал вам.

— Что вы. Я наблюдаю за поведением этих поразительных тварей. Мои изыскания, конечно же, покажутся вам дилетантскими…

Поколебавшись, он спросил, что именно она изучает.

— Я кладу на землю кусочки еды и считаю муравьев, которые к ним подбегают, наблюдаю, как быстро и каким образом они с ними управляются.

---

**[16] Примечания: 16**
Тайный бог *(лат.)*.

Взгляните, их очень привлекают кусочки дыни и виноград, прошло ровно полчаса, и вот этот кусочек сладкого фрукта превратился в живую подушечку для булавок. Начинают они всегда одинаково: вонзаются в мякоть снизу, по возможности проникая внутрь полностью, и поглощают соки, постепенно высасывая ее досуха. А крошки ветчины несколько муравьев поднимают целиком, засовывают в муравейник через трещины в земле и передают другим. Невозможно не восхищаться этим духом сотрудничества. Невозможно не восхищаться тем, как они сообщают друг другу о кусочке ветчины или дыни и подсчитывают, сколько потребуется рабочих, чтобы перенести их или высосать содержимое. Их движения кажутся бестолковыми, но на самом деле они целенаправленны — можно заметить, что муравьи обмениваются сообщениями. Надеюсь, моя формика прима не утонула во фруктовом соке. Добрых десять минут она лежит и не шелохнется.

— Вы уже узнаете отдельных муравьев?

— Я часами слежу за одним из них, когда выпадает свободное время, но придумать, как пометить муравья, чтобы его узнавать, не могу. Я заметила, что одни муравьи значительно

активнее других, они побуждают к действию, меняют задание или направление движения. Но у меня нет возможности проводить здесь много времени.

— Вот если бы пометить одного кошенилью… товарищи могут отвергнуть его…

— Возможно, это был бы выход… но вдруг краску не будет видно…

— Можно заглянуть в вашу записную книжку?

Он просмотрел ее тщательно вычерченные рисунки, сделанные карандашом и индийскими чернилами: муравьи едят, муравьи дерутся, муравьи, привстав на задние лапки, отрыгивают нектар и передают его товарищу; муравьи поглаживают личинки и таскают яйца.

— Вы меня пристыдили, мисс Кромптон. Все это время я тайно печалился из-за того, что мои исследования жизни насекомых в амазонской долине, которые я надеялся продолжить, прервались из-за счастливого поворота судьбы, — и вот я вижу, что вы делаете то, что следовало бы делать мне, наблюдаете неведомый мир, что вокруг нас.

— Сфера моей деятельности, естественно, более ограниченна. И мне, естественно, доступнее то, что у меня под носом.

Он почувствовал брошенный на него короткий

оценивающий взгляд. Она проговорила:

— Если бы вы захотели, скажем, заняться изучением той большой муравьиной кучи, от которой произошла эта колония, мы с детьми подключились бы к работе в качестве скромных помощников и счетоводов…

— Рядом с нашей цитаделью я заметил гнезда черных муравьев *Acanthomyops fuliginosus* и рабовладельцев *Formica sanguinea.* Сравнительное изучение могло бы быть весьма интересным…

— Но мы не увидим, что происходит внутри, как вот здесь…

— Нет, не увидим, но можем придумать способы увидеть очень много. Я благодарен вам, мисс Кромптон. — Он хотел еще сказать: «Вы возвратили мне надежду», но вовремя осознал, что это неуместно и даже вероломно.

Разговор состоялся, насколько Вильям мог припомнить позже, весной 1861 года, вскоре после рождения Агнессы и Доры. Он уже прожил в Бридли почти год. Вышло так, что разговор подтолкнул его к более серьезному изучению муравьиных сообществ и, в меньшей степени, ульев на пасеке Бридли-холла, следующие три года он занимался этим с командой помощников: детей из классной, мисс Мид, сына садовника и его

младшего брата, наблюдательной и умелой Мэтти Кромптон. Муравьи — сезонные насекомые: они живут кипучей жизнью летом, а в холодные месяцы впадают в спячку. В 1861 году Вильям начал осознавать, что и его жизнь подвержена подобным сезонным подъемам и спадам. После того как крошки-девочки благополучно оказались в детской под опекой полногрудой Пэгги Мэдден, интерес к нему Евгении возобновился и совпал по времени с теми событиями в поле, на которые Мэтти Кромптон призывала его обратить внимание. Когда Евгения превратилась в молодую матрону, у нее пропала охота принимать участие в общих прогулках по берегу и тем более возиться в земле в вязовой рощице; она, однако, появилась там пару раз, нежная и беззащитная в белом атласном платье с небесно-голубыми лентами, с зонтиком от солнца в руке, и стояла, ожидая, пока он не обратит на нее внимания, вознаграждая его за это едва заметной, медленной, заговорщической улыбкой. Обычно в таких случаях она поворачивалась и не торопясь возвращалась к дому, зная, что, бросив совок, он тотчас догонит ее, что его рука нежно ляжет на ее голубой поясок, и они, с сознанием того, что должно произойти, заходили в дом, в

свои комнаты. Но, несмотря на это, в тот первый год, пусть и достаточно случайно, удалось найти несколько муравейников и дать им имена.

Один они назвали Материнским муравейником; под этим холмом около двух метров в диаметре расположился муравьиный город, по расчетам уходящий под землю более чем на метр; жизнерадостная Маргарет непочтительно окрестила другой муравейник Осборновым гнездом (на лето в Осборн[17] выезжала королева Виктория). Дочерние муравейники и колонии получили имена Вяз, Ежевичная колония и Гнездо в каменной ограде, а один брошенный муравейник мисс Мид, которая была чуточку поэтом, назвала Покинутой деревней. Это была ее идея назвать муравейник Вязом; помимо точного указания на местонахождение гнезда — процветающая колония обосновалась в вязовом пне, — название заключало аллюзию на стихотворение Роберта Браунинга «Мысли о доме издалека»; оно посвящено тому, как человек на чужбине грустит по английской весне, — такую же грусть испытывал и Вильям в круглогодичном тепле тропиков.

---

**[17] Примечания: 17**

*Осборн* — летняя резиденция королевы Виктории на о. Уайт, построенная в 1845 г.

*Быть сегодня в Англии —*
*В этот день апреля!*
*Хорошо проснуться в Англии*
*И увидеть, встав с постели,*
*Влажные ветви на вязах и кленах*
*В маленьких, клейких листочках зеленых,*
*Слышать, как зяблик щебечет в саду*
*В Англии – в этом году*[18].

Лишь следующей весной, весной 1862 года, в нем, помимо воли, проснулась тоска по тропическим запахам, по воплям ревунов, по амазонской шири, по простым людям, с которыми ему довелось познакомиться. В 1861 году он признался мисс Мид и Мэтти Кромптон, как много для него значило это стихотворение, как эти крошечные листья, эта весенняя свежесть оттиснулись в его воображении; и они согласились, что все это чрезвычайно интересно. И Материнский муравейник, и дочерние гнезда были городами рыжих

---

**[18] Примечания: 18**

*Браунинг Роберт* (1812–1889) — поэт, в творчестве которого романтические традиции «озерной школы» сочетались с реалистическим изображением действительности. Его поэзии свойственны философичность и страстная проповедь гуманистических идеалов. Перевод С. Маршака.

лесных муравьев, *Formica rufa.* Были открыты и города черных муравьев, *Acanthomyops fuliginosus,* и желтых, *Acanthomyops umbratus,* и кровавых муравьев-рабовладельцев *Formica sanguinea.* Мисс Мид хотела назвать крепость рабовладельцев Пандемониумом, по имени Мильтонова города демонов; она встала на полянке в солнечном свете и, поблескивая очками, продекламировала отрывок из «Потерянного рая»:

*…сугубо главный зал…*
*Здесь, на земле и в воздухе, кишат,*
*Свища крылами, духи.*

— Это о пчелах, — заметила Мэтти Кромптон. — Дальше вот как:

*Так, весной,*
*Когда вступает солнце в знак Тельца,*
*Из улья высыпают сотни пчел,*
*Вперед-назад снуют среди цветов*
*Росистых иль, сгрудившись у летка,*
*Что в их соломенную крепостицу*
*Ведет, на гладкой подставной доске,*
*Бальзамом свежим пахнущей, рядят*
*О важных государственных делах, —*

*Так, сходственно, эфирные полки*
*Роятся тучами. Но дан сигнал, —*
*О чудо! – Исполины, далеко*
*Превосходившие любых гигантов*
*Земнорожденных, вмиг превращены*
*В ничтожных карликов; им нет числа,*
*Но могут разместиться в небольшом*
*Пространстве, как пигмеи, что живут*
*За гребнем гор Индийских, или те*
*Малютки-эльфы, что в полночный час*
*На берегах ручьев и на лесных*
*Опушках пляшут; и поздний пешеход*
*Их видит въявь, а может быть, в бреду,*
*Когда над ним царит луна, к земле*
*Снижая бледный лет, – они ж, резвясь,*
*Кружатся, очаровывая слух*
*Веселой музыкой, и сердце в нем*
*От страха и восторга замирает*[19].

— Если следовать Мильтоновым строкам, мы должны назвать улей Пандемониумом.

---

**[19] Примечания: 19**
Перевод А. Штейнберга.

Вильям заметил, что Мильтон точно описал пчел и что мисс Кромптон необыкновенно хорошо знает Мильтона.

— Мне пришлось выучить этот отрывок как пример героического сравнения, — сказала мисс Кромптон. — Я не жалею об этом, отрывок великолепен, и выучить его было несложно. Я запоминаю быстро, у меня цепкая память. Но если мы Пандемониумом назовем улей, как нам назвать жилище красных рабовладельцев?

— Жуткое ремесло, — с неожиданной горячностью сказала мисс Мид. — Никогда еще так не плакала над книжкой, как когда читала «Хижину дяди Тома». Каждый вечер я прошу Бога благословить президента Линкольна.

Первые выстрелы в Гражданской войне прозвучали совсем недавно. В Бридли мнения о ней разделились; семейный доход во многом зависел от хлопковой торговли в Ланкашире, так что в домашнем кругу эта тема не обсуждалась. Вильям сказал мисс Мид, что ему довелось видеть настоящее рабство в Бразилии на каучуковых плантациях, и согласился, что рабство — зло, хотя тамошнее и отличается от североамериканского, поскольку в Бразилии несмешанные расовые типы, то бишь белые, негры и индейцы, составляют

незначительную часть населения.

— У меня было несколько очень добрых приятелей из негров-вольноотпущенников, — сказал он, — все люди твердых принципов и с прекрасной душой.

— Как интересно, — сказала Мэтти Кромптон.

— В Бразилии есть закон, запрещающий португальцам скупать детей у вождей индейских племен и обращать их в рабство. Поэтому торговцы людьми изобрели любопытный эвфемизм. Давая понять, что занимаются покупкой людей, они употребляют слово *resgatar*, что значит «выкуп». Индейцы из манаусского племени весьма воинственны, они порабощают своих пленников, затем португальцы «выкупают» их и перепродают в рабство. И слово *resgatar* общеупотребительно по всему течению реки для обозначения покупки детей. Таким образом, понятие «выкуп»[20] и в теологическом, и в человеческом смысле приобретает низменный смысл.

— Какой ужас, — проговорила мисс Мид. — И вы все это видели.

---

**[20] Примечания: 20**

Этимология та же, что и слова «искупление» (от *лат.* redemptionem). Все грешники находились и находятся в рабстве греха. Господь Иисус Христос искупил всех нас от греха, проклятия и смерти и потому называется Искупителем. «В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его» (Еф. 1: 7).

— Я видел такое, о чем не смею рассказать вам, — ответил Вильям, — иначе вам станут сниться кошмары. Но я испытал на себе и безграничную человеческую доброту, и товарищеское участие, особенно среди людей черной и смешанной рас.

Он вновь почувствовал проницательный взгляд мисс Кромптон. Она, как птица, была остроглаза и наблюдательна. Она заметила:

— Хотелось бы услышать от вас больше. Разве можно жить, ничего не зная о том, что происходит в мире?

— Свои байки я приберегу до зимних вечеров у камина. А пока мы должны дать имя гнезду красных муравьев.

— Мы с полным правом можем назвать его Афины, — предложила мисс Кромптон, — поскольку греческая цивилизация, которой мы так восхищаемся, была основана на рабстве и, смею сказать, не будь рабства, не заблистала бы столь ярко. Но муравьиной архитектуре, если можно ее так назвать, недостает блеска.

Маленькие обитатели муравейника, нервные и раздражительные, суетились у них под ногами, перенося разнообразные клочки и волокна.

— Я предлагаю назвать его Красная крепость, —

сказал Вильям. — Название довольно воинственное и содержит намек на цвет *sanguinea.*

— Пусть будет Красная крепость, — согласилась Мэтти Кромптон. — А я займусь ее географией и историей, но не ab urbe condita[21], а с тех пор, как мы ее нашли.

Несколько раз он заставал Мэтти Кромптон в детской: она с прилежанием записывала эпизоды из жизни улья и муравьиного города. Лесные муравьи в этой части Суррея повсеместно устраивали брачный полет в Иванов день. В 1861 году это стало для всех неожиданностью: роение началось, когда молодые люди и обитатели классной устроили на лужайке клубничный пикник, и сотни крылатых самцов и самок, ошалело кувыркаясь, начали падать с неба на сэндвичи с огурцом и в серебряные кувшины со сливками, спариваться, барахтаться в клубничном соке и чае, сновать по ложкам и кружевным салфеткам. Евгения была раздосадована; надув губы от отвращения, она вытаскивала из-за ворота заблудившихся самцов, а Вильям ей помогал, сметая цепких насекомых с ее волос и зонтика. Девочки, визжа и отряхиваясь, носились по лужайке. Мисс

**[21] Примечания: 21**
От основания города *(лат.).*

Кромптон достала альбом и принялась рисовать. Когда Элен попыталась краем глаза заглянуть в ее рисунки, она захлопнула альбом, убрала его в свою корзину и включилась в битву Алабастеров с муравьями: как следует встряхнула скатерть и убрала масло. Мертвые и умирающие муравьи лежали недвижно серебристо-черными кучками. Повар дома сметал их веником с кухонного подоконника. Пока слуги поспешно уносили снедь и посуду, Вильям мельком увидел своего тараканьего эльфа; она торопилась к дому с тяжелым чайником. Мисс Кромптон, закончив свою битву, снова достала альбом. Евгения пошла переодеться, и Вильям отправился за ней следом, дабы удостовериться, что ни один муравей не запутался в оборках и складках ее накрахмаленного платья.

Той зимой Вильям, раздраженный холодностью Евгении и холодом на улице, впервые серьезно поспорил с Гаральдом Алабастером. Гаральд тоже страдал от заморозков. Чтобы оградить хозяина дома от запахов готовящейся пищи и дыма, кабинет расположили как можно дальше от кухни; по этой причине в комнате было холодно, даже когда в камине горел огонь. С наступлением зимы молодые люди оживились. Эдгар и Лайонел

целые дни проводили вне дома, стреляли или охотились, возвращались с окровавленной добычей — птицей и зверем; нередко и руки их, и одежда тоже были в крови. Их оживленность еще сильнее оттеняла замкнутость отца. Он казался узником в своем кабинете и, если прогуливался по коридорам или стоял в дверях теплого жениного гнездышка, был почти незаметен. Как-то раз он послал к Вильяму слугу с просьбой прийти и взглянуть на новый отрывок, написанный в доказательство Божьего промысла.

— Я подумал, вы захотите посмотреть, тем более что я привожу кое-какие доказательства, кое-какие примеры, которые должны быть вам очень хорошо знакомы. Я основываю свои доказательства на существовании тайны и любви. Будьте добры, посмотрите.

Он протянул Вильяму листы, исписанные мельчайшим аккуратным почерком, который уже выдавал дрожание старческих рук, напряжение слабеющих нервов и мышц. Текст правился и менялся много раз, так что листы были похожи на простроченные заплаты; целые абзацы были перечеркнуты жирными линиями или вставлены в другие места — выше или ниже, — обведены кругами, разбиты. Вильям сел на стул тестя и по-

пытался осмыслить написанное, но чем дальше читал, тем сильнее раздражался. Гаральд повторял старые доказательства, часть которых отверг в беседах как слабые и непригодные.

«„Славлю Тебя, — восклицает автор 138-го псалма, — потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это“. И, точно ему известны нынешние споры о происхождении живых тварей и развитии эмбрионов, псалмопевец продолжает: „Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою“.

Мы все инстинктивно ощущаем эти дуновения благоговейного страха, оттого что мы столь „дивно устроены“, и, естественно, склонны предполагать, что наша непостижимая сложность есть деяние Творца, — наш развитой ум едва ли может допустить, что ее породила слепая случайность. Псалмопевец опережает теоретиков

развития в своем знании о совершенствовании материи и длительной ее шлифовке, результатом которых являются живые существа. Ранее, в тринадцатом стихе, он пишет о любовной заботе Бога о нерожденном чаде: „Ибо Ты устроил внутренности мои, и соткал меня во чреве матери моей“. Резонным кажется спросить: чем подобное Божество отличается от той силы, которую мистер Дарвин называет *естественным отбором,* когда пишет: „Можно сказать, что естественный отбор ежедневно, ежечасно и всесветно наблюдает за всяким, пусть самым ничтожным, изменением; и, отбрасывая изменения вредные, сохраняет и накапливает полезные; трудится неприметно, исподволь, пользуясь любой возможностью, над улучшением всякого организма…“

Не есть ли эта чуткая забота лишь иное истолкование заботы милостивого Господа, в которую нас испокон века учили верить? Не можем ли мы утверждать, что новое истолкование мистером Дарвином средств, ведущих к появлению полезных изменений, есть также проявление заботы, помогающей прогрессу и развитию человека и нашей способности воспринимать с восхищением, познавать, улучшать и исправлять те силы, которые Бог привел в движение и которые

мистер Ричард Оуэн назвал „непрерывным предписанным становлением“? Наш Бог — не *Deus Absconditus*, который оставил нас во мраке на бесплодной пустоши, и не равнодушный Часовщик, который завел пружину и бесстрастно наблюдает за тем, как она медленно раскручивается, пока рано или поздно не наступит неподвижность. Он любящий художник и бескорыстно дарует нам новые возможности там, где, казалось, лишь многочисленные могилы и сырой материал.

Не надо быть Панглосом[22], чтобы поверить в красоту, добродетель, истину и счастье и, что превыше всего, в сочувствие к ближнему и любовь, человеческую и Божественную. Очевидно, что не все к лучшему в этом лучшем из миров, и было бы верхом безрассудства, подстановкой желаемого вместо действительного пытаться свести прославление силы и славы Господа нашего к радостному подпрыгиванию ягнят, или ярким лютикам, или нарождающейся в грозовом небе радуге — и Создатель говорит о радуге в облаке как о завете всем и каждому: „Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима,

**[22] Примечания: 22**

*Доктор Панглос* — жизнерадостный персонаж философской фантазии Вольтера «Кандид».

день и ночь не прекратятся“[23]. Библия учит, что земля проклята со времени грехопадения, Библия учит, что проклятие снято отчасти после потопа, Библия учит, что наши несущие истребление натуры можно искупить, они *уже* искуплены нашим Господом Иисусом Христом. Земля не всегда милостива, но она доносит до нас Слово Божье голосами камней и цветов, бурь и вихрей и даже простым трудолюбием муравьев и пчел. И мы можем говорить, если только пожелаем, о том, что наши греховные натуры неизменно, пусть небеспрепятственно и трудно, улучшаются с каждым днем нашей обыденной жизни, улучшаются с тех пор, как наш Господь заповедал нам „любить ближних своих как себя“ и явился нам как Бог Любви, Бог Всемогущий, Бог промысла.

Давайте, как и Он, говорить притчами. Его притчи взяты от тайн природы, которую, если верить Его Евангелию, Он сотворил и о которой Он заботится. Он указывает нам на птиц небесных и полевые лилии — они не трудятся, не прядут. Он говорит нам — даже Он — о расточительности природы — расточительность эта повергает в

**[23] Примечания: 23**
Быт. 8: 22.

ужас Лауреата[24] в притче о семенах, которые падают среди плевел или на каменистую землю. Если всмотреться в неприметную жизнь общественных насекомых, я думаю, мы увидим истины, которые, как загадки, порой недоступны нашему пониманию. Мы привыкли думать об альтруизме и самопожертвовании как о человеческих добродетелях, человеческих по сути, но, очевидно, это не так. Эти крошечные твари по-своему проявляют оба этих качества.

Давно известно, что среди пчел и муравьев есть только одна настоящая самка, царица, а работу сообщества выполняют бесплодные самки, или монахини, которые кормят всех остальных, выращивают молодь и отстраивают город. Известно также, что насекомые, проявляя большую или же меньшую заботу о зародыше, личинке, способны формировать ее пол. Чемберс[25] сообщает, что зародышевая стадия пчелиной царицы длится шестнадцать дней, бесполых пчел — двадцать,

---

**[24] Примечания: 24**

Альфред Теннисон был удостоен звания поэта-лауреата в 1850 г., после выхода в свет поэмы «In memoriam» («Поминовение»).

**[25] Примечания: 25**

*Чемберс Роберт* (1802–1871) — шотландский писатель, издатель, зачинатель известной энциклопедии. В 1844 г. написал естественно-научный труд «Вехи естественной истории», высоко оцененный Дарвином.

а самцов — двадцать четыре. Пчелы расширяют ячейку будущей царицы, делают в ней пирамидальное углубление, чтобы личинка находилась в вертикальном — а не горизонтальном, как обычно, — положении; они согревают ее лучше, чем другие личинки, и кормят особой пищей. Эта забота и сокращение зародышевого периода приводят к появлению настоящей самки, царицы, которой, говоря замечательными словами Кирби и Спенса[26], судьбой назначено „наслаждаться любовью, пылать ревностью и злобой, быть побуждаемой к мести и проводить время в праздности“. Мистер Дарвин признался, как огорчает его жестокость, с какой ревнивые царицы наблюдают за появляющимися в улье сестрами и убивают их. Он спрашивает, не доказывает ли это убийство новорожденных, это подлинное избиение младенцев, что Природа жестока и сама по себе расточительна. Но можно предположить, что, напротив, промысел Божий направлен на выживание царицы, которая способна лучше других обеспечить улей новыми поколениями

**[26] Примечания: 26**

*Кирби Уильям* (1759–1850) — английский ученый-энтомолог. Его монография «Apum Angiae» — первый научный труд об английских пчелах. Совместно с Уильямом Спенсом написал 4-томную работу «Введение в энтомологию».

или дать рою новую главу. Как бы то ни было, но более долгая эволюция рабочего насекомого определенно приводит к появлению отличного от других существа — существа, вновь говоря словами Кирби и Спенса, „пекущегося о благе сообщества, защитника общественных прав, не испытывающего полового влечения и родовых мук, трудолюбивого, старательного, терпеливого, изобретательного, умелого; занятого беспрестанным вскармливанием молоди, сбором меда и пыльцы, изготовлением воска, постройкой ячеек и тому подобными делами! — почтительно и бессменно заботится о тех, кого, будь развиты у него яичники, оно бы ненавидело и преследовало с мстительнейшей яростью до полного истребления!“

Мне не кажется безрассудным утверждать, что пчелиное сообщество развило в терпеливых и работящих монахинях примитивный альтруизм, самопожертвование, любовь и доброту. То же — и еще более поразительно — верно в отношении братств рабочих муравьев, которые приветствуют друг друга с большой любовью, нежно друг друга поглаживают и делятся собранным нектаром, который несут беспомощным обитателям детских. Муравьи также способны — неизвестно,

каким образом, — формировать пол личинок, так что в зависимости от обстоятельств муравейник пополняется необходимым количеством рабочих муравьев, самцов или половозрелых самок. Их заботу о ближних можно было бы рассматривать как проявление Божественного Промысла, если бы мы могли предположить, что она сознательна или является моральным *выбором.* Много трудов было положено, чтобы выявить в этих сообществах голос владыки — это царица, или рабочие муравьи, или же некий вездесущий дух города, который везде и нигде, который руководит жизнью муравейника. Что управляет согласованным движением клеток моего тела? Не я сам, хотя я обладаю волей, разумом и рассудком. Я развиваюсь и прихожу в упадок согласно законам, которым повинуюсь и которые не могу изменить. Так же как и другие твари. Как назвать нам силу, что управляет ими? Слепым Случаем или любовным Промыслом? На этот вопрос мы, священники, раньше отвечали однозначно. Убоимся ли сейчас? Современные ученые, „объясняя“ явления природы, скажем, развитие зародышей муравьев, обращаются к понятию „forma formativa“, жизненная сила, которая предположительно обретается в неисчислимых геммулах. Не мо-

жем ли мы задать разумный вопрос: что стоит за этой формирующей силой, жизненной силой, за физикой? Некоторые физики заговорили о неизвестном *x*, неизвестном *y*. Но возможно, *x* и *y* и есть Тайна, которая определяет бытие муравьев и людей, которая движет по Небесам солнце и звезды, как писал Данте, а Тайна эта и есть Дух, Дыхание Божье, Сама Любовь? Отчего человечество стремится обрести покой в Боге, в постоянстве Божественного Промысла, отчего стремится под направляющую длань Создателя? Откуда в нас мудрость, что позволила придумать столь дивное понятие, если наш ум не соответствует воистину Великому во Вселенной, если мы не чувствуем или даже, что важнее, не нуждаемся в нем? Когда мы наблюдаем любовь тварей к своим отпрыскам или нежный взгляд женщины-матери, устремленный на свое беспомощное чадо, которое, не заботься она о нем с пристальным и нежным вниманием, было бы не способно прожить и дня и умерло бы от голода и жажды, не чувствуем ли мы, что любовь есть порядок вещей, а мы — дивная составляющая этого порядка? Лауреат в своей великой поэме без обиняков ставит эти жуткие вопросы. Он дает нам взглянуть на новый мир, бесцельно понукаемый

Случаем и слепым Роком. Его печальная песнь — о том, что Бог, быть может, всего лишь наша выдумка и Небеса — измышление верующих. Он в полной мере воздает должное порождению дьявола — Сомнению и заставляет читателя трепетать от беспомощной тревоги, свойственной духу нашего времени:

*Но обернется зло для всех*
*Добром, и всяк простится нам*
*И воли и ума изъян,*
*Сомненья и гордыни грех.*

*Ничто без цели не живет,*
*И не попустит жизни малой*
*Бог сгинуть и в огонь провала,*
*Как мусор ветхий, не швырнет.*

*Ни червь не будет расчленен*
*По праздному хотенью, ни же*
*Эльф-мотылек без воли высшей*
*Бесплодным жаром опален.*

*Я верю: благо осенит*
*Все сущее, пускай не скоро,*
*И зимнюю студену пору*

*В весну всеместно превратит.*

*В то верю я. Но что есть я? —*
*Дитя, что в тьме полночной плачет.*
*Дитя, что просвещенья алчет.*
*И громкий плач – вся речь моя*[27].

В следующем стихе мистер Теннисон еще выразительнее описывает жестокость и равнодушие Природы, восклицающей: „Мне все одно, и все умрет!“ — а вместе с тем и веру несчастного человека:

*В то, что любовь – всего закон,*
*Назло Природе, злобной, жадной,*
*Кровавозубой, беспощадной, —*
*Всем сердцем страстно верил он.*

Какой же ответ дает поэт страшной яви? Он отвечает нам с подлинным чувством: мы не должны быть глухи к чувству, каким бы по-детски простым, наивным, почти бессильным оно ни казалось. Но способны ли мы отозваться на эту подлинность чувства глубинными струнами нашего существа, когда интеллект наш ошелом-

---

**[27] Примечания: 27**

Здесь и далее неоговоренные стихотворные переводы принадлежат М. Наумову.

лен и притуплен сложными вопросами?

*Не в совершенстве орлих крыл,*
*Не в диве солнца иль вселенной,*
*Не в паутине мысли тленной*
*Я Бога для себя открыл.*

*И если вера вдруг уснет,*
*И некто мне шепнет: не верь,*
*И хлябь безбожная, как зверь,*
*Глодая брег, волну всплеснет,*

*Тогда жар сердца моего*
*Рассудок ледяной расплавит,*
*Как муж во гневе, сердце вспрянет*
*И крикнет: Чувствую Его!*

*Нет, как младенец, закричит*
*От страха и сомненья, но,*
*И плача, будет знать оно:*
*Отец спасет и защитит.*

*И вновь увижу суть вещей,*
*То, что постичь не в силах мы,*
*И в мир протянутся из тьмы*
*Руки, что лепят нас, людей.*

Разве не верный путь избрал мистер Теннисон, путь, позволивший ему вновь стать точно малым ребенком и *почувствовать* Отеческую близость Властелина духов? Разве не исполнено значения то, что теплые, упорядоченные клетки его сердца и бегущей по жилам крови восстали против ледяного рассудка? Не просвещение дается дитяти, плачущему в ночи, но теплое прикосновение отеческой руки, и потому оно верит, и тем живет его вера. Каждый из нас из поколения в поколение дивно „устроен“ по Образу и Подобию Его, в тайне и предписанном порядке».

Было холодно; Гаральд покрыл голову капюшоном. Пока Вильям читал, кивая или покачивая головой, Гаральд, вытянув сухую шею, пытался уловить и оценить блеск его глаз и движения губ. Едва Вильям закончил, он сказал:

— Вы не убеждены. Вы не верите…

— Не знаю, что значит верить или не верить. Вера, как вы весьма красноречиво пишете, происходит от чувства. Я же не чувствую ничего подобного.

— Но как же мое доказательство, строящееся на любви, отеческой любви?

— Звучит прекрасно. Но я бы ответил словами

Фейербаха: «Homo homini deus est»[28], наш Бог — это мы сами, мы поклоняемся себе. Мы создали своего Бога по видовой аналогии, сэр, мне не хочется обидеть вас, но я годами об этом размышлял, мы создаем совершенные образы самих себя, наших жизней и судеб, как художники создают образы Христа, сцены в яслях или серьезнолико-го крылатого существа и юной девы, о которых вы однажды рассказывали. И мы преклоняемся перед ними, как примитивные народы преклоняются перед ужасными масками аллигатора, орла или анаконды. По аналогии вы можете доказать что угодно, сэр, и, следовательно, ничего. Таково мое мнение. Фейербах понял одну важную вещь касательно нашего разума. Мы нуждаемся в любви и доброте в реальном мире, но часто их не находим, а потому изобретаем Божественного родителя для дитяти, плачущего в ночи, и убеждаем себя, что все хорошо. Но в жизни часто случается, что наш плач никто не слышит.

— Это не опровергает…

— По сути дела, и не может. Все остается на своем месте. Мы стремимся, чтобы было так, как мы хотим, а потому создаем сказку или картинку,

---

**[28] Примечания: 28**
«Человек человеку бог» *(лат.).*

согласно которой мы именно таковы. Вы легко можете сказать, что мы походим на муравьев или что муравьи могут развиться и стать похожими на нас.

— И правда, могу. Все мы — одна жизнь, я верю, пронизанная Его любовью. Верю и надеюсь.

Он взял бережно бумаги, и они задрожали в его руках. Руки его были цвета слоновой кости, испещренные, как лужица остывающего воска, мельчайшими морщинками, под кожей проступали свинцовые синяки, узлы старческих вен, пятна цвета чая разной формы. Наблюдая, как эти руки складывают дрожащие бумаги, Вильям исполнился жалости к ним, как к больному, умирающему животному. Плоть под ороговевшими ногтями была цвета свечного воска, бескровная.

— Возможно, я не чувствую убедительности ваших доказательств, сэр, в силу неразвитости собственных чувств. Мой образ жизни и мои занятия сильно изменили меня. Мой родной отец очень напоминал ужасного Судию, он пророчил реки крови и всеобщую погибель, даже его ремесло было кровавым. Позже, на Амазонке, я столкнулся с великим хаосом, наблюдал полное равнодушие к человеку и человеческой жизни — немудрено, что я утратил способность находить

в окружающем мире доброту.

— Но, надеюсь, вы нашли ее здесь. Вам, наверное, известно, что мы считаем ваш приезд проявлением особого промысла Господа: вы подарили новую жизнь Евгении, а сейчас — и вашим малюткам.

— Я весьма признателен…

— И надеюсь, вы счастливы и довольны, — настаивал Гаральд усталым старческим голосом.

— Я счастлив в полной мере, сэр. Я обладаю всем, чего желал. А когда я задумываюсь о своем будущем…

— Оставьте всякие опасения, об этом я позабочусь, как вы того в полной мере заслужили. Пока нельзя и помыслить о том, чтобы покинуть Евгению, не станете же вы ее разочаровывать, ее счастье было совсем недолгим, но придет время, и все ваши нужды будут щедро удовлетворены, не беспокойтесь об этом. Вы дороги мне как родной сын, и я намерен позаботиться о вас. В должное время.

— Спасибо, сэр.

Оконное стекло покрылось изморосью; на покрасневших затуманенных глазах выступили невольные слезы.

Лайонел и Эдгар не приглашали участвовать

в развлечениях Вильяма, хотя Евгения, в бархатном костюме для верховой езды, выезжала к месту сбора охотников и возвращалась раскрасневшаяся и улыбающаяся. Точно существовал некий молчаливый сговор — да, он с уверенностью мог утверждать, что то был сговор: молодые люди полагали, что, не будучи чистокровным джентльменом, Вильям не выкажет ни умения, ни мужества, необходимых для их джентльменских похождений, несмотря на находчивость и сноровку, помогавшие ему выжить на Амазонке. Он подолгу прогуливался по сельской местности, чаще всего в одиночестве, иногда в компании Мэтти Кромптон и молодежи из классной. По вечерам ему надлежало принимать участие в играх в гостиной; леди Алабастер любила играть в домино, в бирюльки или «черную Марию», время от времени с большим размахом устраивались шарады. Однажды Вильям донельзя рассмешил всех, сравнив шарады с деревенскими пирушками индейцев: каждый там был одет в фантастический костюм, а однажды он встретил в толпе танцующего человека в красной клетчатой рубашке и соломенной шляпе, с сачком и коробкой, в коем признал пародию на самого себя. Под взрывы хохота прошло необычайно

остроумное представление слова «АМАЗОНКА»: «АМ» изображал Лайонел в роли Авраама, внемлющего Божьему гласу из неопалимой купины, которую Мэтти Кромптон искуснейше изготовила из тисовых веток, красного шелка и мишуры; «А» представили дети и мисс Мид — они разыграли урок азбуки: собирали плоды авокадо с картонного дерева и ловили бабочек, а волк норовил ухватить каждого за ногу. Представляя «ЗОН», разыграли любовную сцену: Эдгар, в вечернем фраке, прикрывал Евгению от солнца зонтиком; она была ослепительно хороша в серебристо-лимонном бальном платье и вызвала бурю аплодисментов. «АМАЗОНКУ» изобразил Вильям: он пробирался через заросли бумажного тростника и шерстяных лиан в импровизированном каноэ из перевернутой скамьи, а за ним следила куча разрисованных и украшенных перьями индейских ребятишек под водительством Мэтти Кромптон в маске ястреба и роскошной, расписанной перьями мантии. Среди загромождавших сцену тепличных растений танцевали бабочки из оберточной бумаги, а разноцветные змеи из бечевок и бумаги выразительно шипели и извивались.

Вильям встретил мисс Кромптон на следующий

день в гостиной, где она свертывала малиновые ленты и мишуру неопалимой купины, и выразил ей свое восхищение красотой декораций к этому tour de force[29].

— Легко было догадаться, чей изобретательный ум сотворил все это великолепие, — сказал он.

— Я берусь за все и стараюсь, чтобы у меня получилось, — ответила она. — Такие игры разгоняют скуку.

— А вы часто скучаете?

— Стараюсь не скучать.

— Вы мне не ответили.

— По-моему, каждый способен на большее, чем требует наша обыденная жизнь.

Сказав это, она пристально посмотрела на Вильяма, и у него возникло неловкое чувство: казалось, она ответила на его сугубо личный вопрос лишь затем, чтобы поощрить к продолжению разговора. Он начинал побаиваться ее проницательности. Мэтти Кромптон всегда относилась к нему с подчеркнутой благожелательностью, никогда и никак не навязывая ему себя. Но он угадывал в ней какое-то сдержанное неистовство и не был уверен, что ему стоит ближе познако-

---

**[29] Примечания: 29**
Сложному фокусу *(фр.)*.

миться с этой чертой ее натуры. Она же своих чувств никак не выказывала, и он решил, что предпочтительнее оставить все как есть. Однако ответил ей, потому что ему необходимо было высказаться, а говорить на подобную тему с Гаральдом или Евгенией он не мог. Это было бы неправильно. По крайней мере сейчас, при нынешнем положении вещей.

— И я, бывает, так думаю. И вот что удивительно: на Амазонке мне каждую ночь снился мягкий солнечный свет Англии, а вместо приевшейся маниоки — простая и замечательная пища, вроде хлеба с маслом. Теперь же, мисс Кромптон, я вижу во сне густой лес, реку, свою работу. Здесь у меня нет работы, *моей* работы, хотя мне грешно жаловаться на мою жизнь здесь, а тем паче на мою новую семью.

— По-моему, вы работаете с сэром Гаральдом над его книгой.

— Работаю, но он не испытывает во мне особой нужды, а мое мнение… короче говоря, мое мнение не совсем совпадает с его мнением. Он желает, чтобы в наших спорах я играл роль адвоката дьявола, но, к несчастью, я часто его расстраиваю и мало способствую продвижению работы…

— Возможно, вам стоит взяться за свою книгу.

— У меня нет ни устоявшихся мнений, ни желания убеждать кого-то в своем довольно зыбком взгляде на вещи.

— Я говорю не о взглядах и мнениях. — В ее резком голосе как будто проскользнуло презрение. — Я говорю о книге, состоящей из фактов. Научных фактов — ведь вы обладаете уникальным опытом, который можете описать в такой книге.

— Я собирался написать о своих путешествиях, такие сочинения, я знаю, пользуются большим успехом, но все мои кропотливые записи, все образцы погибли во время кораблекрушения. А выдумывать что-то, если бы я даже умел это делать, у меня нет желания.

— Но ведь совсем рядом, прямо под ногами, можно найти то, за чем можно наблюдать и о чем писать.

— Вы и раньше это предлагали. Да, вы правы, и я вам весьма признателен. Я обязательно возьмусь изучать муравейники в вязовой рощице, едва они весной пробудятся к жизни, но для научного исследования нужны годы, огромная скрупулезность, и я надеялся…

— Вы надеялись…

— Надеялся, что смогу еще раз отправиться в

путешествие и собрать больше сведений о неисследованном мире, я об этом мечтаю. Сэр Гаральд намекнул, смею сказать, пообещал мне, что отнесется благосклонно…

Мэтти Кромптон сжала свои резко очерченные губы и, помолчав, сказала:

— Книга, о которой я говорю, не должна быть глубоким научным исследованием, трудом всей жизни. Я говорю о книге, которая окажется вам полезной, которая, смею сказать, принесет вам материальную выгоду в ближайшем будущем. Полагаю, что, если за пару лет вы напишете что-то вроде естественной истории муравьиных колоний, конечно, если вы почувствуете настоятельную необходимость это сделать, ваше сочинение вызовет большой интерес у широкой публики и в то же время будет иметь научную ценность. Вы сможете использовать ваши огромные познания для изучения жизни муравьев, сравнить наших муравьев с их амазонскими сородичами, но при этом изложите все доступно, включив в книгу анекдоты, фольклор, заметки о том, как вы производили наблюдения…

Она посмотрела ему в глаза. Ее темные глаза светились. Ему сразу же понравилась ее идея.

— Да, это интересно, это… так занимательно…

— Еще бы, — согласилась мисс Кромптон. — Дети могли бы вам с успехом помогать. Да и я почту за честь, если смогу вам помочь. И мисс Мид в меру своих сил посодействовала бы. Дети стали бы персонажами этой драмы. Чтобы книга понравилась широкому читателю, без драмы не обойтись.

— По-моему, вам самой надо написать такую книгу. Идея всецело ваша, и лавры должны принадлежать вам.

— Что вы. У меня нет необходимых познаний и свободного времени, кстати, тоже нет, хотя трудно сказать, на что уходят мои дни… нет, я просто не мыслю себя в роли писателя. Лучше возьмите меня в помощники, мистер Адамсон. Это будет для меня большой честью. Я умею рисовать… могу записывать с ваших слов и переписывать, если нужно…

— Невыразимо вам благодарен. Вы совершенно изменили мои планы.

— Едва ли. Однако я уверена, что эта идея оправдает себя. Главное — желание и упорная работа.

Так весной 1862 года, примерно в то время, когда родился Роберт Эдгар, началось организованное наблюдение за муравьями. На карту были нанесены сам муравейник и его пригоро-

ды, скрупулезно отмечены все входы и выходы. Мэтти Кромптон нарисовала закрытые на ночь с помощью баррикад из прутиков городские ворота и спящих за ними сторожей. Были составлены карты троп муравьев-фуражиров, тщательно исследованы каморы инкубаторов с яйцами, личинками и коконами, составлявшими одновременно и население города, и его живое сокровище. Своего рода переписи подверглись гости и паразиты сообщества: крупное «стадо» тли в вязовом стволе — муравьи-пастухи без устали гладили и ласкали тлю, тем самым побуждая выделять росинки сладкой пади, которые затем поспешно поглощали и относили в хранилище; множество бродячих гостей, чье присутствие тут поощряли или терпели: жук *Amphotis,* например, выпрашивал у возвращавшихся рабочих муравьев капли нектара и, в свою очередь, выделял некую чудесную манну, которую хозяева энергично соскабливали и слизывали с его надкрыльев и груди; или еще один жук, *Dinaida,* который тихонько отлеживался в туннеле и, когда хозяев не было поблизости, заглатывал пару яиц. Было составлено подробное описание уборки гнезда: караваны муравьев тащили на гигантскую мусорную кучу заплесневелые и несъедобные

остатки пищи, тела умерших и умирающих собратьев. Многие внутренние процессы: как неустанно разрешается от бремени матка, как рабочие муравьи не переставая чистят ее и кормят, как они выносят из родильной каморы и пестуют яйца, как переносят яйца и личинки из более прохладного инкубатора в более теплый и наоборот — все это удобно было наблюдать в стеклянном муравейнике, и младшие девочки, когда была у них на то охота, просиживали часа два в классной и составляли хронику жизни инкубатора и царицы. Вильям установил наблюдение за двумя входами в муравейник и на протяжении долгого времени отмечал, какую пищу муравьи доставляют в гнездо, чтобы прокормить миллиарды иждивенцев; оказалось, что выбор и количество пищи меняются посезонно в зависимости от того, предназначена ли пища для построения кокона или, позже, для взрослого насекомого или же для поддержания угасающей жизни сообщества ближе к холодам. Вильям и мисс Кромптон взялись составлять военную историю сообществ и обнаружили замечательные черты сходства между сражениями муравьев и военными предприятиями человека: они так же устраивали внезапные нашествия армии захватчиков на соседнюю

державу. Случалось, осада завершалась победой, иногда же сражение выливалось в затяжную позиционную войну или заканчивалось стройным, одновременным отступлением. Мэтти Кромптон, сидя на травяной кочке, делала очень живые зарисовки дерущихся *formicae,* а Вильям лежал, растянувшись на земле, и пытался понять, кто нападает и кто отражает атаку.

— Никак не пойму, как можно жить, если у тебя талия с волосок, — сказала она. — Они на вид такие беззащитные, ножки у них как щетинки, усики хрупкие, правда у них есть жала и страшные жвалы; словно закованный в доспехи рыцарь, они рубят и колют и так же закованы в броню. Как по-вашему, может, поместить в книгу несколько рисунков-карикатур… посмотрите, одного муравья я нарисовала со стилетом, а вот еще один — в шлеме, с тяжелым гаечным ключом в лапке.

— По-моему, эти рисунки очень понравятся нашим читателям, — сказал Вильям. — Вы заметили, с какой сноровкой муравьи лишают друг друга усов, ног и разрубают пополам? Заметили, как часто, когда они идут в атаку на противника, за их ноги цепляются несколько помощников? Какое это дает преимущество? Не помеха ли это,

скорее?

— Позвольте взглянуть, — сказала Мэтти, опускаясь рядом на колени. — Так и есть. До чего же они интересны! Посмотрите, бедняжка вцепился в противника, а тот своими страшными жвалами, как тисками, сдавил ему голову. Им суждено погибнуть, как погибли Балин и Балан…[30]

На ней была коричневая юбка и полосатая блузка с закатанными по локоть рукавами. Ее лицо затеняла старенькая соломенная шляпа с мятой малиновой лентой; в этой одежде она выходила наблюдать за муравьями. К тому времени Вильям составил представление о ее гардеробе; он не был обширен: на лето — пара хлопчатобумажных юбок и воскресное платье из темно-синего поплина с набором белых крахмальных воротничков да несколько коричневых и серых блузок. Мэтти была худа и костлява; когда она рисовала, он невольно наблюдал за движением ее запястий и сухожилий на тыльной стороне смуглых рук. Ее движения были быстрыми и решительными. Штрих, черта, несколько мелких дуг и изгибов — и возникал хотя схематический, но точный рисунок муравьиных жвал, вгрызающихся в му-

**[30] Примечания: 30**

*Балин* и *Балан* — рыцари Круглого стола, братья; не узнав друг друга, вступили в смертельный поединок, и оба погибли.

равьиные ноги, муравьиного тела, скрюченного от боли или изогнувшегося, чтобы причинить боль. Рядом с этими точными рисунками были изображены крошечные антропоморфные муравьи-воины в шлемах, с мечами, круглыми щитами и трезубцами. Мэтти была поглощена работой. Вильям невольно начал различать ее запах, острый запах пота, который исходил от разогретого солнцем тела и смешивался с запахом лимонной вербены и слабым ароматом лаванды, — должно быть, так пахнет ее мыло или травы, которыми переложены ее блузки. Он глубже втянул этот запах. У него было чрезвычайно развито охотничье чутье, не находившее сейчас применения. В джунглях он ощущал близость животных всеми органами чувств, которые, полагал он, у горожан недоразвиты: у него покалывало кожу, щекотало в носу, по телу пробегали мурашки, кружилась голова. На лондонских улицах он испытывал истинные муки: его чувства слишком остро реагировали на запахи жареного лука и нечистот, запах одежды бедняков и дамских духов. Он снова тайком вдохнул аромат мисс Кромптон, присущий ей, когда она находилась вне дома. А позже, в спальне, когда Евгения призвала его к себе и он окунулся в запахи свежего

белья, ее любовной влаги, жарких волос и судорожного дыхания, этот острый слабый запах на короткое время посетил его, словно дух внешнего мира; и, вдавливая Евгению в пышную перину, он на секунду с удивлением вспомнил оторванные усики и занятые рисованием запястья Мэтти Кромптон.

От Мэтти Кромптон Вильям узнал, как зовут малышку, которую окрестил про себя тараканьим эльфом; Мэтти обязала девочку следить за гнездом красных муравьев. Ее звали Эми. Мисс Кромптон решила, что занятие на свежем воздухе будет полезно девочке, поскольку у нее не было родных, некуда было поехать отдохнуть и негде заработать пару пенсов вдобавок к жалованью. Она проводила время у муравейника вместе с сыном садовника; его, правда, приходилось убеждать, что не стоит сажать за ворот напарнице жуков-оленей, зато он был наблюдательным малым. Эти-то двое и дали знать Вильяму и мисс Кромптон о перемене в жизни рабовладельцев. Том сообщил, что заметил, как несколько красных муравьев «околачиваются» около Гнезда в каменной ограде, и однажды Эми, которую прислал Том, прибежала к ним через лужайку, крича:

— Скорее, бежим! Том сказал, что кровавые муравьи бурлят, их целая армия, он сказал, он сказал… скорее, бежим… он сказал, они что-то затевают. Я сама видела, кипят, как подливка, пойдемте же.

Она оставалась такой же маленькой, сутулой, тощей от недоедания, но ее занятие и присутствие Тома украсили румянцем щеки, и она превращалась в хорошенькую, похожую на пташку, девчушку, хотя не подозревала об этом.

Вильям и Мэтти отправились к месту происшествия, вооружившись складными табуретами и записными книжками, и поспели вовремя: после нескольких минут нервной суеты и бессмысленной для стороннего взгляда беготни войско рабовладельцев под водительством взбудораженных разведчиков устремилось к Вязу, спеша преодолеть расстояние, отделявшее его от их небольших жилищ. Войско подразделялось на полки, и за воинами, тотчас отметил Вильям, следовала большая армия рабов — рыжих муравьев, которые во всем повторяли хозяев.

Вильям записывал наблюдения, а позже прочитал их Мэтти Кромптон и девочкам:

«Однажды жарким июньским днем случился Великий набег поработителей. Некоторое

время температура неуклонно повышалась, и с повышением температуры — сообщили нашим хроникерам осведомители и сторожевые заставы — росло беспокойство красных муравьев. Этот факт навел нас на мысль, что, возможно, солнечное тепло подстегивает муравьев к грабительским набегам и прочим масштабным перемещениям, а также вызывает изменения в муравьиной популяции. В прохладную погоду муравьи вялы, а ночами, даже в жаркие дни лета, спят — они холоднокровны, внешнее тепло необходимо им, чтобы пробудить в них инстинкты и активность. Как бы то ни было, с приближением середины лета жизнь кроваво-красных горожан забурлила, гул разговоров сделался слышнее. Шпионы все чаще приносили новые сведения. Все больше разведчиков наблюдали за тем, как лесные муравьи безмятежно отыскивают корм и с усердием протаптывают тропинки от гнезда к жилищу своих ни о чем не подозревающих жертв.

Наконец все было готово, и они устремились к месту сбора на вершине муравейника; и по сигналу, которого с нетерпением ожидали толпы перешептывающихся и снующих взад-вперед муравьев, армии красных разделились на четыре

отряда и стройными колоннами выступили в поход, следуя четко разработанным маршрутам, по которым, как мы подозреваем, они двигались во время предыдущих набегов. Когда все четыре полка заняли позицию вокруг Вязового гнезда, их командиры, точно маленькие наполеоны, бросились поднимать доблесть и решимость, обходя ряды войска, энергично работая усиками, а то и всем телом. Внезапно кровавые пехотинцы первого полка дружно устремились в атаку, пробиваясь к входам в муравейник, ночью тщательно забаррикадированным, а теперь широко открытым навстречу животворным солнечным лучам. Второй, третий и четвертый полки охраняли занятые позиции, причем их решимость и свирепость, видимо, росли с каждой минутой.

Лесные муравьи храбро выступили навстречу с намерением дать отпор ворам и похитителям детей. Бешено суетясь и размахивая усами, они кусали агрессоров за ноги, за усики, в головы; иногда им удавалось крепко схватить захватчика и зажалить до смерти. Мы заметили, что красные муравьи воздерживались от ответных ударов, если защитники не в состоянии были препятствовать их продвижению. Они преследовали единственную цель — похитить из инкубатора

невылупившихся младенцев и, аккуратно ухватив их жвалами, унести в свою крепость. Пока рыжие бойцы отражали натиск врага, опекуны беспомощной молоди подхватывали своих братьев и уносили их в безопасное место. Весьма странно было видеть, как лесные муравьи, внешне неотличимые от обитателей Вяза, неслись по коридорам замка, хватали коконы и уносили их не в укрытие, а наружу, к крепостному валу, под защиту арьергарда *sanguinea,* который должен был обеспечить их безопасное возвращение в Красную крепость. Наблюдателей было много, так что, отслеживая отдельных *sanguinea* и лесных муравьев, мы удостоверились, что жители Вяза не видят разницы между рубиновыми чужаками и их рабами, хотя последние — выходцы из их племени и атакуют без всякого снисхождения и тех и других.

Все закончилось на удивление скоро. Потери с обеих сторон были невелики. Кровавые муравьи напали на соседей не ради их истребления и к тому же двигались столь проворно и целеустремленно, что лесные муравьи, которые обыкновенно оказывают нешуточный отпор нарушителям границ, были сбиты с толку, ошеломлены и позволили нападавшим провести короткий штурм,

не сумев оказать действенного сопротивления. Победоносные захватчики отхлынули, бережно унося с собой плененных малышей, которым суждено было отныне прожить жизнь и умереть *sanguinea,* а не настоящими лесными муравьями, кормить и растить маленьких *sanguinea,* а летом, под влиянием солнечного тепла, собираться и нападать на позабытых родителей и братьев. Набег на инкубатор не был настолько опустошительным, чтобы подорвать устои Вязового гнезда; волнение там вскоре улеглось, и жизнь вошла в обычное русло. В отличие от людей муравьи не насилуют, не мародерствуют, не грабят и не разрушают. Они пришли, увидели и победили, достигли цели и ушли восвояси. Считается, что поработительные набеги устраиваются не чаще раза в год, так что нам посчастливилось, что у нас — как и у красных муравьев — были хорошие осведомители, которые дали нам знать о грядущем занятном происшествии.

Английские муравьи-рабовладельцы не различаются по видам, как некоторые более крупные виды. Последние известны как *амазонки,* хотя родом они не с Амазонской низменности, а встречаются повсеместно в Европе и Северной Америке. Муравьи вида *Amazona,* например

*Polyergus rufescens*, не строят подземных жилищ и не заботятся о молоди. Они удостоились своего названия потому, пожалуй, что, подобно воительницам-амазонкам, которые все до одной были женщинами и выступали под началом свирепой царицы, утратили милые домашние добродетели, которые мы считаем присущими женщине, а взамен приобрели воинственность. В отличие от кровавых муравьев *амазонки* развили такие мощные средства и орудия войны и грабежа, что не способны ни на что другое, а потому всецело зависят от рабов, которые их кормят и начищают их рубиновые доспехи. Их челюсти не способны хватать добычу, так что пищу им приходится выпрашивать у рабов; но они могут убивать и перетаскивать тяжести. По-видимому, естественный отбор превратил этих существ в совершенные боевые машины, в то же время сделав их абсолютно зависимыми паразитами. Не извлечь ли нам урок из такой курьезной и неординарной общественной структуры?»

— Природа действительно преподает нам уроки, — сказала мисс Мид. — За океаном сейчас идет ужасная война, которая должна не только освободить несчастных рабов, но и даровать моральное спасение тем, чьи жизнь и благополучие

обеспечены тяжелым рабским трудом.

— А мы вынуждены выступать на стороне рабовладельцев, — заметила Мэтти Кромптон, — чтобы рабочие наших текстильных фабрик не потеряли работу и не лишились хлеба насущного. А наши филантропы в свою очередь ищут способы спасти этих рабов машин от их узкоспециализированного труда. Даже не знаю, к чему нас все это приведет.

— Аналогии — штука скользкая, — заметил Вильям. — Ведь люди не муравьи.

Тем не менее в жаркие дни второй половины лета, когда они с особым вниманием следили за муравьями, чтобы понаблюдать, если удастся, за брачным полетом цариц и их женихов, ему стоило немалых трудов не рассматривать собственную жизнь в свете унизительной аналогии с этими крохотными тварями. Он так много работал, наблюдал, считал, препарировал, выслеживал, что его сны были полны судорожно подергивающимися усиками, муравьиными армиями, смыкающимися жвалами, темными и непроницаемыми сложными глазами. Ощущения, испытываемые им от собственных физиологических отправлений: сладкого, неистового и короткого совокупления, регулярного поглоще-

ния пищи, которую неприметные силы готовили за обитыми бязью дверями, сама регулярность его наблюдений, обусловленная регулярностью жизненного ритма гнезда, — исподволь заставили его рассматривать себя как совокупность нервных клеток, инстинктивных желаний и принятых в обществе автоматических реакций — знаков уважения, обязательной доброты и отцовской любви. Один муравей в муравейнике — пустое место, без него можно обойтись, он ничто. Это чувство, хотя он сознавал мрачную комичность своей тревоги, еще усилилось, когда он взялся писать о печальной участи самцов в муравейнике. Эту главу Вильям не читал вслух своей команде; зимой, неоднократно переписав ее, он показал ее только главной своей помощнице Мэтти Кромптон.

«В 1862 году нам также посчастливилось наблюдать, как тысячи крылатых маток и их горячих поклонников исполняют брачный танец; точно по сигналу трубы или услышав звучное гудение гонга, они целыми роями вылетели из Осборнова гнезда и Вяза. Несколькими днями раньше бдительные глаза подростков заметили, что молодые самцы пытаются покинуть гнездо, а решительные стражи удерживают их в нем

до назначенного времени. Мы знали, когда это должно произойти, так как прошлым летом отметили точный день начала брачных церемоний, — тогда как раз наш клубничный пикник был в самом разгаре, муравьиные пары, увлеченные головокружительным танцем, стали вдруг падать, подобно множеству Икаров или, если угодно, подобно сонму падших ангелов, прямо в сливки, в исходящий паром котелок с ароматным индийским чаем, где и тонули. В 1862-м брачный день пришелся на 27 июня; гости явились на бал, словно облака из тюля, и взмыли в воздух хрупкими стрелами. Многие муравьи соединяются в полете, заключая друг друга в объятия высоко над землей. Рыжие муравьи спариваются на земле — самцы и самки этого вида почти одинаковы по величине, тогда как у других видов матка может превосходить по размерам своего супруга в двадцать и более раз и потому способна легко пронести возлюбленного через эмпиреи. В этот раз мы не сумели выяснить, склонна ли матка лесных муравьев к полиандрии, как матки других видов, — надеемся, в следующем году нам это удастся. Зато мы смогли наблюдать, как ожесточенно бьются кучи черных тел, завернутых в прозрачную вуаль крыльев, причем за каждую

матку схватывалось десять — двадцать отчаянных поклонников, которые, пытаясь хоть как-то пробиться к предмету вожделения, с ожесточением повисали на ногах друг у друга; зрелище напоминало более потасовку во время игры в регби, чем элегантный менуэт, для которого были предназначены их шелковые одеяния. Маленькие рабочие муравьи стоят рядом и наблюдают, одергивая порой того или другого участника этой трагедии страсти. Можно даже вообразить, что они довольны собой, ибо сами невосприимчивы к этому ужасному вожделению, чреватому, помимо любовных утех, убийством и самоубийством, вожделению, которое движет крылатыми существами, имеющими пол. Помимо того, они словно заинтересованы в том, чтобы все шло гладко, и временами дергают, толкают или щипают сцепившихся вояк; мы не смогли установить, ради чего они вмешиваются, но известно, что рабочие более примитивных видов, у которых спаривание происходит в гнезде, ограничивают доступ самцов к матке: они отбирают тех, кто будет допущен в ее покои, а остальных отгоняют, жаля их и кусая.

С каким увлечением, как празднично, как счастливо, казалось, они танцуют! И как трагич-

но для большинства участников все закончилось! Брачный полет лесных муравьев — наиболее трогательный пример тайной и неумолимой работы естественного отбора, и всякий, кто этот полет наблюдает, будет поражен тем, насколько исчерпывающе его объясняет мистер Дарвин. Самцы ведут упорнейшую борьбу за обладание крылатыми матками; они должны выказать отменное умение летать, боевые навыки, способность привлекать, завоевать доверие опасливой самки, избалованной почти неограниченным выбором из числа пылких влюбленных. А сами матки, появляющиеся многими сотнями из-под земли, должны обладать недюжинной силой, умением, хитростью и цепкостью для того, чтобы прожить довольно значительное время после успешного оплодотворения, — я уж не говорю о том, чего стоит построить новое гнездо. Их головокружительное вальсирование в голубом небе длится всего несколько часов. Затем они должны сбросить крылья, как молодая девушка сбрасывает свадебную вуаль, и поспешить на поиски укромного места для создания нового гнезда — колонии. Большинство становятся добычей птиц, насекомых, лягушек, жаб, ежей, гибнут под ногами людей. Очень немногим удается

вернуться под землю, где они впервые откладывают яйца и выращивают свой первый выводок — жалких карликов, хрупких и медлительных, а затем, когда уход за инкубатором и заботу о прокормлении возьмут на себя рабочие муравьи, они позабудут, что такое солнце, позабудут, что можно заботиться о себе, выбирать тропинку или порхать на изломе лета в небесной голубизне. Они превращаются в толстые глянцевитые яйцекладущие машины; их бесконечно обихаживают, вылизывают, ласкают и успокаивают — они превращаются в настоящих пленниц любви. Вот она — истинная природа Венеры Подгорной: существо из миниатюрного мира обездвижено репродуктивной функцией, последствием слепого буйства своих страстей.

А что же самцы? Их участь может послужить еще более ярким примером беспощадной и прихотливой целеустремленности госпожи Природы и естественного отбора. Полагают, что у предков примитивных муравьев самцы являлись также и рабочими членами сообщества. Но по мере того как общества насекомых усложнялись, становились более взаимозависимы, половые формы в них все более и более специализировались. Мало кому известно, что рабочие муравьи иногда спо-

собны откладывать яйца, из которых выводятся исключительно мужские особи. Но они кладут яйца, лишь когда матке неможется или гнезду грозит вымирание. Как правило же, все сообщество производит на свет матка, поэтому тело ее раздуто от яиц, оплодотворенных в достаточном для порождения целого поколения муравьев количестве во время единственного супружеского акта. Изменение формы тела в соответствии с функцией наблюдается у всех общественных насекомых. Есть муравьи, размеры головы которых точно соответствуют отверстиям в стеблях тех растений, где они живут; головами они затыкают эти отверстия, служащие обыкновенно входами и выходами. Есть муравьи под названием „толстяки“, они висят в кладовых пищи, точно живые, раздутые от нектара бурдюки. Самцы также специализировались, подобно тому как специализируются фабричные рабочие, изготавливающие исключительно булавочные головки или скобы. Единственный смысл их существования — брачный танец и оплодотворение матки. У них огромные и зоркие глаза. Половые органы с приближением рокового дня заполняют почти все их тело. Они летучие любовные снаряды, они поистине жгучие стрелы крылатого слепого

божка любви. Но лишь минует день их торжества, как они оказываются невостребованными, ненужными. Они бесцельно бегают взад и вперед, волоча крылья. Их гонят прочь от дверей родного гнезда; они делаются ко всему безучастны, и, когда в конце лета и ранней осенью вечера становятся прохладны, они умирают. Подобно трутням в улье, они „не трудятся, не прядут“, хотя их, как и трутней, первое время лелеют и балуют; сородичи мирятся с присутствием этих нарядных паразитов, которые грязнят гнездо и мешают его спокойной жизни, которых нужно кормить медвяной росой, а после чистить. С приближением осени трутней также ожидает ужасная участь. Однажды утром неведомая сила вооружает и взвинчивает рабочих пчел, они спускаются на спящий сонм бархатистых лежебок и принимаются терзать их, язвить, ослеплять, вытаскивают их, истекающих кровью, наружу и безжалостно отказываются впустить обратно в гнездо. Как расточительна природа: она родит тысячи семян, тысячи отпрысков затем, чтобы один избранный смог передать наследственные признаки сыновьям и дочерям».

— Весьма убедительно, — сухо заметила Мэтти Кромптон. — Мне очень жаль этих несчастных

бесполезных самцов. Должна признать, до сих пор они мне не представлялись в таком свете. Не кажется ли вам, что в ходе ваших рассуждений вы придаете насекомым черты человека?

— Разве не в этом состоит наш замысел? Мы хотим привлечь широкую аудиторию, преподнося ей истины, научные истины, в виде притч. Но может быть, я перестарался. Можно написать и суше.

— Этого ни в коем случае не следует делать; вещь превосходна и способна пробудить отклик в читателе, я сама подумывала написать несколько басен в дополнение к моим зарисовкам сказочных муравьев-химер. Хотелось бы потягаться с Лафонтеном… сочинить что-то вроде басни про стрекозу и муравья, только ближе к реальности. Я выписала в блокнот несколько цитат, их бы можно предпослать главам вашей книги. Важно, чтобы она была так же занятна, как глубока и правдива, верно? Я наткнулась на дивный сонет бедного безумца Джона Клэра[31], и этот сонет,

**[31] Примечания: 31**

*Клэр Джон* (1793–1864) — английский поэт, певец английской природы и сельской жизни. Его первый сборник стихотворений был издан в 1820 г. издателем Джона Китса, но последующие сборники большого успеха автору не принесли. Измученный непосильной борьбой за существование, Клэр заболевает и последние годы жизни проводит в доме для умалишенных.

как и Пандемониум Мильтона, наводит меня на мысль, что наши сказочные феи, возможно, родились, когда человек попытался наделить насекомых собственными чертами. Мне нравится ваша Подгорная Венера. Она напоминает о подгорном народце из британских сказок. По-моему, прообразом крылатых демонов на стенах церквей послужили бровастые жуки-олени. Ох, что-то я разошлась! Вот сонет Клэра. Что вы об этом думаете? Посмотрите — он считал людьми не только владык, но и трудовой народ:

*Какое диво для пытливых глаз*
*В трухлявом пне иль кочке град муравий!*
*Раздумывая, медлим мы. Подчас*
*И раздражаемся, не зная, что пред нами:*
*Отменна власть и труд устроен здраво;*
*Так, надзиратели умело понуждают*
*Рабов трудиться; те влекут оравой*
*Тяжелые былинки. Вызывает*
*Восторг у зрителя совместный труд их*

*И помощь спорая в заданьях трудных.*

*Есть речь у них (наш слух не внемлет ей),*

*Их жизнь – свидетельство иных верней,*

*Что знают и законы, и царей*

*Потомки мелкие минувших славных дней.*

«Она умна и талантлива», — подумал Вильям. Он уже почти собрался признаться ей, что сам себе кажется трутнем, это чувство все более овладевало им, но по многим причинам не мог на это решиться. Он не смел предать Евгению или унизиться до жалоб на нее. Более того, жалуясь, он будет выглядеть крайне глупо. Ведь он стремился завладеть Евгенией, теперь обладал ею и телесно был ее рабом, что должно было в этом замкнутом мирке быть очевидным даже для бесполой мисс Кромптон.

Но интересно, почему он считает ее бесполой? Эту мысль, по-видимому, породила аналогия с рабочими муравьями. Мэтти Кромптон была *сухой.* И, как он понял, не выносила глупцов. Ему начинало казаться, что за ее угловатостью и костлявостью в глубине ее черных проницательных глаз прячутся несбывшиеся мечты. Во всем,

что имело отношение к книге, она проявляла решительность и изобретательность. Она прилагала максимум усилий, чтобы книга не просто увидела свет, но имела бы успех. Почему? Сам он втайне от других и даже от себя лелеял надежду, что книга принесет деньги и он сможет тогда без помощи Гаральда и Евгении снарядиться в плавание к Южному полушарию; но ведь мисс Кромптон не могла желать того же и не знала о его мечте, а после того, как он сделал ее жизнь намного насыщеннее, наверное, и не хотела, чтобы он уехал. Ему не верилось, что она совершенно бескорыстна.

Конец лета подтолкнул его к невеселым размышлениям об участи трутней, но теперь он думал не только о муравьях и о себе, но и вообще обо всех мужчинах их семейства. Гаральд, как в сетях, запутался в вопросах инстинкта и разума, и его мыслительные способности казались парализованными. Лайонел, перепрыгивая на пари через ограду парка, сломал лодыжку и теперь лежал в плетеном кресле на террасе, громко выражая неудовольствие своей вынужденной неподвижностью. Эдгар продолжал совершать верховые прогулки и подолгу гостил у соседей-помещиков. Вернулись в родные края Робин

Суиннертон и Ровена; детей у них по-прежнему не было. Как-то Робин пригласил Вильяма прокатиться верхом и сказал, что завидует его везению:

— Мужчина глупо себя чувствует, если наследник не поспевает вовремя. Ведь я не Эдгар, у которого в каждом уголке графства есть дитя любви, так что, появись желание, он может любого усыновить.

— О личной жизни Эдгара мне ничего не известно.

— Да он настоящий кентавр или, пожалуй, сатир. Человек неуемного аппетита, поговаривают, что ни одна девушка не чувствует себя с ним в безопасности, кроме тех безупречно добронравных девиц, что невинно строят ему глазки, — от них он бежит как от чумы. По его словам, ему по душе штурм и натиск. По-моему, мужчина не должен себя вести подобным образом, хотя нельзя отрицать, что таких, как он, много, даже большинство.

Вильям собрался было высказать праведное возмущение, но вспомнил о женщинах с золотистой, янтарной и кофейной кожей, которых любил жаркими ночами, и смущенно улыбнулся.

— Диковатые забавы, — продолжал Робин Суиннертон, — Эдгар считает более здоровыми и пикантными, чем благопристойное времяпрепровождение. А я всегда хотел сберечь себя для единственной женщины.

— Вы недолго женаты, — испытывая неловкость, сказал Вильям. — Не теряйте надежды.

— Я не отчаиваюсь, — ответил Робин. — Но Ровена удручена и завидует семейному счастью Евгении.

— Иногда мне кажется, что все определяет окружение, наследственность же — ничего. Дети впитывают алабастерскую суть и вырастают вылитыми Алабастерами в миниатюре, лишь изредка я улавливаю в их чертах мимолетное сходство с собой…

Вильям подумал о порабощенных *sanguinea* рыжих муравьях, которые полагали, что и сами *sanguinea,* и отогнал эти мысли. «Люди не муравьи, — сказал он себе, — кроме того, аналогии здесь неуместны, ведь порабощенный лесной муравей внешне остается лесным муравьем, хотя *sanguinea* по запаху признают его за своего. Я убежден, что узнавание у них почти полностью зависит от обоняния. Но возможно, передвигаясь, они ориентируются по солнцу, а это значит, что

и глаза не бездействуют».

— Вы замечтались, — сказал Робин Суиннертон. — Поедемте-ка галопом.

Той осенью однажды ранним утром одно неприятное происшествие позволило Вильяму обнаружить в Эдгаре скрытого кентавра или сатира. Вильям поднялся рано и направился во двор конюшни, когда услышал какой-то сдавленный звук в мойке, и свернул туда, чтобы выяснить, в чем дело. В мойке спиной к Вильяму стоял, склонившись над раковиной, Эдгар. Вильям не сразу понял, что Эдгар сжимает в объятиях его тараканьего эльфа Эми; за лето ее кудри приобрели блеск и стали гуще, хотя лицо осталось бледным и заостренным. Эдгар согнул ее назад, одной рукой зажимая ей рот, а вторую засунув за корсет. Увидев голый зад и член Эдгара, скрывавшийся в юбках девочки, Вильям позвал:

— Эми?

«Лучше уйти отсюда», — подумал он. Эми крикнула что-то бессвязное.

— Не знал, что вы испытываете интерес к этой крошке, — сказал Эдгар.

— Не интерес. Точнее, не личный интерес. Меня заботит ее благополучие…

— Ах, благополучие. Ответь же ему, Эми. Я

сделал тебе больно? Или, может быть, мои ухаживания тебе неприятны?

Эми стояла все так же, откинувшись на раковину. Эдгар медленно и нехотя убрал руку с ее груди. На лице Эми, вокруг рта и подбородка, краснели следы от его пальцев. Она судорожно выдохнула:

— Нет, сэр. Нет, сэр. Ничего дурного. Со мной все хорошо, мистер Адамсон. Прошу вас.

Вильям не понял, что означает это «прошу вас». Возможно, она и сама не понимала. Но Эдгар все же отступил, и она выпрямилась, опустив голову, нервно застегивая пуговицы и поправляя пояс.

— Мне кажется, сэр, вы должны извиниться и оставить нас, — хмуро и холодно сказал Эдгар.

— А мне кажется, Эми лучше отсюда уйти, — возразил Вильям. — И как можно скорее.

— Сэр? — едва слышно спросила Эми у Эдгара.

— Ну что ж, дитя, беги, — согласился Эдгар. — Когда ты будешь мне нужна, я тебя найду.

Ни тени улыбки не мелькнуло на его полных бледных губах, когда он произносил эти слова. То была констатация факта. Эми сделала неопределенный книксен обоим мужчинам и убежала. Эдгар заявил:

— Слуги в этом доме не ваша забота, Адамсон. Не вы платите им жалованье, а потому, будьте

любезны, не вмешивайтесь в их жизнь.

— Малышка еще совсем дитя, — возразил Вильям. — У нее и детства-то не было.

— Чепуха. Она премилая пышечка, и ее сердце стучит чаще, когда я нащупываю его, и ротик открывается охотно и сладко. Вы ни черта не смыслите в жизни, Адамсон. Я уже заметил, ровным счетом ни черта. Возвращайтесь-ка к своим жукам и вьюнкам-ползункам. Будьте уверены, я не причиню зла этой киске. Только добавлю ей крупинку перцу. И вообще, это не ваше дело. Вы здесь прихлебатель.

— Хотелось бы мне знать, какой прок *от вас* этому миру, хоть одной живой душе, — с нарастающим раздражением сказал Вильям.

Услышав это, Эдгар неожиданно рассмеялся, не разжимая губ.

— Что я говорил, — произнес он. — Вы ничегошеньки не знаете.

И, уверенно пройдя мимо Вильяма, направился в конюшню.

Зимой 1862 года черновой вариант книги был готов. В окончательном виде ее заглавие должно было выглядеть так:

БУРЛЯЩИЙ ГОРОД

*Естественная история лесного государства, его устройство, экономика, оружие и средства обороны, его возникновение, экспансия и упадок*

Вильям неотрывно работал над книгой, а Мэтти Кромптон читала, правила черновики и переписывала набело готовые главы. Они собирались посвятить еще одно лето уточнению и исправлению результатов прошлогодних наблюдений: в данных, полученных за два года, погрешностей должно быть меньше, чем в собранных за год; помимо этого, Вильям рассылал письма с вопросами по сравнительной мирмекологии в разные части света, где изучали муравьев. По молчаливому уговору Вильям и мисс Кромптон никому не рассказывали, что книга предназначена для публикации; правда, очевидного повода скрывать это не было, но они с самого начала повели себя как заговорщики: будто остальные члены семьи считают изучение муравьев полезным развлечением, достойным времяпрепровождением, и только, тогда как они, писатели, думают иначе.

Книга обрела форму. Первая часть представляла собой повествование, что-то вроде детского путешествия по загадочным мирам. Первая глава

называлась:

**ИССЛЕДОВАТЕЛИ ОБНАРУЖИВАЮТ ГОРОД**

В ней Вильям дал словесные портреты детей, Тома и Эми, мисс Мид с ее поэтическими сравнениями, хотя и не сумел охарактеризовать ни себя самого, ни Мэтти Кромптон, так что повествование велось от лица абстрактного *мы*, как склонны себя величать короли и ученые, и под этим *мы* могли подразумеваться они оба или один из них. Мисс Кромптон значительно оживила главу забытыми деталями: рассказом о дружеском соперничестве девочек, о том, как муравьи-фуражиры во время пикников утаскивали со стола кусочки пищи. Вторую главу назвали:

**НАИМЕНОВАНИЕ**

**И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ КОЛОНИЙ**

В ней подробно описывалась муравьиная жизнь:

*Строители, уборщики, землекопы.*

*Инкубатор, спальня, кухня.*

*Прочие обитатели:* питомцы, паразиты, хищники, гости и муравьиный скот.

*Оборона города:* война и вражеское вторжение.

*Пленники любви:* царицы, трутни, брачный полет и основание колоний.

*Общественное устройство и власть:* кто олицетворяет власть и принимает решения?

Вильям задумал добавить еще несколько глав с более отвлеченным содержанием. Он спорил сам с собой, решая, как их озаглавить:

**ИНСТИНКТ ИЛИ РАЗУМ;**

**ЗАМЫСЕЛ ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ;**

**ЛИЧНОСТЬ И СООБЩЕСТВО;**

**ЧТО ЕСТЬ ЛИЧНОСТЬ?**

Эти вопросы волновали его самого столь же глубоко, как вопросы о Промысле и Творце волновали Гаральда Алабастера. Он спорил сам с собой на страницах книги, но не был уверен, что стоит печатать свои размышления.

«Можно видеть, что люди, занимающиеся изучением этих интересных созданий, постоянно спорят о том, обладают те или нет, по отдельности или коллективно, чем-то, что можно назвать

разумом. Хотелось бы отметить также, что отношение изучающего часто окрашено тем, во что он хотел бы верить, его отношением к Творению в целом, то есть всеобщей склонностью рассматривать всякую живую и неодушевленную вещь в свете антропоморфизма. Мы относимся к животным с точки зрения выгоды для себя, в частности используем их как волшебные зеркала, в которых стараемся разглядеть подобие самих себя. Мы ищем в их сообществах аналогии нашим сообществам, структурам управления, языку общения. В былые времена считалось, что у муравьев и пчел есть короли, генералы и армии. Теперь наши знания расширились, и, описывая рабочих муравьев, мы употребляем слова *раб, нянька, монахиня* или *рабочий.* Те из нас, кто пришел к выводу, что насекомые не обладают ни речью, ни способностью мыслить, но одним только инстинктом, склонны описывать их действия как действия автоматов, а их самих — как крошечные машины, которые движутся подобно колесикам заведенного часового механизма.

Те же, кому хочется верить, что в муравейнике или улье присутствует разум, указывают в качестве аргумента на другие моменты помимо совершенной геометрии восьмиугольных пчели-

ных сот, объявленной поздними мыслителями простой функцией строительных движений и формы их тела. Ни один из тех, кто подолгу наблюдал за муравьями, решающими задачу транспортировки громоздкой соломинки или увесистой мертвой гусеницы сквозь трещинку в земле, не станет утверждать, что их движения неупорядоченны, что решение всех проблем не есть результат их коллективных усилий. Я наблюдал, как дюжина муравьев манипулирует стеблем в человеческих масштабах высотой с дерево с тем же примерно количеством ошибочных попыток, которое допустила бы команда мальчишек-школьников, прежде чем сообразить, каким концом и под каким углом его следует нести. Если это инстинкт, то он похож на разум, потому что помогает найти определенный метод для решения определенной задачи. В недавно появившейся книге мосье Мишле[32] „L'Insecte" есть весьма элегантный отрывок, посвященный реакции муравьев на грабительские налеты мотылька *Sphinx Atropos,* — его гусениц во времена американской революции завезли во Францию на ботве картофеля, который культивировал у

**[32] Примечания: 32**

*Мишле Жюль* (1798–1874) — французский историк; начиная с 1856 г. пишет книги о природе, книга «L'Insecte» («Насекомое») вышла в 1858 г.

себя на родине Людовик XIV. Мишле красноречиво описывает страшную наружность „зловещей твари“: „она покрыта буйной серой шерстью, а на ее спине — отвратительный череп“ — речь идет о нашем бражнике *мертвая голова.* Во время грабительских налетов на ульи он пожирает мед, поглощает яйца, нимф и куколок. Великий Губер хотел защитить своих пчел, но помощник сказал ему, что пчелы уже решили эту задачу, построив гнездо с узкими входами, сквозь которые упитанный чужак не может проникнуть в улей, а также с помощью баррикад, которые зигзагообразно отходят от узких входных отверстий, образуя подобие извилистого лабиринта, куда *мертвая голова* не способна протиснуть свою громоздкую тушу. Мосье Мишле восхищен: по его мнению, все это убедительно доказывает, что пчелы разумны. Он называет это „*coup d'etat*[33] в царстве животных“, *революцией насекомых,* отпором не только *мертвой голове,* но и мыслителям вроде Маль-

**[33] Примечания: 33**
Переворот *(фр.).*

бранша[34] или Бюффона[35], которые отказывали пчелам в способности мыслить и в способности отвлекаться и менять направление своего внимания. Муравьи тоже умеют строить лабиринты и отыскивать выход из лабиринтов, построенных человеком, причем одни виды делают это лучше, другие хуже. Доказывают ли подобные факты, что разум этих маленьких тварей способен развиваться? Устройство их сообществ неизмеримо древнее нашего. Ископаемые муравьи обнаружены в древнейших геопородах; их поведение не изменилось на протяжении невообразимо долгого времени. Неизменны ли их повадки — несмотря на всю тонкость и сложность их устройства; подчиняются ли они некой движущей силе, действуют ли по инстинктивной схеме, жесткой и неизменной, как каменные каналы, или же они мягки, податливы и гибки, восприимчивы к изменениям и голосу собственной воли?

Многое, очень многое или почти все зависит

---

**[34] Примечания: 34**

*Мальбранш Николя* (1638–1715) — французский священник, богослов и философ-картезианец.

**[35] Примечания: 35**

*Бюффон Жорж Луи Леклерк* (1707–1788) — французский натуралист. Его работа «Естественная история» (1749–1804) стала первой попыткой классифицировать накопленные наукой данные по естествознанию, геологии и антропологии.

от того, в чем мы полагаем эту силу, или мощь, или внутрисущий дух, который называем инстинктом. Чем инстинкт отличается от разума? Все мы, наверное, восхищаемся чудом наследственных способностей, врожденного знания матки — основательницы новой муравьиной колонии: она не покидала родительского гнезда, никогда не рыла землю, не собирала корм и все же способна взращивать молодь, кормить ее и заботиться о ней; она самостоятельно строит свое первое жилище, вскрывает оболочки куколок. Это наследственная разумность, часть общей вдумчивости и разумности сообщества, которая наставляет каждого его члена, как удовлетворить наиболее удобным способом нужды каждого. Спор между защитниками инстинкта и защитниками разума достигает пика, когда под рассмотрение подпадает вигильность сообщества, благодаря которому принимается решение, какое количество рабочих, солдат, крылатых ухажеров или девственных маток может понадобиться сообществу в данное время. При принятии подобных решений учитывается доступность пищи, размер инкубатора, сила активных маток и общая смертность, время года, наличие врагов. Если такие решения принимаются Случаем,

выходит, что эти деловитые, умелые сообщества управляются чередой счастливых случайностей, настолько сложных, что Случай должен представляться столь же мудрым, как местные божки; если же это автоматическая реакция, что тогда разум? Разум, который направляет действия матки-основательницы или рабочего муравья, есть разум самого города, конгломерата, и он заботится о благоденствии сообщества в целом, поддерживает его жизнь во времени и пространстве, так что сообщество бесконечно и вечно, хотя матки и рабочие смертны.

Мы не знаем точно, что подразумеваем под словами „инстинкт“ или „разум“. Наши собственные действия мы подразделяем на контролируемые „инстинктом“ (новорожденный сосет материнскую грудь, бегущий человек уклоняется от опасного столкновения, мы нюхаем хлеб и мясо, чтобы удостовериться, что они не испортились) и действия, контролируемые „разумом“ (предвидение, рациональный анализ, рефлективное мышление). Кювье и другие мыслители сравнивали инстинкт с привычкой, а мистер Дарвин тонко заметил, что применительно к людям „это сравнение очень точно характеризует состояние ума, когда совершается инстинктивное

действие, но не объясняет его происхождения. Многие *привычные* действия производятся совершенно неосознанно и весьма часто наперекор воле! И все же воля и рассудок способны их изменить“. Считать ли нам, что действия муравьев и пчел диктуются совокупностью инстинктов, однообразных, как глотательные и двигательные сокращения амебы, или же рассматривать поведение этих насекомых как совокупность инстинктов, приобретенных привычек и направляющего их разума, не присущего отдельной особи, но в случае нужды доступного всякой? Нами управляет именно такая совокупность. Наши нервные клетки отвечают на раздражители и очень восприимчивы к сильному страху, любви, боли и умственной деятельности, отчего в нас нередко просыпаются способности, о которых мы ранее и не подозревали. Над этими сложными вопросами задумывался каждый философ, но ни один не нашел удовлетворительного ответа. В какой части человеческого тела обитают душа и ум? В сердце или в голове?

Станет ли нам яснее человеческая природа или слаженная работа клеток нашего тела, если мы разберемся в природе муравьев? Я наблюдал муравьев, которые передвигались бодрее и нерв-

нее, заходили дальше в поисках, приближались к товарищам, чтобы пробудить в них интерес к новым предприятиям или понудить к бóльшим усилиям. Кто они: энергичные, находчивые личности, члены общества или же крупные, откормленные клетки в центре нервного узла? Я склонен считать их личностями, полными любви, страха, стремлений, тревог, но при этом мне известно, что перемена обстоятельств может совершенно изменить их натуру. Встряхните в пробирке дюжину муравьев — и они набросятся друг на друга и начнут ожесточенно драться. Отделите рабочего муравья от сообщества — и он станет бесцельно описывать круги или угрюмо скорчится в коме, ожидая смерти, и проживет самое большее несколько дней. Тот, кто утверждает, что муравьи подчиняются слепому „инстинкту“, подделывает „инстинкт“ под кальвинистского бога, под Предопределение. А тот, кто уподобляет их человеку на основании схожести реакций — человек, перенесший травму или потрясение, может потерять волю и память; может родиться без способности мыслить, делающей нас людьми, или может ее утратить под гнетом вожделения или сильного страха смерти, — тот подменяет Предопределение, проявляющее себя

с инстинкта, железным контролем любящего и мстительного Божества, восседающего на нерушимом золотом Троне в Хрустальных Небесах.

Ужасная мысль, ужасающая некоторых, ужасающая в том либо ином виде рано или поздно всех, состоит в том, что мы, как и прочие твари, биологически предопределены, что мы отличаемся от них лишь изобретательностью и способностью размышлять о своей судьбе; эта мысль вытекает из надменного утверждения, будто муравей не более чем расторопная машина.

Что же можем мы узнать, что боимся узнать, что не спешим узнать, сравнивая наши сообщества с сообществами общественных насекомых? Можно рассматривать их сообщества как особые индивидуумы, в которых каждое отдельное существо, выполняющее назначенную ему функцию, живущее и умирающее, — всего лишь клетка, и на смену ей непрерывно рождаются другие клетки. О том же идет речь в басне Менелая из „Кориолана“: государство — это тело, и все его члены, от ногтей на пальцах ног до прожорливого чрева, способствуют его непрерывной жизни и благосостоянию. Профессор Аса Грей из Гарвардского университета убедительно доказывает, что в растительном мире, как и в разветвленных жи-

вотных колониях кораллов, индивидуальность проявляется в групповом сожительстве, так как существа эти размножаются без угрозы для жизни делением. В колонии муравьев наблюдается большее разнообразие, чем у кораллов: у них есть разделение труда и разные группы особей, но, по-видимому, цель сообщества не более замысловата и не отличается от цели коралловой колонии. В обоих случаях она состоит в *увековечении города, племени, вида.*

Странствуя по Амазонке, я подружился с одним бельгийцем, хорошим натуралистом, писавшим стихи и любившим размышлять о тонких материях. Он написал о пагубном воздействии высокоразвитого общественного инстинкта на общественных животных; этот инстинкт, утверждал он, развивается в лоне семьи на основе отношений матери и ребенка, в процессе объединения людей в первичные сообщества ради собственной безопасности. Бельгиец переселился в джунгли потому, что не был существом общественным, по природе своей был отшельником, романтическим Дикарем, впрочем его наблюдения не лишены интереса. Он говорил, что чем совершеннее связь между существами, тем скорее в обществе установится жесткий властный

порядок, возникнут нетерпимость, ограничения, появится масса правил и предписаний. Организованные сообщества, говорил он, тяготеют к состоянию, которое можно наблюдать на фабриках, в казармах и на галерах: там нет места ни досугу, ни отдыху, общество использует своих членов ради функциональной выгоды, а когда их силы истощатся, от них за ненадобностью избавляются. Такое общественное бытие он, что весьма примечательно, охарактеризовал как „общественное отчаяние“, а города-термитники, где сородичей по рациональным соображениям обращают в пищу, как только они перестают быть полезными, называл пародией на тот земной рай, который с таким воодушевлением пытаются приблизить архитекторы человеческих городов и коммун. „Природе, — говорил он, — счастье ни к чему“. Когда я заметил, что сообщества Фурье основаны на рациональном поиске удовольствий и удовлетворении наклонностей (речь идет, чтобы быть точным, о 1620 страстях), он хмуро возразил, что эти группы обречены на крах либо потому, что их члены раздерутся между собой, либо потому, что рациональное устройство рано или поздно заменит гармонию милитаризмом.

Я сказал тогда, что Реомюр наблюдал, как в

летние дни муравьи, точно древние греки, развлекаются, устраивая бойцовские поединки, не нанося при этом друг другу увечий. С тех пор, должен признать, я неоднократно наблюдал то, что считал муравьиной игрой, но при ближайшем рассмотрении сделал вывод: это не игра, а настоящая война, которая ведется, как заведено у муравьев, ради ограниченных целей и без жестокого кровопролития. Альфред Уоллес, убежденный социалист, путешествовавший тогда в тех же краях, находясь под сильным влиянием перспективных и успешных опытов Роберта Оуэна в Новом Ланарке[36], попытался представить проблему в более приятном и мягком свете. Оуэн, утверждает он, своими социальными экспериментами доказал, что окружение может значительно изменять характер в лучшую сторону, „что нет такого дурного характера, который нельзя было бы значительно улучшить под влиянием здорового окружения, если оно с раннего детства воздействует на него, и что общество располагает возможностью создать такое окружение“. Оуэн возложил на рабочих личную ответственность за выполняемую работу и поза-

**[36] Примечания: 36**

Городок в Шотландии, к юго-востоку от Глазго, где Роберт Оуэн проводил в первой трети XIX в. свои социальные опыты.

ботился об их самообразовании, а это укрепило их волю, улучшило их индивидуальную природу. Уоллес пишет (цитирую ранее не публиковавшееся письмо): „Наследственность, благодаря которой, как теперь известно, непрерывно возобновляются черты предков, создает бесконечное разнообразие характеров, и это разнообразие есть соль общественной жизни: при помощи среды и образования мы можем изменить и улучшить характер таким образом, что приведем его в гармонию с реальным окружением его обладателя и, соответственно, приспособим последнего к выполнению той или иной полезной и приятной функции в великой социальной организации“.

Вам может показаться, что я сильно отвлекся от Вяза и Осборнова гнезда, Красной крепости и Гнезда в каменной ограде. Но в ходе нашего исследования постоянно возникают фундаментальные вопросы о влиянии наследственности, инстинкта, социального самосознания, привычки и воли. Повсюду в природе мы находим притчи и более или менее мудро их истолковываем. Религиозные мыслители увидели в любви матери и ребенка, Отца и Сына отражение вечных отношений Первичного существа с сотворенным миром и самим человеком. Мой друг-бельгиец

видел в любви, с другой стороны, инстинктивную реакцию, порождающую общества, которые навязывают своим членам жесткие функциональные роли. Я упомянул о предопределяющем значении инстинкта, о том, что, возможно, разум обретается скорее в обществе, нежели в индивиде. Спрашивать, какую роль в своей деятельной жизни играют муравьи, — значит спрашивать, каковы мы сами…»

Вильям задумчиво смотрел на написанное. Он все рассуждает, спорит и совсем забыл о том, что книга предназначена для публикации и, как представлялось Мэтти Кромптон, для большой и юной аудитории, которая будет читать ее ради самосовершенствования. Если бы он об этом помнил, печально подумал он, то больше бы уделил внимания религиозным чувствам родителей и опекунов. Ему пришла мысль добавить полезную цитату из «Старого морехода» Колриджа:

*Молитвы сердцу мир дадут,*
*Когда ты любишь всякий люд*
*И всякое зверье*[37].

Он решил отдать последние страницы Мэтти

**[37] Примечания: 37**
Перевод В. Левика.

Кромптон и посмотреть, как она это оценит. И тут ему пришло в голову, что он ничего не знает о ее религиозных убеждениях. Друг Чарлза Дарвина сказал ему как-то: почти нет женщин, способных усомниться в религиозных истинах. Затем ему пришло на ум, что все написанное им сейчас противоречит тому, что пытался сказать в своей книге Гаральд Алабастер, противоречит более, чем может показаться на первый взгляд, поскольку, как и большинство современников, он опасался откровенно признаться даже самому себе, что инстинкт и есть Предопределение и что сам он так же управляем, ограничен и задан, как всякая птица или пресмыкающееся. Он пишет о воле и рассудке, но в глубине души, сравнивая свой малый вес с жизнью земных тварей, борющихся за выживание, не может с уверенностью сказать, что воля и рассудок столь же могущественны и важны, каковыми они казались два века назад богослову, ощущавшему на себе Око Господне, или первооткрывателю звезд, ликовавшему от сознания своего могущества. Его нервы были напряжены, рука ныла, мозг заволокло черным туманом. Ему казалось, что его жизнь — короткая борьба, торопливый бег по темному туннелю, в конце которого не будет света.

Вильям отдал читать свои размышления Мэтти Кромптон и обнаружил, что с беспокойством ожидает ее отзыва. Она забрала листы и вернула их на следующий день, сказав, что это именно то, что требуется, именно такие добросовестные общие рассуждения способны вызвать интерес у широкой читательской аудитории и привлечь к обсуждению книги самые разные круги общества. Она спросила еще:

— Как вы думаете, сможет ли в будущем человек быть счастлив, сознавая, что его бытие конечно и никакой загробной жизни нет, будет ли его натура удовлетворена совершенно той ролью, которую он будет играть в жизни сообщества?

— Я думаю, такие люди есть и сейчас. Любопытно: в результате странствий по миру все убеждения начинают казаться более… более относительными, менее прочными. Меня поразило, что ни один амазонский индеец не способен вообразить, что бывают народы, которые не живут на берегу широкой реки. Они не способны задать тебе вопрос: «Ты живешь возле реки?» — но лишь: «Какая твоя река — быстрая или спокойная? Ты живешь у стремнины или там, где случаются оползни?» И океан им представляется рекой, как

бы живо и точно ты его ни описывал. Я пытался это сделать, но с равным успехом можно втолковывать слепцу законы перспективы. Тогда я задумался: выходит, есть вещи, недоступные и моему рассудку, выходит, и в моей картине мира не хватает некоторых важных фактов.

— Многие… даже большинство людей не обладают вашей добросовестностью и скромностью.

— Вы думаете? Среди оппонентов мистера Дарвина есть очень агрессивные и уверенные в своей правоте люди, которые беспощадно уничтожают противников. Так, доктор Джонсон разгромил Беркли, а есть люди, подобные сэру Гаральду, которые, желая уверовать или вновь обрести веру, испытывают смятение, даже муки.

— Нужна змеиная мудрость, чтобы найти истинное объяснение всему, что связано с Промыслом и Предопределением.

— Вы думаете, мне следует этого добиваться?

— Я думаю, человек должен быть правдив в меру своих возможностей, иначе невозможно познать истину до конца. Нельзя кривить душой.

Наступило молчание. Мэтти Кромптон пролистывала страницы. Она заметила:

— Мне нравится цитата из Мишле о грабительских набегах *сфинкса Атропы.* Поразительно,

какую… тайну, какой сказочный блеск придают насекомым их имена.

— В лесу я часто думал о Линнее[38]. Как прочно он привязал Новый Свет к образам Старого, назвав парусников именами героев Греции и Трои, а геликонид — именами муз. Я был в краях, где не ступала нога англичанина, но над моей головой порхали Елена и Менелай, Аполлон и все девять муз, Гектор, Гекуба и Приам. Воображение ученого колонизировало нехоженые джунгли еще до того, как я прибыл туда. Дать имя новому виду — это чудесно. Это значит поймать в сачок человеческого наблюдения и человеческого языка дикое, редкое, доселе неведомое существо, да еще с Линнеевым остроумием, четкостью, живо используя наследие мифов, сказок, имена их героев. Сначала он хотел назвать атропу *caput mortuum*, то есть мертвой головой, но его номенклатура требовала односложного слова.

— И тогда он назвал мотылька по имени слепой фурии с ужасными ножницами. Не повезло невинному бедняжке — его маленькая жизнь отягощена столь значительным смыслом. Сфинкс Атропа поразил меня, потому что я сама пишу,

**[38] Примечания: 38**

*Линней Карл* (1707–1778) — шведский естествоиспытатель, создатель системы растительного и животного мира.

и, пока писала, Линнеевы имена странным образом проникли в работу — в свое время я прочла «Systema Naturae» и «Theatrum Insectorum» Томаса Муффе, которые нашла в библиотеке сэра Гаральда, и извлекла из них много поучительного.

— Сколько у вас достоинств — я просто поражен! Вы знаете латынь и древнегреческий, вы великолепно рисуете, превосходно знаете английскую литературу.

— Я училась в приходской школе при епископе, где дети были старше и умнее меня. Мой отец был у нас наставником, а жена епископа окружала всех теплом и заботой. Я буду вам благодарна, — продолжала она, как будто торопясь уйти от новых личных вопросов, — если вы на досуге пролистаете эту рукопись. Я начала писать одну басню в качестве пояснения к книге… меня заинтересовала этимология имени *Церура винула* и еще одной сфингиды, *Дейлефила эльпенор,* и я решила сделать этих удивительных существ героями назидательной басни… но тут поняла, что увлеклась, написала что-то более пространное, чем собиралась, и, наверное, более претенциозное, чем положено быть сказке, — и вот ломаю голову, что с ней делать.

— Вы должны опубликовать ее под своим име-

нем… выпустить целый том ваших сказок.

— Вообще-то, по натуре я не выдумщица. Это хроника наших муравьиных городов заставила меня взяться за перо. Вряд ли сказка представляет большую ценность. Надеюсь, что вы с беспощадной откровенностью укажете мне на ее недостатки.

— Она наверняка восхитительна, — возразил Вильям искренне, хотя несколько рассеянно.

Мэтти Кромптон задумчиво смотрела вниз, избегая его взгляда.

— Я уже говорила, правда в ином контексте: не следует кривить душой.

Ночью Вильям зажег новую свечу, лег в постель и начал читать. По ту сторону двери, отделявшей его спальню от спальни жены, раздавался непривычный еще, размеренный и покойный звук — с некоторых пор Евгения стала храпеть: за токованием лесного голубя следовал взвизг, точно ногти царапнули по шелку, а потом всхрап, похожий на всхрап голодного жеребенка.

## ВНЕШНИЙ ВИД ОБМАНЧИВ

Жил однажды крестьянин, который в поте лица возделывал землю, заросшую колючками и

чертополохом. И было у него три сына — чересчур много наследников на тот клочок земли, что давался ему с таким трудом, так что младшему, по имени Сет, пришлось, завернув в узелок хлеб и одежду, отправиться искать свою долю в чужие края. Долго скитался он по морям-океанам, но однажды его корабль попал в шторм, он потерпел крушение, и его прибило к песчаному берегу. Сет и его товарищи не ведали, где находятся, потому что ветер отнес судно далеко от курса; собрав уцелевшие съестные припасы, они пошли по берегу, а потом свернули в лес. Кругом раздавался хохот птиц и обезьян, а в кронах деревьев мелькали тысячи таинственных крыльев, но нигде не было видно следов человеческого жилья. Они решили было, что стали хозяевами этого необитаемого острова, как вдруг увидели на земле колеи и дорожку, которая переходила в широкую аллею; по ней они и пошли.

Спустя некоторое время они достигли гладкой каменной стены, такой высокой, что через нее нельзя было заглянуть. Перед ними была запертая дверь. Посовещавшись, они постучались: хорошо смазанная дверь беззвучно распахнулась и, когда они вошли, так же неслышно закрылась, хотя вокруг не было ни души. И тотчас язык-

ки внутри большого замка щелкнули, запирая дверь. Один из них захотел повернуть назад, а другой предложил разойтись и притаиться, но остальные, включая Сета, решили не поддаваться страху и идти дальше. И они двинулись вперед по мраморным полам, через огромные прохладные залы, они слышали плеск фонтанов в открытых двориках и шепотом восхищались роскошью архитектуры и убранства помещений.

Наконец они очутились в обеденном зале, где на огромном столе черного дерева был приготовлен пир: вкусные пироги и печенье, аппетитные заливные и сливочные желе, горы свежих фруктов и сосуды с игристым вином. От вида этих яств у них потекли слюнки, и, недолго думая, они уселись и принялись за трапезу: они изголодались до полусмерти и ели так жадно, что по усам текло. Один только Сет не притронулся к еде, потому что отец наказывал ему не есть ничего в чужом доме, покуда хозяева не угостят. В детстве ему порядком влетало за набеги на соседские сады, и те уроки не прошли даром. Остальные же ели не стесняясь, и, когда их сморило от обильной пищи, раздался звон колокольчиков и трели арфы — дверь в дальнем конце зала распахнулась и впустила толпу странных существ. Вошли

мажордом, более походивший на козла, чем на человека, и прелестная молочно-белая телочка, рога которой были оплетены розами, вереница цапель и гусей в воротничках, усеянных рубинами и сапфирами, прехорошенькие пушистые котята, серебристо-белые и розовато-желтые, элегантная серебристая борзая с колокольцами на шее, премилый королевский спаниель с длинными шелковистыми ушами и огромными печальными карими глазами. А в середине выступала веселая, радушная с виду дама, одетая пастушкой, в оборчатом чепчике и восхитительно расшитом переднике; на плечи ее ниспадали прекрасные белокурые локоны. В руке она держала чудесный пастуший посошок, украшенный серебряными, розовыми и небесно-голубыми ленточками, на лице ее сияла сладчайшая улыбка, а глаза искрились. Все моряки, немедленно ею очарованные, не отерев с подбородков и губ жир и потеки фруктового сока, принялись глупо ей улыбаться. Сразу было видно, что это не простая пастушка, а знатная дама, надевшая пастушеский костюм из снисходительности или по простоте души.

— Как мило, — воскликнула она, — когда являются нежданные гости. Наедайтесь досыта,

наливайте бокалы вином до краев. Ах, как я люблю гостей.

Моряки поблагодарили ее и снова взялись за еду, ибо от ее слов голод с новой силой овладел всеми, кроме Сета, которого, правда, теперь пригласили к столу, так что он не рисковал нарушить отцовский запрет. Однако куда делся его аппетит?! Когда хозяйка увидела, что он ничего не ест, она подошла к нему, шурша роскошными юбками, и принялась потчевать его изысканнейшими блюдами, налила ему ликера и благоуханных сиропов, искрившихся в хрустальных бокалах.

— Чтобы не ослабеть от голода, вам надо поесть, — сказала она. — Я вижу, вам очень худо: вы весь в пятнах соли и осунулись от усталости.

Сет ответил, что не голоден. А дама, улыбаясь и не теряя доброго расположения духа, нарезала серебряным ножом и разложила веером, как лепестки цветка, ломтики дивных фруктов: кусочки дыни, поблескивающие на срезе кружки апельсинов, ароматный черный виноград, хрусткие белые яблоки и малиновые ломтики гранатов, испещренные эбеновыми зернами.

— Я сочту вас за упрямца и невежу, — проговорила она, — если вы не съедите хотя бы дольку яблока или матовую виноградину, если не вы-

пьете хотя бы глоток гранатового соку.

Сет смущенно взял кусочек граната, который казался менее существенным, чем хрустящая плоть яблока, и проглотил три черных зернышка в сладком кроваво-красном студне.

Один из его товарищей икнул и сказал:

— Вы, должно быть, могущественная фея или принцесса, иначе откуда бы взялось такое изобилие в этом диком крае?

— Да, я фея, — ответила она. — И я люблю ублажать смертных. А зовут меня Коттитоэ Пан Демос, что значит «ради всех людей». Я создана для всех людей. И мой дом открыт для всех в него входящих. Я очень рада всем вам.

— А вы способны творить чудеса? — спросил корабельный повар — он был совсем недавно юнгой, и цирковые фокусы, непонятные исчезновения и появления ниоткуда красивых жезлов с перьями страуса и цветочных букетов считал волшебством.

— А как же, — ответила она и серебристо рассмеялась.

— Так сделайте какое-нибудь чудо, — попросил, облизываясь, кок.

— Хорошо, — сказала она, — сейчас эти яства в мгновение ока исчезнут.

Она дотронулась до стола серебряным посошком, и снедь исчезла, хотя аромат фруктов, мясной дух и острый запах винных паров наполняли воздух.

— А сейчас я без всяких цепей прикую вас к стульям, — улыбаясь еще радостнее, промолвила она и властно повела посошком; и моряки почувствовали, что не могут ни встать, ни поднять рук.

— Что-то мне это не по душе, — заявил кок. — Отпустите нас, госпожа. Спасибо вам за щедрое угощение, нам пора идти чинить корабль и отправляться дальше.

— Как же неблагодарны люди, — сказала дама, — чем бы мы ни дарили их, не желают задержаться и отдохнуть, все торопятся отплыть. Разве вы не хотите остаться и хотя бы на время стать гостями моего дома? Или навсегда. Мой дом открыт для каждого входящего.

— Нет, большое спасибо, госпожа, — ответил кок. — Я, пожалуй, пойду.

— Вряд ли у тебя это получится, — возразила она и притронулась к его плечу внезапно удлинившимся серебряным посошком.

И тут же, вскрикнув странным, нечеловеческим голосом, повар превратился в огромного щетинистого хряка, во всяком случае его голова

стала мордой с мокрым рылом и огромными клыками. Лишь его беспомощные руки, прижатые к подлокотникам, оставались руками, но жесткими, как копыта, волосатыми и неловкими. Дама обошла стол и дотронулась до каждого моряка, и все они превратились в свиней разных пород: один в огромного белого вепря, другой — в коричнево-черного, третий — во французского кабана, четвертый — в голубую бедфордскую свинью. Хотя Сету тоже грозила опасность, он невольно поразился такому многообразию свиных пород. Посошок коснулся наконец и его — тело Сета словно пронзил электрический разряд, жгучий, как змеиный укус. Ожидая нащупать вместо лица свиное рыло, Сет поднес к лицу руку — как ни странно, в отличие от товарищей, это ему удалось. Лицо — нос, и рот, и брови — на ощупь не изменилось. Но зудела голова: на ней будто что-то шевелилось; Сет провел рукой по волосам и понял, что они стремительно — так изливается из фонтана вода — растут и, волнуясь и извиваясь, превращаются в гриву.

Увидев это, госпожа Коттитоэ Пан Демос от души рассмеялась.

— Трудно угадать, как подействует волшебство на тех, кто ест умеренно, — сказала она. — У тебя

красивая шевелюра, нет клыков и щетины. Тем не менее ты должен присоединиться к нашей компании. Я назначаю тебя свинопасом — свиней я держу в каменных пещерах глубоко под дворцом, потому что им не нужен дневной свет; я покажу, где брать для них корм, как чистить загончики, и, увы, вынуждена буду жестоко тебя наказать, если ты не справишься со своими обязанностями. Ибо все мы должны трудиться ради блага семьи. Пойдем-ка со мной, голубчик.

И погнала животных — новообращенных свиней, гусей, цапель, телочку и старого козла — крупной рысью по коридорам, мелодично посмеиваясь, когда они поскальзывались на неловких копытах, и помахивая своим хорошеньким посошком, больно жалившим сквозь мех и шкуру. В подземелье было огромное множество загонов, пещер и клеток, и в них томились самые разные твари: послушные кролики, нежные, трепетные зайчики, понурые павлины с опущенными хвостами, ослики, утки и даже семейство белых мышей.

— Не стоит прислушиваться к звукам, которые они производят, — заметила госпожа Коттитоэ Пан Демос, — я тебе не советую; это жалкая смесь хрюканья, ослиного рева и гогота — лучше не

обращать внимания. Увы, я должна запереть тебя с ними; можешь спать вот здесь, на свежей соломе, а вот буханка вкуснейшего хлеба, ему лишь неделя исполнилась, и отменная ключевая вода для питья, так что не стоит жаловаться на нерадушный прием. Согласись, нет ничего полезнее доброго хлеба и чистой водицы? Время от времени я буду посылать тебе весточку с одним из домашних животных: мои гуси умеют носить корзиночки, а спаниель выдрессирован таскать в пасти письма. Можешь не беспокоиться, что и как тебе отвечать, просто делай, что я велю, — это закон, и любое его нарушение неминуемо влечет за собой ужаснейшие последствия. А уж какие — пусть подскажет тебе твое воображение. По-моему, хлеб и вода в темнице — отличная пища для воображения, еще под землей прорастают крошечные семена; ты сможешь вообразить любые возможные последствия, голубчик. Желаю приятных сновидений.

Сказав это, она стремительно вышла из дверей подземелья: тук, тук, тук — стучали ее алмазные туфельки, и огромная шляпа покачивалась на белоснежных кудрях. Бедняга Сет остался почти в полной тьме, а со всех сторон с лохматых морд, из-под нависших свинячьих век смотрели на

него печальные получеловеческие глаза, и глаза эти блестели от слез.

Тяжело приходилось бедняге Сету в подземелье среди несчастных животных. Испытывая жалость к их незавидной участи, он делал все, чтобы облегчить им жизнь, хотя и опасался гнева феи. Он утирал им слезы и лечил болячки, менял воду, выслушивал их рыдания и вздохи; и еще горше делалось у него на душе, потому что он не понимал, о чем они ему говорят. Временами он принимался продумывать план побега. Он решил взломать ворота и хотел посвятить в этот план королевского спаниеля. Однажды он заговорил с собачкой:

— Ты тоже, наверное, заколдованный человек и, судя по тому, как лоснится твоя шерсть и светятся глаза, несомненно, был очень красив. Пожалуйста, кивни, если ты готов помочь мне спастись из неволи; хотя участь твоя легче моей, она и тебе должна быть нестерпима.

Но собачка лишь затряслась всем телом; ее шерсть встала дыбом, и она заскулила, прося открыть ворота и выпустить ее в коридор. Когда он приблизился, собака зарычала, продолжая дрожать, и цапнула его за руку.

После такой неудачи Сет вернулся в свой угол,

уселся на солому и горько заплакал. Слезы его становились все крупнее и текли все быстрее, смачивая пыль под ногами и черными струйками скатываясь в углы. Вдруг ему показалось, будто кто-то, словно захлебываясь и пуская пузыри, кричит скрипучим голоском:

— Перестань, я тону, перестань.

Он осмотрелся, но никого не увидел.

— Где же ты? — спросил он наконец.

— Здесь, у тебя под ногами, в море соленой воды.

Сет посмотрел вниз и в одной слезинке увидел крупного черного муравья; его лапки-ниточки прилипли к тельцу, а усы поникли. Осушив слезинку соломинкой, он протянул ее муравью. Муравей влез на соломинку и спросил:

— Ты зачем разводишь здесь слякоть?

— Я узник, и мне никогда не выбраться из этой темницы. Все кончено.

— А я могу выйти и снова сюда вернуться.

— Это понятно. Ведь ты совсем крошка, а я — беспомощный верзила, и мне не на что надеяться.

— Только не плачь. Я помогу тебе, ведь ты спас мне жизнь, хотя сам подверг ее опасности. Жди здесь.

Малютка поторопился прочь и пропал в трещине каменного пола. А Сет стал ждать. Ничего больше делать не оставалось, но он и не надеялся, что муравей сумеет ему помочь. Прошло довольно времени, и наконец из щели показались нервные усики муравьишки, а затем и сам он в сопровождении двух товарищей. Они втроем волокли сверток величиной с большую хлебную крошку — для существ их размера он мог бы послужить периной; подтащив сверток к ногам Сета, они положили его на землю. Что-то почти невидимое было аккуратно завернуто в клочок темного листка, который то ли зашили, то ли обвязали тончайшей нитью.

— Ну вот, — сказал муравей. — Это поможет.

— И что мне с этим делать?

— Съесть, конечно.

— А что внутри?

— Три папоротниковых семечка. Это особенные семечки. Они собраны, разумеется, в Мире-За-Стеной.

Сет заколебался. Он хотел было спросить: «И что тогда будет?» — но муравей велел ему: «Поторопись!» — таким же категоричным тоном, как тон госпожи Коттитоэ Пан Демос.

Сет положил семечки на кончик языка — они

растворились, оставляя вкус тенистого леса, — и словно тысяча игл и булавок разом впились в него; страшно закружилась голова, и вдруг он понял, что стоит рядом с муравьем и ростом стал всего лишь раза в два выше его. Теперь, когда муравей так вырос, вернее, когда он, Сет, уменьшился, муравей стал казаться грозным и загадочным. На Сета смотрели огромные черные глаза. Открывались и смыкались жвалы, большие, как ножницы для стрижки овец.

— Теперь мне еще хуже, — сказал Сет, — я совсем беззащитен. Меня может случайно растоптать свинья или ослик, может склевать курица или голубь. Пожалуйста, сделай так, чтобы я стал прежним.

— Я же сказал тебе, — возразил муравей, и его скрипучий голос теперь напоминал раскаты грома, — что могу выйти отсюда и так же легко вернуться. А если могу я, можешь и ты. Следуй за мной.

Так началось жуткое путешествие по извилистому подземному лабиринту. Главный муравей шел впереди, а двое других, схватив Сета за руки, деликатно, но уверенно направляли его шаг в полной темноте. Они двигались легко, а он все поскальзывался да спотыкался. Спустя некоторое

время за очень крутым поворотом их встретил очень яркий солнечный свет; Сет так отвык от солнца, что долго щурился да моргал, а его глаза наполнились слезами. Он не видел, где находится: вокруг росла трава, а он был у самых ее корней. Его взгляд упирался в гравий и в раскачивающийся полог травяного леса. Муравьи посоветовали ему влезть на розовый куст. Осторожно наступая на самые толстые и длинные шипы, он вскарабкался — так грабитель влезает по выступам крепостной стены в замок. Когда же он оказался на самом верху и взгляду его уже ничто не мешало, он увидел, что находится в обнесенном высокой стеной саду: вдоль кирпичной стены на солнышке росли, сплетясь ветвями, фруктовые деревья; здесь были разбиты газоны и стояли каменные скамьи, а вокруг, на сколько хватало глаз, расстилались лужайки цветов, овощные и ягодные грядки. Все это было непривычно огромных размеров, и у Сета сильно закружилась голова, и, чтобы не видеть ужасных малиновых лепестков роз, широких, как персидские ковры, и сверкающего травяного леса, широкого, как Ла-Манш, ему пришлось ухватиться что есть сил за листок и закрыть глаза.

Представьте, что над вашей беззащитной голо-

вой подвешено на канате твердое, глянцевитое, красное, тяжелое яблоко, напоминающее Альберт-холл[39]. Представьте теперь, какой ужасной должна показаться вам шарообразная глыба, вся в красивых густо-пурпурных полосках, прожилках, мягкая, с зелеными краями, изборожденная складками и щелями, — блестящий на солнце капустный кочан, готовый лопнуть, который пора уже срезать. Сет ощутил разом ужас, смятение и восхищение, вообразив себе ту неимоверную силу, которая вызывала этот буйный рост. Он спустился на землю и поблагодарил муравьев за доброту. Он решил остаться жить в саду, пока не изыщет способа вернуть себе прежний облик и не сумеет выручить товарищей. Он решил, что без труда сможет укрыться здесь от госпожи Коттитоэ Пан Демос, если она, конечно, не владеет особым волшебным способом, который позволит его обнаружить. От этой мысли он немного приуныл и поспешил уйти подальше от стен замка и скрыться в травяном лесу, словно надеясь удалиться из сферы ее влияния. «Мне помогли муравьи, — сказал он себе. — Возможно,

**[39] Примечания: 39**

Большой концертный зал в Лондоне на 8 тыс. мест; крупное кирпичное здание под куполом. Назван в честь принца Альберта, супруга королевы Виктории.

встретятся и другие помощники, которые меня подбодрят».

Сет слышал множество разнообразных звуков. Некоторые он вряд ли различил бы, будь он нормальным человеком: например, переливчатые трели птиц, звучавшие теперь как оркестр сквозь шум водопада, и громкое жужжание пчел, стремительно перелетавших с цветка на цветок. Слышал он и звуки, которые никогда бы не уловил неотточенным слухом: кто-то бормотал, чавкал, скрипел; тысячи ртов усердно и громко жевали листья и цветы, мякоть плодов, плоть и кость. Слышал, как проползают черви, оставляя склизкий след, слышал, как жадные рты высасывают из земли росу и соки. Спустя некоторое время он привык к этим звукам и почувствовал себя уверенно, как человек, легко ориентирующийся в суете большого города. Выйдя из травяного туннеля, он оказался на опушке зарослей малины. Он подумал, что хорошо бы сорвать хоть одну ягоду и перекусить — вдруг голод напомнил о себе, — и, как по мачте, перехватывая стебель руками, полез наверх. Так он добрался до накаленного солнцем края невысокой кирпичной стены, рядом с которой и росла малина, и уже протянул руку за ягодой, когда из гущи листьев

раздалось долгое зловещее шипение. А сбоку послышалось устрашающее хриплое ворчание, подобное рыку взбешенного крокодила. По веткам малины ползло к нему кошмарное чудовище, омерзительный тупорылый дракон с ужасной гигантской головой и огромными немигающими глазами. А по стене подползало другое чудовище, точно плетью, помахивавшее раздвоенным хвостом, разевавшее громадный пещероподобный рот и громко рычавшее. У этого спина была винного цвета, а голова и хвост — ярко-зеленые. Оно двигалось медленно, раскачиваясь; а первое, более похожее на ленту серпантина, чудище, извиваясь, скользило по веткам.

Сет попятился, судорожно ища взглядом хоть какое-нибудь оружие. На стене он увидел обломки черепицы — при нужде ими можно было порезать или уколоть врага — и схватил несколько обломков.

— Убирайтесь, — закричал он. — Пошли вон!

Змея раскачивалась взад и вперед среди веток. Она заговорила низким, надменным голосом, словно ее рот был набит всякой дрянью:

— Я ОЧЕНЬ НЕПРИЯТЕН, ОЧЕНЬ. СЕЙЧАС Я ЖУТКО ПОКАЛЕЧУ ТЕБЯ. Я ОЧЕНЬ ОПАСЕН. ЛУЧШЕ ДЕРЖИСЬ ПОДАЛЬШЕ.

Чудище на стене проговорило:

— Я Весьма Жесток. Я — Пожиратель. Я Обглодаю Тебя До Костей.

— Уходите, — сказал Сет.

Он чувствовал их горячее, плотное и густое дыхание. Он швырнул обломком в чудище с раздвоенным хвостом; оно остановилось, дернулось и вновь поползло к нему. Сет решил, что настал его смертный час: отступать было некуда, потому что стена за его спиной отвесно поднималась, а путь вперед преграждал толстоголовый гад. Но тут кто-то быстро спустился к нему прямо с неба на шелковой веревочке, которая, казалось, не была ни к чему привязана. Сперва появилась пара черных блестящих туфель, затем маленькая корзинка и, наконец, какое-то высокое, худое и черное существо с четырьмя конечностями; Сет понял, что это женщина в длинной черной юбке и белом чепце, белое личико которой затеняли сидевшие на остром носике большие очки в роговой оправе. Она была закутана в длинную серебристую мантию. Потянув за нить, женщина смотала ее и положила у ног.

— С добрым утром, — произнесла она. — Похоже, вы попали в беду.





— Дракон и змея вот-вот меня проглотят.

— Сомневаюсь, — возразила она. — Это мои друзья, Дейлефила Эльпенор и Церура Винула. Они боятся вас не меньше, чем вы их. Чтобы напугать того, кто, по их мнению, может причинить им вред, они раздуваются и рассказывают о себе страшную чепуху. Мне кажется, он не опасен, — обратилась она к драконам. — Вы порядком его напугали. Больше не надо. И торопитесь поесть. У вас осталось совсем мало времени.

Сет сказал:

— С виду они ужасны и опасны.

— Им приятно это слышать. Правда, Эльпенор? Правда, Винула? Приглядитесь внимательно к Винуле, сэр: его настоящие челюсти занимают совсем немного места под той огромной маской, что он показывает миру. А если вы посмотрите на сдувшегося Эльпенора, то поймете, что его жуткие глаза — всего лишь пятнышки на спине, которую он раздувает, чтобы его настоящую голову, которая и так мала, не было видно. У него

изумительное рыльце, так что он больше походит на поросенка, чем на гигантского дракона. Наружность, видите ли, бывает обманчива. Могу я узнать, как вас зовут?

— Сет.

— А меня — госпожа Муффе. — Она протянула узкую ручку. — Не хотите перекусить со мной за компанию? По всему видно, вы бежали из Пещер, и, если вы доверитесь мне, я смогу вам помочь.

Сет уселся с госпожой Муффе на верхушке стены, и она угостила его хлебом, сыром и яблоками; по величине они подходили его нынешним размерам — как и ей, впрочем. А потом она посмотрела на него сквозь очки ласковыми блестящими глазами и стала рассказывать о Саде:

— Этот Сад — собственность госпожи Коттитоэ Пан Демос, в нем она выращивает фрукты и овощи для стола и цветы, которыми украшает будуар и гостиную. Госпожа Коттитоэ любит гулять по Саду; как видите, она хорошая садовница, ее растения пышно цветут. Но здесь встречаются и такие существа, которые не подчиняются правилам госпожи Коттитоэ, — они явились сюда Из-за Стены со своими целями. Таковы Эльпенор и Винула, точнее, они станут такими, ибо, хотя родились в этом Саду и не помнят других мест, они

неподвластны законам Сада и со временем его покинут. Многие, подобно мне, спускаются в Сад на шелковых зонтиках или длинных нитях. Иные — их также много — проникают сюда сквозь норы и трещины в земле, ибо этот Сад — часть царства Феи, гораздо более могущественной, чем госпожа Коттитоэ. Она позволяет последней присматривать за Садом, но хочет знать, как здесь живется Ее созданиям, и потому постоянно с ними общается. Взгляните на траву: вся она, как кружевом, опутана шелковыми нитями, и на одной из таких спустилась сюда я. Каждая принадлежит паучку, который устраивает здесь гнездо, ткет сеть-паутину и всегда начеку. И птицы, и крылатые семена деревьев, которые, кружась, залетают в Сад и улетают из него, и облака пыльцы с других деревьев, и зонтики бутня и одуванчика — все они доставляют ей послания.

— Кто же эта Фея? Захочет ли она помочь мне и моим несчастным заколдованным товарищам? А кто вы?

— Я — летописец Сада, и вы можете называть меня шпионом, ибо госпожа Коттитоэ не знает о моем существовании. Я присматриваю за такими тварями, как Эльпенор и Винула, а теперь вот и за вами. Мой родственник из другого

мира был одним из великих Дарителей имен, великим историком этого Сада. Это он дал имена Эльпенору и Винуле, имена, звучащие как восхитительные стихи. Есть стихотворение и про меня — оно называется «Крошка мисс Муффе»; увы, кое-что там напутано: я действительно имею отношение к паукам, но в стихотворении утверждается, будто я боюсь пауков, я, кузина автора «Theatrum Insectorum sive Animalium Minimorum», тогда как на самом деле я записываю их имена, и описываю характеры, и являюсь их добрым другом.

— Госпожа Муффе, расскажите, почему у Эльпенора и Винулы такие поэтические имена. Я родился в крестьянской семье, и у нас, прежде чем назвать ребенка, все долго обсуждают разные имена.

— Эльпенором, как вы, вероятно, знаете, звали греческого моряка, которого родственница госпожи Коттитоэ по имени Цирцея превратила в свинью; и мой родственник выбрал для него это имя потому, что его нос похож на свиное рыло. У него есть племянник, названный по той же причине Порцеллом, то есть поросенком. А полное имя Винулы — Церура Винула. «Церура» составлено из двух греческих слов: χέρας (керас) — рог

и οὐρά (оура) — хвост, ибо его хвост раздвоен наподобие двух рогов и к тому же очень твердый. Мой родственник сказал про Винулу так: «Это изящная гусеница, клянусь Господом, и невероятно красивая». Имена позволяют сплести мир воедино, установить связь между различными существами; имя — своего рода метаморфоза, метафора, то есть речевой оборот, который переносит одно понятие на другое.

— Ну конечно же, — сказал Сет, который думал о своем. — Конечно, это гусеницы. А я принял их за ужасных змей или ящеров.

— Такую же ошибку совершают и люди нормального роста, и голодные птицы. В том-то и заключается хитрость. Как всякая настоящая гусеница, они обретут крылья, и тогда их имена изменятся, к ним будут добавлены новые слова. Скоро уже братья и сестры Эльпенора вырвутся из своих укрытий. Не желаете пойти посмотреть на них? Полагаю, они сумеют вам помочь. Ибо они носят Фее За-Стеной особо важные послания, а некоторые даже названы в Ее честь. Если не боитесь, они доставят вас к Ней.

И они пошли по стене в сопровождении гусениц-драконов, которые изо всех сил старались не отстать. В дальнем уголке сада они спустились на

землю, там, где грациозная ива покрывала своей тенью горшки с травами; на грядке, как зеленые колонны храма, стояли сплоченные ряды лукапорея и, напоминая пышные пальмы, высилась похожая на папоротник морковная ботва, а в тени сомкнутых картофельных листьев обосновалась, жадно их объедая, крупная гусеница.

— Это родственник Эльпенора, — сказала госпожа Муффе. — Его зовут Мандука, что в переводе с латыни означает просто Обжора; имя не очень красивое, но подходящее; из-за того что он так велик и должен быстро расти, ему приходится много есть. Но, несмотря на свое гадкое имя, он, по-моему, очень красив. Вот еще родственники Эльпенора, они питаются листьями иван-чая, но не госпожа Коттитоэ вырастила его: его семена прилетают сюда на шелковинке с попутным ветерком и укореняются во всякой расщелинке и рытвинке. Посмотрите: родственники Винулы облепили все дерево — им нравится ива. Подойдите ближе, я покажу вам кокон, который Винула соткал для зимней спячки. Вот здесь, в трещине коры.

Сет посмотрел, но ничего не увидел.

— Он вот-вот вылупится, — сказала госпожа Муффе. — Я должна отметить время его превра-

щения.

— Я не вижу никакого кокона, — проговорил Сет.

— И все же здесь его дом, или колыбель, или даже гроб, назовите как угодно, — ответила госпожа Муффе. — Он соткан из чудного плотного шелка — гусеница сворачивается клубком и прядет мягкий покров, работая, будто челноком, маленькой головой. У каждого кокона свой особенный дом. Мандука не ткет из шелка, а изготавливает колючий панцирь, похожий на египетский саркофаг цвета самого темного красного дерева, и погребает его глубоко под землей, где панцирь спокойно лежит до назначенного часа. Эльпенор делает такой же футляр, только более блеклый, и прячет его на поверхности. Вам приходилось, должно быть, видеть такие футляры, когда вы были… побольше. Возможно, работая в саду, вы даже рассекали их лопатой. Ваш отец, наверное, частенько выкапывает их, перелопачивая свою заросшую колючками землю. Если вам случится вскрыть этот гробик, пока его строитель еще спит, то вы не найдете в нем ни личинки, ни мотылька со сложенными крыльями, а всего лишь желтое, как яичный желток, месиво, похожее на жидкую гниль, — но это и есть суть жизни и

возрождения. Ибо внешний вид обманчив, и об этом надо всегда помнить.

— Я буду помнить, — ответил Сет, и то ли ему помогло это превосходное правило, то ли пережитая метаморфоза, только вдруг он увидел куколку Винулы, огромный шатер, гнездо на древесной коре, столь дивно сотканное из кусочков коры, трухи и древесины, что выглядело оно как обычный нарост на дереве, и казалось, гусеницы или мотыльки здесь ни при чем. Но вот из куколки появилась мягкая голова, потом узкие плечи и слипшиеся, трепетные крылья — мотылек, еще вялый, повис на дереве, уцепившись изящными лапками за кору.

— Он останется здесь, пока не подсушит шерстку, пока крылья не станут твердыми на воздухе и солнце, — заметила мисс Муффе, которая, по-видимому, испытывала огромное удовольствие, поучая других. — А сейчас взгляните-ка сюда. Это брат Эльпенора, он уже выбрался из куколки и дожидается вечера. Посмотрите, какой красавец: тело и крылья — розовые, с чудесными зелеными, как мох, полосками. Он точно розовый бутон во мху, но имя получил по другой причине. Его зовут Большой слоновый ястребиный бражник.





— Какие странные имена, — сказал Сет, рассматривая прекрасное розовое существо. — Слон и ястреб ничем не похожи друг на друга, как же Эльпенор может разом походить на обоих?

Госпожа Муффе была озадачена. Помолчав, она сказала:

— Он из семейства Ястребиных бражников.

И прожорливый Мандука — тоже Ястребиный бражник. Они названы так за резкость и стремительность полета и еще потому, что их головы заострены наподобие клюва. А слоновым его называют потому, наверное, что, будучи гусеницей, он имеет хоботок. Его научное название — *Sphinx Deilephila Elpenor.* Прекрасное слово *Deilephila* значит «любовник сумерек», ибо он любит летать в сумерках.

— А почему Сфинкс? — спросил Сет.

Мисс Муффе понизила голос:

— Сфинкс — одно из имен великой Феи. Оно означает «тот, кто загадывает загадки», но также «тот, кто разрешает загадки». Фея любит этих мотыльков, потому что они, как и Она сама, загадка.

— Что получится, если, например, соединить слона, свинью, любовника сумерек и чудовище из пустыни? — подсказал Сет.

— Загадка вроде этой, но не только, — ответила мисс Муффе.

— А каково настоящее имя Церуры Винулы? — спросил Сет, зачарованно наблюдая, как крылья, высыхая, превращаются в великолепные серебристые паруса, усеянные золотыми и дымчато-серыми крапинками, а тело округляется,

одеваясь мягкой серой шерсткой.

— Большая Гарпия из семейства *Notodonta:* от νῶτος (нотос) — спина и ὀδόντος (одонтос) — зуб; видите, на верхней паре крыльев у него острые зубцы. И он тоже похож на дракона, на мягкого и изящного дракона на отдыхе. Однако приближается вечер: скоро вылупится и улетит За-Стену самый крупный из мотыльков, Сфинкс, чьей личинкой был Мандука Прожорливый. Он летит к Ней, и я могу попросить его прихватить вас. Только путь туда страшен, да и место, где Она пребывает, может ужаснуть малодушного. Ибо вам придется миновать Мир Теней, а оттуда мало кто возвращается.

— Она поможет мне?

— Она всем помогает, только часто кое-кто из нас не понимает, в чем же эта помощь.

— Она вернет мне прежний облик?

— Она изменит вас, ибо в этом заключается Ее работа. Возможно, изменив, Она сделает вас таким, каким вы были.

— Лечу, — решил Сет. — Отведите меня к Мотыльку.

Большой Сфинкс показался Сету прекрасным и уютным: его крылья, покрытые красивейшей сеткой жилок, украшали желтые, угольно-чер-

ные, темно-розовые и серебристые пятна. В сгущающихся сумерках шевелились его длинные мохнатые усы, а голос был тихий и напевно-мечтательный. Мисс Муффе подошла к нему и спросила, не доставит ли он преображенного человека в Ее царство, и мотылек тихо согласился:

— Охотно, если он того желает.

— Покажи-ка ему седло, — велела мисс Муффе; она вдруг вытянулась, потемнела и приосанилась, а ее серебристая мантия сделалась еще более таинственного, лунного цвета.

Большой Мотылек расправил крылья — их изнанка была лунно-золотой с черной как сажа каймой, — и на его пушистой спине открылась застывшая маска, напоминающая морду то ли шакала, то ли демона, то ли человеческий череп с пустыми глазницами. Сет ужаснулся, представив, что сейчас отправится во мрак, оседлав череп; он подумал даже: наружность и вправду обманчива, что, если мисс Муффе — ведьма, а госпожа Сфинкс ужасна и ненасытна?

— А как зовут этого мотылька? — спросил Сет, в глубине души зная ответ.

— Бражник Мертвая голова, *Sphinx Acherontia Atropos*, — ответила мисс Муффе. — Ахерон — Река Боли в Преисподней, куда вам предсто-

ит отправиться, Атропа — богиня Судьбы, она ужасными ножницами перерезает нить жизни; однако ничего не бойтесь, ответьте на вопрос Феи — и вы благополучно избежите опасности. Что бы ни встретилось вам в пути, крепче держитесь за Сфинкса и помните, что наружность обманчива и мертвая голова — не лицо Атропы, но всего лишь мягкая подушка; прилягте и чувствуйте себя в безопасности.



И Сет вскарабкался на широкую спину Мотылька, откуда его уже не пугали мертвые глазницы, потому что они превратились в мягкие коричневые подушки, и попрощался с мисс Муффе.

— А что это будет за вопрос?

— Я говорила вам, что Она — источник не

только загадок, но и разгадок, — ответила мисс Муффе. — Так что если вы не станете бояться и будете помнить о том, что наружность обманчива, то, скорее всего, найдете ответ…

— А вдруг не найду? — спросил Сет.

Ответ мисс Муффе был заглушен стрекотаньем огромных крыльев: Мотылек, размеренно взмахивая крыльями, поднялся с земли и, стремительно перелетев через Стену, растворился во мраке.

Можете себе представить, какой ужас и восхищение испытал Сет в пути. Время от времени луну закрывали изогнутые кожистые крылья, иногда внизу серебристо и покойно проблескивала земля. Сначала они летели и летели над океанами и большими городами, лесами и реками, а потом долго спускались по длинному ущелью между скал, которое уходило бесконечно вниз на такую глубину, что звезды над ними померкли. И когда пропали небо, и луна, и звезды, открылся другой, черный мир, освещенный серебристыми мерцающими огнями, пронизанный радужными лучами, источника которых не было видно. Наконец Мотылек опустился на ступени вырубленного в скале храма; густая роща молчаливых и чутких черных деревьев окружала

его. На ступеньке храма сидел совсем маленький бражник, Сфинкс, цвета травы, с золотой изнанкой крыльев; в этом мрачном месте он казался зеленым листочком.

— Моя родственница, — шепнул Ахерон Атропа. — Ее имя — *Proserpinus Proserpina,* она вместе со своим семейством бессменно прислуживает Госпоже. Если хотите, она отведет вас через Сад к Пещере.

Сет спешился и пошел вслед за маленьким зеленым мотыльком. За вратами храма расстилался спящий Сад. Залитые необыкновенно ровным светом, спали закрывшиеся маргаритки в окружении шпалер водосбора, где устроились на покой птицы; дремали деревья, а под ними спали змеи, свернувшись клубком, и ягнята, уткнув носы в копыта, и множество других тварей — все пребывало в покойном, недвижном ожидании.

Мотыльки не спали только; серебристые, светло-коричневые и мелово-белые — они перелетали с цветка на цветок, рассекая неподвижный воздух бесшумными крыльями.

Наконец они пришли к Пещере, из которой потоком изливался свет — то белый, то дробившийся множеством цветов. На свету танцевали мотыльки, а вход в Пещеру закрывал плотный

занавес из живых шелковых нитей, находившихся в непрестанном движении. Над входом была надпись: «Я есмь то, что было и что будет. Ни один смертный до сих пор не поднимал моего покрова». Прозерпинус Прозерпина заплясала перед золотыми шелковинками, которые словно вырывались из чрева света внутри Пещеры. А там стоял Некто с длинным жезлом или веретеном в руке, но за живой шелковой вуалью, которую Некто прял, его нельзя было разглядеть. Сету показалось, что в золотом свете он увидел лик необычайной красоты, но в следующий момент ему почудилось, что перед ним разъяренный лев, жарко дышащий и скалящий окровавленные зубы. Сет пал ниц и взмолился:

— Прошу тебя, помоги. Я пришел издалека просить твоей помощи.

Маленький грязно-коричневый мотылек с иероглифическими значками на крыльях сказал ему:

— Я — *Noctua Caradrina Morpheus,* я служу здесь Властелином снов. Тебе велено лечь в пыли у порога, спать и видеть те сны, что придут к тебе, — и дурные и добрые.

Сет ответил:

— Отчего бы и не поспать. У меня уже глаза

слипаются. Да, я, пожалуй, посплю прямо здесь, на голой земле.

После чего он улегся в пыль, у порога Пещеры, а грузный Карадрина Морфей принялся летать над ним, посыпая ему глаза бурой, мелкой, как сажа, пылью, и Сет заснул глубоким сном. Ему снилось, как чьи-то добрые руки касаются его лба и чье-то горячее, кровавое дыхание обдает ему ухо; он услыхал, как кто-то кричит ему: «Не бойся», а кто-то другой говорит: «Мне все одно, все умрет»; он увидел, как все сущее широким потоком устремляется к водопаду, как вся эта масса материи — жидкость и твердь, кровь и шерсть, перья, листья и камни вперемешку — низвергается со страшной высоты; дико вскрикнув, он проснулся и увидел прежний ровный свет.

А потом Некто за занавесом заговорил с ним низким голосом, не мужским и не женским, и спросил, кто он такой и чего желает. Сет рассказал и попросил помочь ему и его товарищам.

Некто сказал:

— Я смогу тебе помочь, если ты ответишь на мой вопрос.

Сет ответил:

— Попытаюсь. Большее мне не под силу.

— Вопрос мой таков: как меня зовут?

Множество имен пронеслось в мозгу Сета — имена фей, богинь, чудовищ, шумевшие у него в ушах, как быстрый поток. Но выбрать он ничего не смог, в таком был оцепенении.

— Говори, Сет. Ты должен назвать меня по имени.

— Как я могу назвать тебя, у кого имен больше, чем у всех тварей, вместе взятых, притом что у каждой их множество: Эльпенор, например, вдобавок еще и ястреб, и свинья, и любовник сумерек, и сфинкс, а ведь он всего лишь крошечный розовый мотылек? Как могу я тебя назвать, когда ты прячешься за покровом, и убежище твое соткано тобой, и этот свет — твое творение? Что тебе имя, которое я изберу? Я не могу назвать тебя, но надеюсь на твою помощь, потому что госпожа Муффе сказала, что ты поможешь, стоит тебе захотеть, и я от всей души верю, что ты — добрая…

При этих его словах все мотыльки пустились в неистовую пляску, а свет за шелковым пологом всколыхнулся от хохота. Некто ответил:

— Ты великолепно разрешил загадку, конечно же, я добрая, и одно из моих имен, одно из лучших моих имен — Доброта. Я известна как госпожа Доброта во многих местах, и ты, доверившись

мне, разгадал загадку. И я тебе помогу: отошлю обратно в Сад госпожи Коттитоэ Пан Демос вместе с Карадрином Морфеем, он проберется во дворец и в Сад и, рассыпав волшебную пыль, повергнет всех в глубокий сон. Кто-то увидит сладкие сны, а кто-то — кошмары, ибо, хотя с виду Карадрина Морфей мал и неказист, у него другое имя, иная ипостась, его наружность обманчива — он ко всему еще и Фобетор, то есть Внушающий ужас. Он твой верный союзник, но власть его над госпожой Коттитоэ Пан Демос недолговременна, ибо сила воли госпожи Коттитоэ велика, и даже в своих черных снах она может разрушить его чары. Так что поторопись выручить заколдованных тварей, прикоснувшись к ним вот этой былинкой, имя которой — Моли. Таким же образом ты вернешь прежний облик и себе. Здесь, как ты мог заметить, ты принимаешь множество форм и размеров — ты таков, каким отражаешься в моей зенице; ты не видишь ее, ибо она — по сю сторону полога; она то сокращается, то расширяется до огромных размеров и становится похожа на черную луну, на зрачок исполинской кошки. То, что я вижу и что отражает мой глаз, и есть твоя внешняя оболочка, и в ней, как в куколке Атропы, заключено то, чем ты можешь стать. Ку-

колка — это ведь как маленькая девочка, которой суждено вырасти. Так и ты, Сет, мал в моих глазах, а стоит мне мигнуть, либо вырастешь в них, либо уменьшишься, либо исчезнешь вовсе. Если ты мудр, ты видишь мою зеницу, если же нет — безжизненную куколку. Все сущее однолико и двойственно. Внешний вид обманчив.

Некто за пологом рассмеялся, и чуть вздохнул, и, наверное, моргнул, ибо Сету удалось наконец отвести зачарованный взор — и вот уже мягкий Атропа, стрекоча крыльями, несет его назад, а бок о бок с ними порхает Карадрина Морфей.

Все вышло так, как предсказала Доброта. Они дождались вечерней тени у стены Сада, и Морфей, точно гонимый ветром пожухлый листочек, перелетел лужайку и впорхнул в зал. Здесь он расправил крылья и сделался огромен, точно орел; встряхнув крыльями, он запорошил зал темно-коричневой пыльцой. И козел, и телочка, и спаниель застыли на месте, словно ледяные или мраморные изваяния, а госпожа Коттитоэ потянулась к чудищу серебряным посошком, но, вдохнув пыльцу, чихнула, как старушка, взявшая большую понюшку табаку, да так и застыла. Тогда Сет поспешил в свинарник и расколдовал своих товарищей; вначале они только озирались да

моргали, а потом пришли в такое волнение, что едва не раздавили Сета, поскольку он позабыл вернуть себе прежний вид. Когда же он, словно по волшебству, именно по волшебству, вырос рядом с ними, их радости и удивлению не было предела.

Они торопливо двинулись прочь из дворца навстречу новым приключениям, и Сет услыхал, как кто-то жужжит у самого его уха: черная, долговязая и худая госпожа Муффе, ростом с его мизинец, летела рядом на серебристой шелковинке, расправив, будто крылья, серую мантию, и ее очки сверкали от радости. Сет поблагодарил ее и поспешил дальше, ибо им надо было поскорее уйти, не дожидаясь, когда Сад огласится гневным криком госпожи Коттитоэ Пан Демос.

Полет фантазии мисс Кромптон очень удивил Вильяма. Он почувствовал непонятную неловкость — отчасти потому, что не мог вообразить, что это именно она написала сказку. Мисс Кромптон казалась особой весьма сдержанной, а эта сказка, пусть и написанная забавы ради, была проникнута сильным чувством. Несколько дней он держал сказку у себя, и все это время Мэтти избегала его. В конце концов он набрался храбрости, собрал страницы, исписанные ее разборчивым

почерком, и однажды утром заговорил с ней:

— Хочу вернуть вам ваше сочинение. Я удивлен, восхищен. Оно очень живое, яркое. Поверьте, я не уставал удивляться, сколько там неожиданного.

— О, — сказала мисс Кромптон. И добавила: — Я увлеклась. Со мной такое случается редко, почти никогда. Меня заинтриговали гусеницы — помните, малышка Эми принесла в дом большого слонового мотылька и сказала, что нашла ящерицу? Тогда я подумала, что эта гусеница… какая-то ползающая метафора… принялась выяснять происхождение ее имени и уже не могла остановиться. Меня будто что-то тащило за собой против моей воли, увлекало… в тайны языка… все эти имена: Сфинкс, Морфей, Томас Муффе… моим Гермесом был Линней, правда его в сказке нет.

— Все поразительно самобытно.

— Боюсь, — мисс Кромптон тщательно подбирала слова, — вышло чересчур назидательно. То есть чересчур много фактов. Вам не показалось, что фактов в избытке?

— Нет, ничего подобного. У меня возникло ощущение сгущающейся тайны, как будто ваш поразительный Сфинкс сам загадал мне загадку. Маленькие читатели найдут в сказке много полезных сведений, но и прочитают ее с огромным

удовольствием.

— О, — опять сказала мисс Кромптон и добавила: — Я хотела сочинить правдивую историю со сказочными персонажами, а не просто аллегорию.

— Я подумал, уж не Церковь ли олицетворяет госпожа Коттитоэ. Ее посох напоминает епископский жезл. А красивые аллегории, связывающие религию с бабочками… ведь *психе* значит «душа», а «бабочка» по-гречески как раз…

— Уверяю вас, я не ставила перед собой глобальных целей. Смысл сказки целиком отражен в названии.

– *Внешний вид обманчив,* — проговорил Вильям. — Это уж точно. Очень поучительно. Вы могли бы написать и о том, как безобидные бабочки подражают окраской ядовитым, — этот вид мимикрии наблюдал Бейтс…

— Могла бы, конечно. Но сказка и без того длинновата. Я рада, что она вернулась ко мне.

— Мне кажется, вам стоит продолжать писать, и в том же духе. У вас очень богатое воображение.

— Спасибо, — сказала на прощание мисс Кромптон почему-то неожиданно резко.

Весной 1863 года Евгения разрешилась Мэг и Арабеллой, двумя мягкими, бледными малышка-

ми, одинаковыми, как белые горошины одного стручка. Летом Вильям с педантичностью ученого исправил и дополнил свои наблюдения над муравьиными колониями; ему удалось наблюдать спаривание *sanguinea,* а также лесных муравьев, что побудило его к эксперименту, закончившемуся *coup de théâtre*[40]. В стеклянное гнездо лесных муравьев в классной комнате он поместил пару маток *sanguinea,* предположительно недавно оплодотворенных, которых подобрал после брачного полета.

«Теперь я расскажу о терпении и хитроумии, о решительности и мощи родового инстинкта. Маленькая матка терпеливо ждала снаружи, не оказывая никакого сопротивления атаковавшим ее рабочим муравьям колонии, но только покорно склоняла голову и отступала, уклонялась от схватки; в гнездо она вернулась, лишь когда городские часовые вышли в дозор. Она потихоньку пробралась по узким ходам к центру гнезда. Несколько раз ей грозило нападение, и она затаивалась, как кролик перед приближающейся гончей. Один защитник города, более нервный или же более мудрый, чем другие, решительно

**[40] Примечания: 40**
Очень неожиданно *(фр.).*

на нее набросился; он цеплялся за нее и жалил, пытаясь прокусить новенькие рубиновые доспехи молодой принцессы. Тогда незваная гостья приподнялась и нанесла ответный удар: схватив жвалами голову нападавшего, она аккуратно отделила ее от туловища. Дальнейшие ее действия воистину поразительны, если учесть, что она только-только покинула защитную оболочку куколки и вряд ли имела время разобраться, кто друг и кто враг. Подобрав жалкие останки своего доблестного противника, она поползла прямо к центру гнезда, неся мертвое тело перед собой. Это, должно быть, настолько сбило с толку обитателей гнезда — а также замаскировало чужие для них облик и запах, — что новоявленной Медее удалось прокрасться в туннель по соседству со спальней маток Стеклянного гнезда. Здесь она улеглась, перегородив проход трупом врага, и осталась лежать неподвижно, не теряя при этом бдительности. Увы, она была голодна: мы не заметили, чтобы в течение этого времени она принимала пищу. Наконец, послушная некоему внутреннему осведомителю, сообщившему ей о том, что́ находится за тонкой земляной стеной, она принялась разрывать эту стену, пока не вломилась в палату владычиц, где рабы выли-

зывали их большие тела и откуда относили их яйца в инкубатор. Красная царица осмотрелась и пошла в наступление. Черные матки раздулись от яиц и раскисли от роскоши в своем гареме. Они не ожидали нападения и не смогли ответить захватчице с яростью, достойной ее напора, так что скоро она оседлала одну несчастную и одним точным движением жвал снесла ей голову. Няньки и служанки беспорядочно засуетились, но никто не выступил против цареубийцы, которая, лишившись сил, легла, не ослабляя своей убийственной хватки.

Прошел не один день, но царица не разжимала объятий. Она все смелее передвигалась по спальне — неизменно, если можно так сказать, верхом на оболочке мертвой соперницы; можно было вообразить, что она дух или демон, вселившийся в игрушечную царицу. Потом она отложила первые яйца, и лесные муравьи раболепно подхватили их и перенесли в колыбель, словно эта кукушка и самозванка была подлинной наследницей умерщвленной царицы. Ее яйца значительно отличаются от яиц соперниц, но, по-видимому, нянькам это безразлично; они считают их своими, потому что убийца их несчастной владычицы все еще сохраняет запах

убиенной. Красные малыши будут вылупляться вместе с черными, станут трудиться сообща — и, кто знает, быть может, их станет больше, чем лесных муравьев, — тогда очертания дворца изменятся и колония в своем нынешнем виде вымрет. Может случиться и так, что их род захиреет и Стеклянное гнездо перейдет к прежним правителям. А мы из года в год, зимой и летом станем наблюдать и ждать, не раскроет ли нам Подземное царство других своих тайн…»

В начале осени, когда активность обитателей гнезда сошла на нет, книга была закончена, и страницы с научными выкладками и размышлениями Вильяма и точными пояснительными рисунками мисс Кромптон были сложены в аккуратную стопку и переписаны твердой рукой мисс Кромптон. Вильям написал другу в Британский музей и спросил его среди прочего, в какое издательство лучше отослать работу, которую он собирается написать, после чего мисс Кромптон упаковала рукопись и под предлогом покупки новых зимних ботинок отправилась в ближайший город.

— Я не доверяю начальнице нашей деревенской почты: она тут же расскажет всем и каждому, что нами отправлена посылка — и куда отправлена.

Мы ведь не хотим привлекать внимания к тому, что в принципе может не состояться, верно? А вот когда книга уже будет в красивом переплете и готова для рецензирования, тогда нам придется открыться. Но до этого еще далеко.

— Я хотел включить в книгу несколько ваших сказок. В ней уже есть в качестве иллюстративного материала несколько стихотворений Клэра, Вордсворда, Мильтона и других, но нет ни одной вашей басни.

— Меня смутили содержание и длина. Но затем я собралась с духом и решила написать целый сборник таких сказок. Мне очень хочется иметь свой доход. Вас это не шокирует? Не могу выразить, как хочется.

— Жаль только, что вы чуть раньше не взялись за перо.

— О, я ждала своей музы. И знаете, кто меня вдохновил? Наши муравьишки.

Когда от мистера Смита пришло ответное письмо, еще не настало время сообщить Алабастерам, что отныне он, Вильям, писатель. Мэтти Кромптон принесла письмо в его рабочую комнату, где он набивал мексиканскую птичью шкурку, с которой пришлось изрядно повозиться. Никогда прежде не видел он Мэтти такой оживленной:

желтоватые щеки ее раскраснелись, дыхание было неровным. Он подумал, что она, должно быть, недели напролет с терпением хищной птицы ожидала появления почтальона. Она стояла в дверях, вся напрягшись, спрятав в юбках стиснутые кулачки, пока Вильям читал письмо сначала про себя, а потом полушепотом вслух:

*Уважаемый мистер Адамсон!*

*Хочу сердечно поздравить Вас с Вашей великолепной «Естественной историей». Это одна из тех книг, которые сейчас необходимо выпускать как можно больше. В ней есть все, чего только можно пожелать: изобилие фактических сведений, полезные размышления, драматизм, юмор и обаяние. Я очень рад, что Вы остановили выбор на нашем издательстве, и надеюсь, ничто не помешает нашему сотрудничеству, которое, в этом нет сомнения, обещает стать весьма плодотворным.*

Мэтти Кромптон глубоко вздохнула и бессильно прислонилась к дверному косяку:

— Я знала с самого начала. Знала. Но очень боялась…

— Мне едва верится…

— Не обольщайтесь пока. Я понятия не имею, какой доход принесет книга, если она будет

иметь успех…

— Я тоже… тоже. — Он помолчал. — Мне бы не хотелось ничего говорить сэру Гаральду. Его работа над книгой совсем застопорилась. Вчера он изорвал в клочья значительную часть рукописи. Я чувствую, что не оказываю ему должной поддержки.

— Я понимаю…

— Стоит ли открываться? Ведь еще неизвестно, чем все это кончится. Не лучше ли нам по-прежнему держать язык за зубами? Все у нас шло хорошо… пока…

— Я буду рада, если все останется как есть. И тем больше будет потрясение… я хотела сказать изумление, когда мы наконец сообщим, чем все это время были заняты.

К тому же, правда об этом Вильям умолчал, его отношения с Алабастерами стали несколько натянутыми из-за недавнего *contretemps*[41] с Эдгаром. Однажды он заметил — он был так занят другими вещами, что далеко не сразу понял это, — Эми, маленькая тараканья фея, больше не бегает по коридорам с ведрами и в выходные дни не появляется у выгона. Спустя некоторое

---

**[41] Примечания: 41**
Столкновения *(фр.).*

время он осознал, что ее вообще нет в доме. Он спросил мисс Кромптон, известно ли ей, где Эми; и мисс Кромптон коротко ответила, что девочку уволили. Вильям не хотел углубляться в подробности, но, когда между делом он спросил о том же Тома, сына садовника, тот внезапно разразился взволнованной тирадой и столь же внезапно, спохватившись, умолк:

— Эми затяжелела, сэр, сейчас она в работном доме или будет там не сегодня завтра, а ведь она сама еще ребенок. Она такая безвольная, сэр, даже не знаю, как ей быть, бедняжке, ума не приложу…

Вильям вскипел: он вспомнил сцену на кухне, вспомнил Эдгара и покорно согнувшуюся Эми. Не раздумывая, он направился во двор конюшни, где Эдгар седлал Айвенго.

— Я хочу с вами переговорить.

— О чем еще? — не поворачивая головы, бросил тот.

— Надеюсь, вы не причастны к тому, что случилось с бедняжкой Эми.

— Мне ничего не известно и нет никакого дела до «бедняжки Эми».

— Я полагаю, вы *лжете*. Несчастная девушка попала в беду, и в том виноваты вы.

— Уж очень вы горазды делать поспешные умозаключения. И потом, не пойму, как это касается вас.

Эдгар выпустил подпругу, которую затягивал на брюхе Айвенго, и с легкой улыбкой на бледном лице взглянул на Вильяма.

— С чего это вы так о ней волнуетесь? — медленно и отчетливо выговорил он.

— Из простого человеколюбия. Ведь она совсем дитя. И она мне по душе, я переживаю за нее… все свое детство она лишь тяжко трудилась.

— Так вы социалист! Из тех, что «переживают» за маленьких трудяг. Позвольте же спросить: каков результат ваших пресловутых «переживаний»? Всем вокруг совершенно ясно, что из нас двоих вы проводили больше всего времени с этой особой. Не так ли? Подумайте, как окружающие истолкуют ваше «человеколюбие». Подумайте-ка.

— Какая нелепость. Вы сами знаете, что говорите чушь.

— Я могу ответить тем же: ваше обвинение нелепо. Девушка никому не жаловалась, и вы не сможете опровергнуть мои слова.

— Почему же нет? Я отыщу Эми и спрошу у нее…

— Ничего у вас не выйдет, будьте уверены. Лучше подумайте о том, что́ может решить Евгения. Я ведь могу и ей кое-что сказать.

У Вильяма кровь застучала в висках. Эдгар, заметив его минутное смущение, самодовольно усмехнулся.

— Я бы размазал вас по стене, — сказал Вильям, — но этим Эми не поможешь. Нужно обеспечить ее существование.

— Уж это доверьте тем, кто на такое способен, — сказал Эдгар, — вы в их число не входите. Моя мать пошлет ей подарок. Она здесь хозяйка. Мы и вас щедростью не обошли.

— Я позабочусь, чтобы ей помогли.

— Нет уж, я сам позабочусь. Девушка была в услужении у нас, так что, если вы не желаете продемонстрировать свои переживания Евгении…

Он снова повернулся к коню, вывел его со двора и сел в седло.

— Будьте здоровы, зять. — Эдгар вонзил каблуки в бока Айвенго, и тот, подскочив от неожиданности, зарысил прочь.

У Вильяма не хватило духа поговорить об Эми с кем-либо из женщин: ни с леди Алабастер, ни с Евгенией, ни с Мэтти Кромптон. Разговор с Эдгаром пробудил в нем непомерно сильный и

неодолимый мужской стыд за свою беспомощность и бессилие. Он, конечно, мог бы попросить Тома передать немного денег от него Эми, но какой будет ей прок от этой ничтожной суммы, и, кроме того, его поступок наверняка будет неверно истолкован. И он ничего не предпринял. Очень возможно, что где-то в Бразилии живут темнокожие дети с голубыми глазами и по их жилам течет его кровь, — он ведь никак не позаботился об их благосостоянии, и дети не подозревают о его существовании. Так какое же он имеет право осуждать других? Эдгар прав: дом этот — не его дом и не ему нужно заботиться об Эми. Так он размышлял и колебался, ничего не предпринимая, а между тем время шло, и Эми — с горечью или радостью — готовилась к разрешению от бремени.

Зимой 1861/62 года Эдгар надолго уезжал верхом с гончими или с ружьем; в доме оставались почти исключительно женщины, и там царила еще большая, чем летом, неподвижность. Зимой 1863 года, когда «Муравьиная история» была в печати, Робин Суиннертон довольно неуверенно спросил у Вильяма, нет ли у того желания поохотиться: его лошади нужны упражнения и он может отдать ее под седло Вильяму. Раньше никто из Алабастеров не предлагал Вильяму

охотиться, полагая, возможно, что охота его не интересует, и теперь из соображений такта или щепетильности по отношению к домочадцам — его домочадцам — ему бы следовало отклонить предложение Робина. Однако он был зол на Эдгара, очень волновался за судьбу книги и оттого постоянно был взвинчен. Ему не сиделось дома без дела. Поэтому он принял предложение Робина и пару раз выезжал на его кобыле Красотке, которая по-кошачьи изящно брала барьеры, хотя в поле была не из самых быстрых. Вильям был почти счастлив, проезжая серым утром по свежему английскому полю и вдыхая запах, исходивший от вычищенной шкуры, теплой гривы и лоснящейся шеи Красотки, и — вместе с этим животным запахом — всепроникающий аромат осени, стерни и папоротника, запах костра, резкий запах листьев боярышника, который неожиданно — когда Красотка, навострив уши, встала на дыбы, так что воздух засвистел и под копытами чавкнула жидкая грязь, — напомнил ему сокровенный запах Мэтти Кромптон, острый запах ее подмышек, смешанный с ароматом лаванды и лимона.

Однажды охотники встретились в соседней деревне, у трактира «Лавр». Эдгар и Лайонел еха-

ли вслед за хозяином трактира туда, где обычно охотились. На месте сбора охотников они не обращали на Вильяма внимания, как будто вне стен Бридли-холла можно было не придерживаться правила, предписывающего элементарную вежливость. С Робином, если рядом не было Вильяма, они здоровались, и поэтому, когда охотничья кавалькада проскакала мимо, Вильям попридержал лошадь и пристроился в хвосте. В тот день охотники быстро разъехались в разные концы поля; Вильям ехал не торопясь по изрытой колеями дороге между высокими живыми изгородями и слышал, как замирают вдали звук рожка и слабое эхо конских копыт. Вот тут-то и нагнал его на крепком низкорослом жеребчике парень с конюшни Бридли, которого он знал лишь в лицо.

— Мистер Адамсон, вас просят вернуться к миссис Евгении.

— Она заболела? Что случилось?

— Не могу знать, сэр. По-моему, ничего страшного, а то мне бы сказали, велели только передать, чтобы вы ехали к миссис Евгении.

Вильям был недоволен. Он развернул коня и, прислушиваясь к рожку и лаю гончих, поскакал назад хорошей рысью: Евгения никогда ниоткуда его не вызывала; по-видимому, дело не терпело

отлагательства. Побежали назад изгороди; Вильям коротким галопом пересек поле и свернул к воротам конюшни.

Конюх взял лошадь под уздцы, а Вильям быстрым шагом прошел в дом. Вокруг не было ни души. На лестнице ему встретилась горничная Евгении.

— Моя жена не заболела?

— Нет, сэр.

— Где она?

— Я думаю, у себя в комнате, сэр, — не улыбнувшись, ответила молодая женщина. — Я причесала ее, унесла завтрак, а она велела, чтобы ее не тревожили до конца обеденного времени. Она у себя.

Девушка вела себя странновато. Как будто что-то скрывала, чего-то боялась и чем-то была взволнована. Она скромно потупилась и пошла вниз по ступенькам.

Вильям поднялся наверх и постучался к Евгении. Тишина. Приложив ухо к двери, он прислушался, уловил внутри какое-то движение, а затем почувствовал, что там затаились и так же чутко прислушиваются. Он подергал дверь — она была заперта. Он снова приложил ухо к двери, потом быстро прошел через свою спальню в туалетную

комнату и без стука распахнул дверь.

Евгения лежала в постели совершенно нагая, накинув на руки и плечи какой-то халатик. Она стала дородной, но кожа у нее осталась по-прежнему шелковисто-белой, прелестной. Увидев его, она покраснела — ее лицо, шея и грудь стали пунцовыми. Рядом с кроватью, в одной рубашке, стоял спиной к Вильяму мужчина. Эдгар. Комнату наполнял запах, который нельзя спутать ни с каким другим, — мускусный, солоноватый, ужасный запах плотской любви.

Вильяма охватило негодование. Он не почувствовал первобытного суеверного ужаса — нет, только отвращение. Увидев, как нелепейше выглядит Эдгар, вообразив, как сам он идиотски разинул рот, он с трудом удержался, чтобы не разразиться мрачным хохотом. Он испытывал унижение, но одновременно ощутил в себе неимоверную силу. Эдгар глухо зарычал, и Вильям прочитал его мысли: лучше всего ему, Эдгару, без промедления, до того как все окончательно прояснится, его убить. Впоследствии он подумал, что Эдгар и убил бы его, пожалуй, не будь застигнут в столь неподходящий момент. Ибо неприкрытый срам, гордый и уверенный пару минут назад в присутствии самки, стано-

вится беззащитным и нелепым, когда в комнате появляется кто-то третий. Вильям коротко велел Эдгару:

— Одевайтесь.

Путаясь в вещах, Эдгар стал одеваться. Уверенность Вильяма росла.

— И убирайтесь отсюда. Сию же минуту.

Ни брат, ни сестра не посмели оправдываться. Даже и не пытались. Эдгару никак не удавалось просунуть ноги в штанины. Он тряс брюками и вполголоса ругался. Вильям пристально следил за ним, а на Евгению даже и не взглянул. Эдгар нагнулся, чтобы надеть ботинки, Вильяму было тошно, и он весь трясся от возмущения, он приказал:

— Возьмите, возьмите их с собой, забирайте вещи и чтоб духу вашего не было.

Эдгар открыл рот, но ничего не ответил. Вильям кивнул на дверь:

— Я сказал: убирайтесь.

Эдгар подхватил ботинки, куртку, хлыст и выскочил.

Вильям посмотрел на жену. Она судорожно дышала. Несомненно, от страха, но эти вздохи очень напоминали знакомые вздохи наслаждения.

— Ты тоже. Одевайся. Прикройся… прикройся

же.

Евгения повернула к нему лицо. Ее губы были приоткрыты, расслабленные ноги все еще разведены. Она подняла дрожащую руку и тронула его за рукав. Вильям отскочил как ужаленный. Он повторил резко:

— Одевайся.

Она медленно скатилась с кровати и стала подбирать одежду. Вещи были разбросаны по всей комнате: чулки лежали на полу, панталоны на стуле, корсет был брошен на табурет.

— Как в публичном доме, — сказал Вильям, сказал то, что подумал, и тем самым выдал себя, но она пропустила это замечание мимо ушей. И тут он вспомнил, как боялся ее замарать. Господи. К горлу подступала тошнота.

Евгения, скорчившись, закрывая груди руками, охая, бегала по комнате.

— Я не могу надеть корсет без Беллы… помоги мне.

— Я не желаю к тебе прикасаться. Оставь его. И поторопись. Мне тошно на тебя смотреть.

Она повиновалась и надела белое платье; без корсета оно висело на ней. Потом села к зеркалу и пару раз механически провела щеткой по волосам. Увидела свое отражение, и из-под ее пре-

лестных ресниц скатилось несколько слезинок. Так она и сидела в нелепой позе перед зеркалом.

— Что ты собираешься делать?

— Не знаю, — признался Вильям и, сделав над собой усилие, обернулся. — Не лги мне, Евгения. Это… ведь это продолжалось все время? Все время, пока я здесь?

Он видел, как ложь за ложью пробегают по ее лицу, — так облака, пробегая, бросают тень на луну. Потом она содрогнулась и кивнула:

— Да.

— Давно? — спросил Вильям.

— С самого детства. Да, с самого детства. Все началось как игра. Ты не поймешь.

— Не пойму.

— Сначала казалось… это не имеет ничего общего с обычной моей жизнью. Как будто что-то… сокровенное, то, чего… делать нельзя, а делаешь. Как когда трогаешь себя в темноте. Тебе этого не понять.

— Да, не понять.

— А потом… потом… я уже собралась выйти за капитана Ханта… но он увидел… увидел… совсем не так много, как ты… но достаточно, чтобы догадаться. И это терзало его душу. Терзало душу. Тогда я поклялась, что покончу с этим…

и покончила… я хотела выйти замуж… хотела быть хорошей и… и как все другие… и я… я все же убедила его, что он… ошибся во мне. Это было очень трудно, ведь он не говорил мне, чего боится… он не мог этого высказать… и вот тогда я поняла… какая это страшная мерзость, какая я дурная. Но только… остановиться мы не могли. Мне кажется, он… Эдгар, — она задохнулась, — он и не собирался прекращать, он… он… сильный… и, понятно, капитан Хант… кто-то все подстроил… он увидел… не много… но достаточно. И он написал нам… ох, — слезы брызнули у нее из глаз, — что, зная обо всем, он, в отличие от нас, не способен жить дальше. Вот что он написал. А потом застрелился. В его столе нашли записку, адресованную мне, там говорилось, что я пойму, зачем он умер, и что он желает мне счастья.

Вильям смотрел, как она плачет.

— Но даже и после того… вы продолжали.

— К кому еще могла я обратиться за утешением? — Она плакала.

Перед глазами Вильяма промелькнула вся его жизнь.

— Ты обратилась ко мне. То есть мною воспользовалась. — Ему чуть не стало дурно. — Значит, дети, в которых так поразительно проявились

ваши родовые черты…

— Не знаю, я не знаю. В самом деле не знаю, — непривычно тонко, с отчаянием выкрикнула Евгения. И принялась нарочито раскачиваться взад и вперед, стукаясь головой о зеркало.

Вильям сказал:

— Поменьше шума. Вряд ли ты хочешь привлечь еще чье-нибудь внимание.

Наступило долгое молчание. Евгения всхлипывала, а Вильям стоял недвижно: гнев и нерешительность боролись в нем. Почувствовав, что нельзя больше ни на секунду затягивать эту невыносимую сцену, он сказал:

— Я ухожу. Поговорим об остальном позже.

— Что ты будешь делать? — спросила едва слышно Евгения.

— Еще не решил. Когда решу, скажу. Подожди. И не бойся, я не покончу с собой.

Евгения тихо плакала.

— Или с ним, — добавил Вильям. — Я хочу быть свободным человеком, у меня нет желания стать убийцей и попасть за решетку.

— Ты ледышка, — сказала Евгения.

— Теперь да, — ответил Вильям, солгав лишь отчасти. Он удалился к себе в комнату и запер дверь изнутри.

Он лег на кровать и, как удивлялся впоследствии, мгновенно провалился в глубокий сон; очнулся он столь же внезапно и сразу не мог припомнить, что же такого ужасного произошло, знал лишь: что-то произошло. А когда вспомнил, ему опять стало тошно; его охватило возбуждение; он не находил себе места и не мог придумать, как теперь быть. Чего только не приходило ему в голову: развестись, бежать, поговорить по душам с Эдгаром и вырвать из него обещание уехать и никогда более не возвращаться. Но сумеет ли он? И захочет ли? Сможет ли сам остаться жить в этом доме?

Тем не менее он встал с постели, переоделся в домашнее платье и спустился к обеду, на котором все, если не считать отсутствия Эдгара и Евгении, было как обычно по вечерам: Гаральд произнес благодарственную молитву, младшие девочки препирались из-за чего-то, задумчиво причмокивала леди Алабастер. Беззвучно и неприметно слуги вносили блюда и уносили грязную посуду. После обеда предложили поиграть в карты, и Вильям решил отказаться, но, когда они шли по коридору в гостиную, куда подавали чай, Мэтти Кромптон спросила:

*– О рыцарь, что гнетет тебя,*

— Вам кажется, что я угнетен? — спросил Вильям, силясь говорить бодро.

— Вас будто одолевают мрачные раздумья, — ответила его соратница. — И если позволите, вы заметно бледны.

— Мне так и не удалось проехаться галопом, — ответил Вильям. — Меня вернули… — Он замолчал, впервые задумавшись над тем, как странно его заставили вернуться.

Мисс Кромптон, казалось, ничего не заметила. Она заручилась его поддержкой для игры в анаграммы против леди Алабастер, старших детей и мисс Фескью; последняя неизменно бралась помогать леди Алабастер. Все расселись вокруг карточного столика при свете керосиновой лампы. «Как они безмятежны, — подумал Вильям, — как невинны, им так хорошо у себя дома». Суть игры заключалась в том, чтобы составлять слова из карточек с буквами, премило расписанных арлекинами, мартышками, коломбинами и чертями с вилами. Каждый получал девять букв и, составив из них слово, передавал карточки рубашкой вверх любому игроку; тот должен был заменить в слове по меньшей мере одну букву и передать его дальше. Из игры нельзя

было выйти, пока у тебя на руках оставались карточки с чертями; черти распределялись наудачу — на одних были малополезные буквы, вроде «Q» и «X», на других — буквы, пользующиеся спросом, например «E» и «S». Вильям думал о своем и играл невнимательно, передавая слова вроде *was, his* и *mine*[42], и копил чертей. Но, увидев у себя PHXNITCSE, он очнулся и понял, что может преподнести Мэтти Кромптон слово INSECT[43], хотя у него и останется буква «X» с чертом. Лицо мисс Кромптон скрывала тень; увидев слово, она фыркнула, некоторое время соображала, потом переставила карточки и двинула их по столу обратно. Он уже собрался указать ей на то, что правила игры не разрешают возвращать слово, не прибавив и не отняв ни буквы, — и увидел, что она ему прислала. Буквы невинно лежали в его ладони: INCEST[44]. Он поспешно уничтожил улику, перетасовав карточки, и, взглянув на мисс Кромптон, встретил умный взгляд ее темных глаз.

---

**[42] Примечания: 42**
Был, его, мой *(англ.).*

**[43] Примечания: 43**
Насекомое *(англ.).*

**[44] Примечания: 44**
Кровосмешение, инцест *(англ.).*

— Внешний вид обманчив, — сказала добродушно Мэтти Кромптон.

Вильям взглянул на карты и увидел, что может составить еще одно слово; тем самым он избавится от «Х» и ответит на ее послание. Он пододвинул слово к ней, она снова фыркнула, и игра пошла дальше. Но теперь время от времени их взгляды встречались, в ее глазах Вильям читал осведомленность и… да, да — искреннее волнение. А он не мог решить, рад он или огорчен оттого, что ей все известно. Когда она узнала? Как узнала? Что об этом думает? Она улыбалась ему, но в улыбке ее не было ни сочувствия, ни скабрезности, а скорее удовлетворение и радость. В том, какие ему выпали буквы, было что-то сверхъестественное. У него возникло ощущение — такое чувство порой возникает у каждого, — что, как бы мы ни упирались, нами управляет Случай, потрясения и удары судьбы поражают нас наугад и, что ни говори, есть Промысел, есть Рок, который крепко держит нас в кулаке.

Но возможно, она сама подтасовала его карточки. Она любит загадывать загадки. Ее руки с узкими запястьями двигались уверенно и точно — она передавала Элен слово PHOENIX, ловко сбывая с рук опасную «Х». Кто он для нее: одура-

ченный простак, несчастная жертва? Неужели он всегда виделся ей в таком свете? Внешний вид обманчив, это уж точно. Под конец игры он, улучив момент, шепнул ей:

— Нам надо поговорить.

— Не сейчас. Позже. Я найду время. Позже.

В ту ночь он не мог заснуть. По ту сторону запертой двери была Евгения. Он не слышал ее храпа, вообще не слышал ни звука и несколько раз порывался войти и посмотреть, не покончила ли она с собой. Он решил, что она этого не сделает: не такова ее натура, хотя — после того, что случилось сегодня, — что он может сказать о ее натуре? Все, что было ему о ней известно, опрокинулось. А быть может, не все. Он и раньше понимал, что совсем не знает Евгении. Либо у нее не было никакой внутренней жизни, думал он, либо она так замкнулась в себе, что не подступиться. Как ужасно с ним обошлись. И с ней тоже. Почему же он не жаждет убить Эдгара? Но даже и Эдгар в этой чудовищной ситуации не вызывал у него ненависти. Он преступник поневоле; его самодовольное скотство, его наглость продиктованы обстоятельствами.

Раздался стук, дверь тихо отворилась и впустила темную фигуру. Это была мисс Кромптон,

все еще в дневной одежде: длинной черной шелковой юбке и серой поплиновой блузке. Войдя, она остановилась и молча ему кивнула. Вильям выбрался из постели и завернулся в халат. Он бесшумно проследовал за ней по коридору, они поднялись по ступенькам, пересекли длинную лестничную площадку, застланную веревочным ковриком, и вошли в дверь, которая оказалась дверью ее спальни. Мисс Кромптон поставила свечу на туалетный столик. Комната была узкой и напоминала глубокий ящик; здесь стоял жесткий стул с прямой спинкой и узкая кровать с чугунным изголовьем, аккуратно прикрытая белым кисейным покрывалом. В комнате был еще крошечный книжный шкаф, а книги лежали повсюду: под стулом и под туалетным столиком, все пространство под кроватью было заполнено коробками с книгами. На двери были прибиты крючки, на которых висел хорошо знакомый ему скромный гардероб. Под окном стоял небольшой комод, а на нем — стакан с ворсянкой и маковыми головками. Вот и вся обстановка.

— Садитесь, пожалуйста. Вот стул, — сказала мисс Кромптон. — Надеюсь, мы с вами не походим на двух заговорщиков.

— Нет, — ответил он, хотя у него появилось

такое ощущение. Здесь, в ее комнате, наедине с ней ему было не по себе.

— Вы хотели со мной поговорить, — заметила она, присаживаясь на краешек кровати, будто не зная, с чего начать.

— Вечером вы передали мне одно слово, — сказал он. — А днем кто-то послал за мной человека, чтобы я вернулся домой, где меня не ждали. Совсем не ждали.

— Вы ошибаетесь, если думаете, что за вами посылала я, — ответила она. — В каждом доме есть люди, люди-невидимки, которые в курсе всего, что там происходит; и однажды наступает время, когда *дом* решает, чему следует быть; череда спланированных недоразумений привела к тому, что вы все узнали.

Снова наступило молчание. Они были на ее территории, в ее скромных владениях, и оба чувствовали себя очень неловко.

— Но вам известно, что́ я узнал, — сказал он.

— Да. Рядом с видимыми обитателями дома и невидимками живут другие люди, кого большей частью не замечают ни первые, ни вторые; они по своему усмотрению могут либо знать очень много, либо ничего. Я сама выбираю, что мне интересно, а что нет. Все, что касается вас, мне

было интересно.

— Меня использовали. Меня все время дурачили.

— Пусть так, это уже не столь важно. Я хотела бы знать, что у вас на душе. И необходимо знать, что вы намерены предпринять.

Его удивила необычайная прямолинейность ее вопросов, но он не выказал удивления. И проговорил с трудом:

— Сейчас я полностью во власти одного чувства… я ощутил себя свободным. Я должен бы быть потрясен, жаждать мести… чувствовать себя униженным… временами я все это чувствую… но сильнее прочих чувство, что теперь я вправе уйти, оставить этот дом, вернуться к настоящей работе. Но этого делать нельзя. У меня пятеро детей, жена и никакого собственного дохода… хотя, конечно, я мог бы поискать место…

— Вам обещали помочь снарядиться в путешествие на Амазонку…

— Теперь я не могу взять у Алабастеров ни гроша. Уж вам это должно быть понятно; я склоняюсь к мысли, что вы видите все. Мне необходимо уехать — как можно скорее. И никогда больше не возвращаться. Возмездие не по мне. Я… попрошу у Эдгара денег для Эми — мне безразлично, что об

этом подумают, я добьюсь, чтобы Эми получала пожизненно небольшую пенсию… и тогда уеду. И больше не вернусь. Никогда не вернусь.

Едва сказав это, он ощутил сильное волнение.

— Только вас мне будет не хватать. В глубине души я не испытываю никаких чувств к этим… бледным детям.

— Это вам сейчас так кажется.

— Нет-нет. Я вправе уехать. И уеду. Моя… наша книга принесет немного денег… остальные я заработаю.

— Я продала свои сказки, — сказала Мэтти Кромптон.

— Я не могу взять… ведь вы предлагаете… простите.

— Я кое-что предприняла, — сдавленным голосом произнесла Мэтти Кромптон. — Ваше дело согласиться или отвергнуть. Я… я получила чек от Джорджа Смита… денег более чем достаточно, и письмо от мистера Стивенса: он предлагает обсудить покупку образцов, а также письмо от некоего капитана Папагая; через месяц его судно уходит из Ливерпуля в Рио. У него есть две свободные койки.

— Вы поистине добрая фея, — сказал Вильям чуть ли не с обидой. — По мановению вашей

волшебной палочки я получаю желаемое, даже не успев высказать своего желания.

— Я всего лишь наблюдаю, придумываю, пишу письма и изучаю вас, — ответила Мэтти Кромптон. — Вы этого сами хотите. Вы только что сказали.

— Две койки… — проговорил Вильям.

— Я еду с вами, — сказала мисс Кромптон. — Вы заразили меня горячим желанием побывать в раю, и я не успокоюсь, пока не увижу Великую реку и не вдохну воздух тропиков.

— Вам нельзя, — возразил Вильям. — Подумайте о лихорадке, об ужасных насекомых-кровопийцах, подумайте об однообразной и скудной пище, о грубом народе, который там живет, о пьяном разгуле…

— Но вы же стремитесь туда.

— Я не женщина.

— Вот как. Ну а я женщина.

— Женщине там не место…

— Но там живут женщины.

— Да, но не такие, как вы.

— Откуда вы знаете меня?

Она поднялась и принялась расхаживать по комнатушке, как узник по камере. Он молча наблюдал за ней. Она сказала:

— Вы ведь не видели во мне женщину. Пусть и дальше будет так. Вы так и не разглядели меня. — В голосе ее появилась непривычная суровость. — Вы ничего обо мне не знаете. Не имеете представления о моем возрасте. Ведь так? Признайтесь: на ваш взгляд, мне где-то между тридцатью и пятьюдесятью?

— Если вам так хорошо известно, что я о вас думаю, значит вы сами постарались внушить мне эти мысли.

Однако она сказала правду. Он не имел представления о ее возрасте, думая, что ей с равным успехом могло быть и пятьдесят, и тридцать. Она все мерила комнату шагами. Вильям спросил:

— Так все же сколько вам лет?

— Двадцать семь, — ответила Мэтти Кромптон. — У меня только одна жизнь, и двадцать семь лет уже позади. Теперь я намерена жить по-настоящему.

— Но только не в сельве, не на Амазонке. Эсмеральда кажется земным раем, пока не разглядишь, что все дома там плотно закрыты, вся жизнь — растительная, не животная, что лицо бедняка в струпьях от укусов москитов, его пища ими кишит и руки искусаны в кровь. Амазонка во многом напоминает ад Данте.

— И все же вы возвращаетесь.

— Меня ждет работа. И я привык к той жизни.

— Я привыкну. Я выносliва. Моя жизнь была далеко не безмятежна, как может показаться. Я способная и находчивая. Вы сможете забыть обо мне, едва подойдет к концу плавание.

— Пустые мечты.

— Нет. Я добьюсь своего.

Он едва узнавал прежнюю насмешливую и практичную мисс Кромптон. Она сделала несколько шагов и повернулась на каблуках, уперев руку в бок.

— Мисс Кромптон, Мэтти…

— Меня зовут Матильда, — сказала она. — По вечерам в этой комнате нет никакой Мэтти. Только Матильда. Посмотрите на меня. — Она подняла руки к голове, вытащила шпильки, тряхнув головой, распустила волосы, а потом подошла и стала перед ним. На ее обрамленных темными прядями лице читались порыв, желание, голод.

Увидев ее преображенной, Вильям сказал:

— Я видел ваши руки, Матильда, и часто думал о них. У вас замечательные руки.

— Мне просто хотелось, чтобы вы разглядели меня, — сказала Матильда немного неуверенно: она поняла, что он уже это сделал. У нее были

высокие, резко очерченные скулы, а губы твердые, не мягкие, но полные жизни. И гибкая талия — Вильям невольно сравнил ее с борзой.

Он сказал:

— Неужели вам только этого хотелось?

— Я еще хочу, чтобы ты был счастлив, — пылко ответила Матильда.

Вильям встал, посмотрел ей в глаза и обнял за талию.

— Я буду счастлив, — сказал он. — Обязательно.

И притянул ее к себе — эту неподатливую Мэтти Кромптон, эту незнакомую страстную Матильду.

— Мне остаться? — спросил он. — Или уйти?

— Хочу, чтобы ты остался, — ответила Матильда. — Правда, здесь неудобно.

— Если мы отправимся в путешествие вдвоем, такое неудобство покажется нам райским уютом.

В этом смысле, да и во многом другом, он оказался прав.

И вот две последние картины. Вильям направился к Евгении, чтобы сообщить о своем решении. Она сказалась всем больной; еду приносили к ней в комнату, что было делом обычным, и потому не вызвало пересудов у домочадцев.

Вильям послал к ней ее горничную, передав, что кое о чем желает с ней переговорить. Войдя, он увидел, что она очень тщательно позаботилась о своем *toilette*[45]. На ней было серебристо-серое шелковое платье с ярко-синими лентами и букетиком розеток на груди.

Евгения выглядела старше. Исчезла холодная дымка во взоре, его сменили податливость и неприкрытая чувственность.

— Стало быть, ты принял решение, — сказала она. — Какова же моя судьба?

— Меня, признаться, больше занимает моя собственная. Я решил оставить тебя. Я уезжаю исследовать верховья Рио-Негро. И не намерен возвращаться в этот дом.

— Выписать тебе чек на проезд, издержки и тому подобное?

— Не надо. Я написал книгу. Денег у меня достаточно.

— Ты не собираешься ни с кем говорить… никому не расскажешь?

— Кто в силах пережить подобную весть, Евгения? Я могу пожелать только одного: оставайтесь и живите как умеете.

---

**[45] Примечания: 45**
Туалет *(фр.)*.

— Я знаю, что это ужасно, — сказала Евгения. — Знаю, это ужасно, но пойми, я не чувствовала, что поступаю дурно, — все получилось исподволь, вначале это была совершенно невинная и естественная игра, не казавшаяся грехом; не было ни одной живой души, с которой я могла бы поделиться… прости, что рассказываю тебе… вижу, тебя это привело в бешенство, а ведь я старалась делать все, чтобы ты полюбил меня… если бы я могла хоть с кем-нибудь поделиться, я, наверное, поняла бы, как это ужасно. Но… ему это не казалось дурным… он говорил, что одним нравится выдумывать правила, а другие любят их нарушать… он внушил мне, что это абсолютно естественно, да оно и было естественно, ничто в нас не взбунтовалось, не подсказало, что это… неестественно.

— Коннозаводчики знают, — сказал Вильям, — что даже двоюродных лошадей лучше не спаривать — это чревато наследственными дефектами…

Евгения опустила ресницы:

— Какие жестокие слова.

Она нервно сжимала лежавшие на коленях руки. Занавеси были наполовину задернуты, чтобы не попадал солнечный свет и чтобы скрыть следы

слез. Евгения была прекрасна, самодовольна и безнравственна, и Вильям почувствовал, что она ждет его ухода, чтобы снова оказаться в своем замкнутом мирке, продолжить любить себя и лелеять. Случившееся причинило Евгении дискомфорт, и он намерен устранить его причину, то есть самого себя. Он сказал:

— Морфо Евгения. Ты великолепна.

— Но много ли мне радости, — возразила Евгения, — оттого, что я хороша и мною восхищаются? Я хочу быть другой.

Она поджала губы, широко открыла глаза и с надеждой устремила на него взор, но Вильям не мог ей поверить.

— Прощай, Евгения. Я не вернусь.

— Как знать, — ответила она неопределенно, уже забывая о нем, и с облегчением вздохнула.

Вторая картина совсем не похожа на первую. Представьте, как маленький крепкий корабль «Калипсо» несется ночью по волнам Атлантики; до земли далеко, и не скоро конец путешествию. По глубокому сине-черному небу течет, мерцая, звездная Млечная река; солнца, луны, миры, большие и маленькие, рассыпаны по небу, как семена. Глубокое сине-черное море испещрено зелеными гребешками волн; море волнуется,

морщится, и соленые серебряные брызги и пена поднимаются на гребешках. Море, как и небо, пронизано свечением: мерцают анимакули; шевеля тоненькими усиками, проплывают медузы, и кажется, что в море отражается густое звездное месиво. Вильям и Матильда стоят на палубе и, свесившись через поручни, смотрят, как нос корабля рассекает пучину. На Матильде малиновая шаль, волосы стянуты полосатым шарфиком; ветер развевает ее юбки. Ее смуглая рука — на поручне, и Вильям сжимает ее своей, тоже смуглой. Они вдыхают соленый воздух и надеются, и в предвкушении будущего кровь их убыстряет свой бег по жилам; здесь — на вершине океанской волны, на пути от опрятных зеленых полей и живых изгородей к извилистому, буйно заросшему лесом южноамериканскому побережью — здесь мы их и оставим.

Мимо идет капитан Артуро Папагай — это его первое плавание в должности капитана, — идет и улыбается им во весь рот; у него удивительная улыбка: белые зубы на фоне золотисто-коричневой кожи, веселые черные глаза. Он принес мистеру Адамсону диковинку. Это бабочка, мичман нашел ее на такелаже. Бабочка янтарно-золотая, с темной каймой на крыльях, крылья

потрепаны, даже надорваны.

— Это монарх, — оживленно восклицает Вильям, — *Danaus Plexippus.* Мигрируя по американскому побережью, он пролетает огромные расстояния. Монархи — прекрасные летуны, — рассказывает он Матильде. — Но сильный ветер может унести их далеко в открытое море.

Матильда, обращаясь к Вильяму и капитану Папагаю, замечает, что на крыльях бабочки еще сохранилась пыльца.

— Смотрю на нее, и чувства захлестывают меня, — говорит она. — И не могу разобраться, что это — страх или надежда? Она такая хрупкая, ничего не стоит ее раздавить, она давно сбилась с пути и все же до сих пор жива, по-прежнему яркая и удивительная, надо лишь уметь это видеть.

— Это самое главное, — говорит капитан Папагай. — Главное — жизнь. Пока жив, все вокруг удивительно, надо лишь уметь видеть.

И вот уже они с удвоенным интересом отыскивают в темноте огоньки.



# Ангел супружества



# I

Лилиас Папагай старалась не давать воли воображению. В ее ремесле оно было необходимо, но, поскольку вызывало подозрительность, его приходилось сдерживать, обуздывать. Софи Шики, обладавшая способностью видеть своими глазами и слышать своими ушами гостей-призраков, была заметно флегматичнее и приземленнее. Так что они стали отличной парой медиумов[46]; миссис Папагай интуитивно почувствовала, что у них все будет отлично получаться, когда ее соседка миссис Поуп впала в истерику, услышав, как новая гувернантка беседует в детской с кузиной Гертрудой и ее малышом Тобиасом, утонувшими

---

**[46] Примечания: 46**

Общение с духами при помощи медиумов, или спиритизм, пришло в Европу из Соединенных Штатов — основатель теории спиритизма американец Эндрю Джексон Дэвис (1826–1910), сын сапожника, за несколько лет добился того, к чему человечество шло веками. Все души, утверждал Дэвис, и живые и мертвые, движутся по пути самоусовершенствования. Физическая смерть облегчает и ускоряет этот процесс, поэтому души умерших знают больше, чем живые. Он полагал, что «настало время, когда два мира, духовный и естественный, оказались подготовлены к тому, чтобы встретиться и обняться на почве духовной свободы и прогресса». (Цит. по книге Е. Колесова «Тринадцать врат эзотерики».) В 50-х и 60-х гг. прошлого века спиритизмом увлекались практически все. Так, француз Аллен Кардек, активно общавшийся с духами, изложил свой опыт в «Книге духов». «Если не брать случаи чистого шарлатанства, — пишет Е. Колесов, — так называемые спири-

тические сеансы, очевидно, представляют собой просто коллективную медитацию, во время которой медиум находится в состоянии транса».

много лет назад.

— Они сидят за столом, — сообщила хозяйке Софи Шики, — а их одежда, хотя совсем свежая и сухая, пахнет соленой водой. Они спрашивают, где часы деда, что стояли в углу детской.

Тобиас любил смотреть, как улыбающиеся солнце и луна на циферблате догоняют друг друга. Миссис Поуп продала часы и не хотела теперь ничего об этом слышать. Миссис Папагай предложила хрупкой, бесстрастной мисс Шики пожить у нее, и та, собрав свои нехитрые пожитки, перебралась к ней. Сама миссис Папагай на сеансах ограничивалась пассивным письмом (по общему признанию, весьма многословным) и считала, что Софи Шики способна творить настоящие чудеса. Софи и в самом деле изумляла и ошеломляла всех, хотя и не часто. Но скупость ее откровений убеждала присутствующих в их подлинности.

Однажды ненастным вечером 1875 года женщины шли по маргитской[47] набережной, направляясь к миссис Джесси на спиритический сеанс. На Лилиас Папагай, шагавшей впереди, было густого винного цвета шелковое платье с оборчатым

**[47] Примечания: 47**

*Маргит* (Маргейт) — город на юго-востоке Англии. Расположен на берегу Северного моря. Из-за обширных песчаных пляжей город уже с XVIII в. популярен как морской курорт.

шлейфом и шляпа, отягощенная загадочно мерцавшим плюмажем из чернильно-черных перьев с изумрудными крапинками, радужно-синими, как стрекоза, и ультрамариновыми пятнами; элегантные хвостовые перья соседствовали с крыльями вроде тех, какие старые живописцы изображали на шлеме и сандалиях Гермеса. На Софи Шики было серо-сизое шерстяное платье с белым воротничком, в руке она держала удобный черный зонтик.

Солнце, огромный багровый диск цвета свежего ожога, опускалось на серую воду, и потоки рубиново-золотого света проливались вниз сквозь сито стальных облаков, как отблеск огня сквозь начищенную решетку камина.

— Взгляни-ка, — сказала Лилиас Папагай, повелительно взмахнув рукой в перчатке. — Видишь Ангела? Он облачен в облако, над головою его радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него книжка раскрытая[48].

Она-то видела, как ноги колосса из облачных мускулов и жил упираются в море, видела его огненно-красный лик и пылающие ступни. Она понимала, что преувеличивает. Но ей так

---

**[48] Примечания: 48**
Откр. 10: 1, 2.

хотелось увидеть, как множество невидимых небожителей плывут к своей цели, затеняя солнце перистыми крыльями. Она знала, что их мир проникает в наш мир, он пронизывает и серый незыблемый Маргит, и Стоунхендж, и Лондон. Софи Шики заметила, что закат сегодня и в самом деле очень живописен. Огненная нога ангела вспыхнула и вытянулась, пустив розовую рябь по хмурой воде. Серое, пухлое, облитое золотом тулово ангела изгибалось и скручивалось.

— Как я люблю смотреть на закат! — сказала Софи Шики.

У нее было бледное, как полная луна, лицо с рябинками от перенесенной в легкой форме оспы, усыпанное кое-где веснушками. Высокий лоб и пухлые бесцветные губы, обычно покойно сомкнутые, как сложенные ладони. Длинные, шелковистые и почти невидимые ресницы; из-под тяжелых темно-русых прядей виднелись уши в прожилках. Она бы не удивилась, скажи ей кто, что солнце и луна для обычного глаза человека постоянного размера, примерно с гинею. А миссис Папагай, вслед за Вильямом Блейком, была склонна видеть в небесных светилах неисчислимое воинство небесное, восклицающее: «Свят, свят, свят Всемогущий Господь Бог», или вместе

с Эмануэлем Сведенборгом[49] видеть легионы небожителей, огненными сферами проплывающих в вышине. Над головой сердитые чайки дрались за лакомый кусочек. Но вот, пронзительно крича и хлопая крыльями, они тучей взмыли ввысь, и ангел миссис Папагай распался на куски и расплавился. Его прощальный свет на миг зарумянил бледное лицо Софи. Они ускорили шаг. Миссис Папагай никогда никуда не опаздывала.

В гостиной миссис Джесси собралась обычная компания. Комната была неуютной; миссис Джесси никогда не заботилась об уюте, кое-где лежала пыль, мебель поцарапана, кружевные занавеси слегка потерты. В застекленных шкафах много книг; вазы и ящики с коллекциями камней и ракушек тоже копили пыль. В окне установлена до блеска начищенная латунная подзорная труба;

---

**[49] Примечания: 49**

*Сведенборг Эмануэль* (1688–1772) — шведский естествоиспытатель, ясновидец и философ. У Сведенборга пробудилось эзотерическое сознание в 1744 г. и открылся дар «ясновидения во времени и пространстве». По Сведенборгу, источник всего сущего — Божественные любовь и мудрость, а разноликость вещей объясняется тем, что вещи приняли разные ипостаси этих Божественных качеств. В силу этого каждая материальная вещь находит соответствие в Божественном. Отец, Сын и Дух представляют единство трех качеств Бога: любви, мудрости и движения. Тройственность Бога соответствует тройственной природе человека, единству души, тела и разума. Сведенборг основал церковь «Нового Иерусалима», в которую и поныне входят его последователи по всему миру.

отдельный шкаф занимали другие навигационные приборы: секстант, хронометр и компасы. На малиновом бархате сияли «Médaille de Sauvetage en Or»[50], выбитая для капитана Джесси по особому распоряжению Наполеона III, и серебряная медаль Королевского общества спасения утопающих, похожая на лунный диск величиной с тарелку. Обе награды капитан Джесси получил, уже выйдя в отставку и поселившись в Маргите: трижды в отсутствие обычной спасательной шлюпки он собирал местных рыбаков, спускал лодку, сам становился к румпелю и выходил спасать корабли, застигнутые в море штормом или сильной волной. Трижды — с французского, английского и испанского кораблей — он спасал всех до единого членов экипажа. Это случилось еще до их знакомства с миссис Папагай, и теперь она готова была часами слушать подробный рассказ капитана об этих таких реальных и таких романтичных спасательных экспедициях и словно воочию видела, как беснуется море, бушуют, ревут, вздымаются и рассыпаются волны, меж бегущих грозовых туч вспыхивают искорки звезд, далекие огни набережной прокалывают кромеш-

**[50] Примечания: 50**
Золотая медаль за спасение утопающих *(фр.).*

ную тьму, а бесстрашный капитан Джесси умело крепит канаты, окатываемый потоками воды, карабкается по кренящейся палубе, спускается по мокрому трапу в каюту, где кипит и клокочет вода, чтобы спасти маленького юнгу-француза, и надевает на щуплое полуживое тельце свой спасательный пояс, хотя сам, как почти все капитаны, не умеет плавать.

— Ричарду страх неведом, — говаривала миссис Джесси звучным, уверенным голосом, а капитан застенчиво кивал и бормотал, что, мол, правда, страхом природа забыла его наделить, что он действует безоглядно и так, как ему представляется необходимым в ту минуту, что, по его разумению, страх, несомненно, полезен большинству людей, но только ему он неведом, он не знает, что это за штука такая, а ведь верно говорят, что истинное мужество доступно лишь тем, кто умеет бояться; а он, точно принц из сказки, не помнит уже из какой, не представляет себе, что такое чувство страха; хотя вроде, если припомнить и подумать как следует, замечал страх в других, правда долго он над этим не размышлял, почти совсем не размышлял. Капитан Джесси был многословен и говорил нескладно; странно было слышать такую речь из уст этого солидного, энергичного

человека.

Высокий, подтянутый, седовласый, с окладистой седой бородой, капитан стоял у камина и беседовал с мистером Хоком. Последний совмещал много должностей: был дьяконом Новоиерусалимской Церкви, редактором «Духовного листка», доверенным лицом Фонда помощи морякам, а по вечерам — председателем на сеансах. Внешне мистер Хок ничем не походил на ястреба[51]; это был круглый человечек (миссис Папагай называла его про себя яблочком) с круглым брюшком и круглыми, лоснящимися красными щеками, на которые с круглой, розовой плешивой головы падали волнистыми прядками рыжеватые волосы. По ее оценке, ему было за пятьдесят; он был холост. Они с капитаном Джесси вели беседу, почти не слушая друг друга. Мистер Хок был знатоком богословия. В свое время он перебывал ритуалистом, методистом, квакером, баптистом, теперь же нашел успокоение — кто знает, временное или постоянное, — в лоне Новоиерусалимской Церкви, которая явилась в духовный мир в 1787 году, когда приказал долго жить старый религиозный порядок и Эмануэль Сведенборг, духовный

---

**[51] Примечания: 51**
Имя Хок от «hawk» *(англ.)* — ястреб.

Колумб, совершив странствия по многочисленным Небесам и Преисподним Вселенной, открыл для себя, что Вселенная есть форма Богочеловека, причем все духовное и сущее соответствует одной из частей тела этого бесконечного Великого Человека.

Капитан Джесси и мистер Хок пили чай. Капитан Джесси рассказывал, что чайные кусты разводят на горных склонах Цейлона, и расхваливал чай, который пил когда-то: «Он ароматный и свежий на вкус, сэр, как здешний настой листьев малины; чай, который перевозят в ящиках, обитых внутри свинцом, отдает плесенью, а для тех, кто пил его на его родине из простых глиняных чашек, не больше вот этой солонки, чай имеет вкус земли, сэр, и солнца, не чай — настоящий нектар». Мистер Хок рассказывал также о пристрастии Сведенборга к кофе и о том, что люди неумные утверждали, что его видения — следствие чрезмерного количества выпитого кофе и его пагубного влияния на организм.

— Ибо кофе, полагают они, воздействуя на темперамент, вызывает возбуждение, бессонницу, приводит к аномальным реакциям мозга и воображения, вызывает фантастические видения и логорею. Я допускаю подобное воздействие кофе,

я сам это наблюдал. Но только недалекий человек станет утверждать, что «Аркана» или «Дневник» получены благодаря кофейнику. Тем не менее и в этом кроется истина: Бог сотворил Вселенную, а следовательно, все сущее — и кофейный куст, и кофейные бобы. Если кофе располагает к ясновидению, не понимаю, почему средство может повредить цели. Провидцы, несомненно, такие же упорядоченные организмы, как и любой кристалл, и при необходимости они способны извлекать пользу из наркотика и из любого плода. Мы живем в век материализма, капитан Джесси: нет более метафизики, миновало то время, когда что-либо происходило из ничего. Если видения хороши, то, по-моему, столь же хорош их материальный источник. Пусть видения служат показателем качества кофе и наоборот.

— Зеленый чай тоже вызывает галлюцинации, — отвечал капитан Джесси. — На нашем судне был матрос-индиец, так ему в парусах все время мерещились черти, покуда помощник не заставил его пить меньше чая.

Миссис Папагай подошла к миссис Джесси; та сидела на софе с миссис Герншоу и разливала чай в чашки, расписанные гирляндами из пухлых розовых бутонов и ярких незабудок. Миссис

Герншоу была в черных траурных шелках, ее пышные каштановые волосы покрывал черный кружевной чепец, большой эбеновый медальон на цепочке из резных гагатовых звеньев покоился на ее полной груди. У нее была кремового оттенка кожа, глаза — большие, прозрачно-карие, но вокруг них лежали синевато-серые тени, а губы — искусанные и поблекшие. Она недавно похоронила пятую за последние семь лет крошку, Эми Герншоу: они жили недолго — от трех недель до одиннадцати месяцев; всех их пережил маленький Джекоб, болезненный трехлетний малыш. Мистер Герншоу разрешал жене посещать спиритические сеансы, но сам на них не появлялся. Он был директором школы и твердо держался христианской веры в ее довольно мрачном варианте. Он был убежден, что смертью дочерей Бог испытывает его и наказывает за маловерие. В спиритизме он, однако, не видел ничего дурного и порочного, ибо и ангелы, и духи — постоянные персонажи Старого и Нового Заветов. По мнению миссис Папагай, он позволял жене посещать сеансы, потому что она постоянно выплескивала на него свои страдания, что, в свою очередь, было для него нестерпимо, лишало его душевного покоя. Ни его натура, ни профессия не

допускали несдержанности чувств. Если бы Анни обрела утешение, в доме сделалось бы спокойнее. Во всяком случае, миссис Папагай, великая мастерица сплетать картину из разрозненных тонких нитей слов, чувств и взглядов, полагала, что он рассудил именно так.

Миссис Папагай любила истории. Она плела их из сплетен и наблюдений, она рассказывала их себе по ночам или когда шла по улице; она постоянно старалась не пропустить ни одной сплетни, разузнать всю подноготную, чтобы постичь хитросплетения судеб, проследить причинно-следственные цепочки чужих жизней. Внезапно овдовев и оставшись без средств к существованию, она взялась было записывать свои истории, надеясь заработать, но либо не владела словом, либо писать для публики ей претило — как бы то ни было, но из-под ее пера выходила неживая, приторно-сладкая писанина, неинтересная даже ей, и тем более другим. (Иное дело — бессознательное письмо.) Она вышла за капитана торгового корабля мистера Папагая, метиса по происхождению, потому что, как Отелло Дездемону, он очаровал ее рассказами о своих подвигах и лишениях в дальних странах. Десять лет назад он утонул где-то в Антарктике;

она считала его мертвым, потому что вот уже десять лет ни о «Калипсо», ни об экипаже не было никаких вестей. Первый раз она посетила сеанс, чтобы узнать, вдова она или нет, и получила, как это часто бывает, двусмысленный ответ. Сеанс проводила самоучка, очень взволнованная своей недавно открывшейся чудесной способностью; она продиктовала ей послание от Артуро; для вящей достоверности он упомянул о своих черных вьющихся волосах, золотом зубе, кольце-печатке с сердоликом и велел передать милой возлюбленной, что обрел покой и ей желает покоя и радости, ибо грядет время, когда прежнее небо и прежняя земля минуют, и моря уже не будет, и Бог отрет всякую слезу с очей их[52].

Миссис Папагай не была вполне уверена, что это послание Артуро, — тот выражал свои чувства обычно короче, грубее и озорнее, к тому же он не смог бы обрести покой, довольство и радость там, где нет моря. Артуро не умел сидеть сложа руки, а море — его запах, его дыхание, его неспокойная, опасная, бездонная пучина — тянуло его к себе как магнит. Впервые самостоятельно попробовав бессознательное письмо, миссис Папагай

---

**[52] Примечания: 52**
Откр. 21: 1; 7: 17.

получила послания от Артуро, этот факт она не подвергала сомнению, Артуро из прошлого или настоящего, живого или, быть может, мертвого, оплетенного путами водорослей или путами ее памяти. Послушные пальцы выводили ругательства на языках, неизвестных ей, она и не думала переводить их, ибо и без того хорошо знала, о чем приблизительно говорят все эти «эфы, коны и куны», — такими короткими словами Артуро выражал как гнев, так и острое наслаждение. Она произнесла нараспев:

— О, жив ты или мертв, Артуро? — и получила в ответ: *«Озорная раковины корабль путы морская трава песок песок бейся бейся море*[53] *озорница Лилиас, infin che'l mar fu sovra noi richiuso»*[54].

Из этого она заключила, что муж все-таки утонул и, погибая, боролся со смертью. Тогда она надела траур, взяла к себе двух жильцов, начала писать роман и все дальше уходила от реальности в бессознательное письмо. Мало-помалу она вошла в круг тех, кто пытался установить контакт с миром духов. Она стала желанной гостьей

---

**[53] Примечания: 53**

Слова из стихотворения А. Теннисона «Бейся, бейся, море».

**[54] Примечания: 54**

«И скрылся там, где скверно жжет пучина». Строка из «Божественной комедии» Данте (песнь XXVI). Перевод М. Лозинского.

на сеансах в частных домах, ибо в ее присутствии незримые пришельцы всегда выстукивали послания усерднее и те были более подробны и впечатляющи, чем их обычные туманные фразы. Она научилась входить в транс; транс несколько напоминал обморок: жар сменялся ознобом, выступал холодный липкий пот, подкатывала тошнота; правда, ее угнетало то, что она, умная и добропорядочная женщина, теряет над собой контроль. Находясь на другом конце кремового туннеля, в который она попадала, точно сквозь сетку, она наблюдала, как ее ботинки колотят по ковру, слышала, как надрываются ее бедные голосовые связки, когда хриплые чужие голоса говорят через нее. Только теперь она совершенно уверилась, что пассивное письмо не плод ее сознания. Через нее говорили то добрый дух по имени Помона, то другой, по имени Даго, назойливый и озорной. После того как Софи Шики стала ее напарницей, она реже входила в транс, ибо Софи ускользала в другой мир без всякого усилия, оставляя на земле лишь холодную как лед оболочку, и тогда ее дыхание едва затуманивало серебряную ложку. Она рассказывала о странных видениях и передавала странные речи, она могла с поразительной точностью указать,

где искать потерянную вещь или пропавшего родственника. Миссис Папагай была убеждена, что при желании Софи может заставить духа материализоваться, как это делали знаменитая Флоренс Кук со своей напарницей Кэти Кинг. Софи не было свойственно любопытство, и она не видела собственной выгоды, а потому спросила «Зачем это?» — и добавила, что не представляет, зачем бы мертвым желать вновь обрести тело, ведь их бестелесное бытие намного лучше. «Они не для того существуют, чтобы разыгрывать цирковые фокусы, — говорила она. — Материализация повредит им». Миссис Папагай, будучи умной женщиной, согласилась с ней.

Исподволь, при помощи маленьких хитростей, им удалось выскользнуть из мира чисто любительского, домашнего спиритизма и попасть в утонченный мир платных медиумов. Ничего вульгарного они себе не позволяли, лишь принимали «благодарность» от джентльменов, устраивавших сеансы, и брали гонорар за консультации. «Разве я не вправе, миссис Папагай, отблагодарить вас за ваши таланты, как благодарю священника, хорошего музыканта или целителя? Всем нам необходимо уберечь душу в нашем бренном теле до наступления того

благостного момента, когда мы перешагнем могильную черту и соединимся с ними».

Миссис Папагай была женщиной думающей, обладавшей пытливым умом. Родись она веком раньше, она была бы увлекающейся богословием монахиней, родись веком позже — изучала бы философию, психологию или медицину в университете. Она часто задавалась сложными вопросами, например таким: «Почему только сейчас, лишь с недавнего времени, мертвые при помощи стуков, посланий, эманации, материализации и произвольно двигающихся книжных полок стали вторгаться в мир живых?» Историю она знала неважно, хотя прочитала все романы Вальтера Скотта, но считала, что было время, когда мертвые уходили далеко в мир иной, откуда нет возврата. Однако и во времена Учителей, и еще раньше, во времена Пророков, в мир людей вплывали прекрасные ангелы, принося с собой яркий мягкий свет, небесную музыку, волнуя людей своим таинственным и вещим появлением. Отцы Церкви тоже их видели, а некоторые видели и мятущихся духов. Являлся призрак отца Гамлета, завернутые в саван мертвецы визжали и болтали вздор на улицах Рима; и в Англии, конечно же, на больших и малых дорогах, в старых

домах всегда водились и до сих пор водятся призраки — стучат по ночам, испускают неприятные запахи, издают завораживающие вибрирующие звуки, жутко таращат на вас глаза, заставляют вас леденеть от ужаса и нагоняют тоску, — разные призраки: буки, кикиморы, привязчивый сердитый мертвец-фермер, молодая женщина, испытывающая жуткие муки.

Но откуда они явились и что нужно им, этим полчищам ночных гостей, дядюшкам и тетушкам, поэтам и художникам, невинным младенцам и буйным утопшим морякам, которые стоят за каждым стулом, заключены в каждом шкафу, которые во множестве собираются в саду и толпами взбираются по лестнице? На стенах старых церквей, на алтарной стене Сикстинской капеллы[55] сидит на привычных местах рядом друг с другом небесная паства с золотыми нимбами над головой, а грешники стонут и извиваются в руках черных демонов с жаркими алыми языками, влекущих их в преисподнюю. Быть может, наши новые знания о мире потревожили и тех и дру-

**[55] Примечания: 55**

Сикстинская капелла в Ватикане была построена в конце XV в. как домовая церковь. Ныне музей. Стены и потолок капеллы расписаны фресками итальянских художников, в частности стена за алтарем — сценами Страшного суда работы Микеланджело.

гих? Звезды сияют, рассекая пустоту, — мы знаем теперь, что они всего лишь солнца, которые могли бы сжечь наш маленький мир, как уголья сжигают апельсиновую косточку. А под геенной расстилаются зеленые луга Новой Зеландии и красные австралийские пустыни. «Теперь мы знаем это, — размышляла миссис Папагай, — и представляем мир именно таким; небо и ад все меньше для нас значат. Но мысль, что по смерти мы превратимся в ничто, как кузнечики или убойный скот, эта мысль нам невыносима. И мы просим их, наших ангелов, прийти и успокоить нас. И они приходят, приходят на наш зов».

Но в глубине души она знала, что ходит на сеансы, пишет, выстукивает и кричит не ради успокоения, а ради настоящего, ради более полновесной жизни сегодня, — не ради жизни После, которая никогда не изменится. Иначе что бы ожидало ее, бедную вдову не вдову, как не тоскливое существование в замкнутом пространстве? Она терпеть не могла болтовни о чепчиках, вышивках и вечных недоразумениях со слугами — ей хотелось подлинной жизни. И общение с мертвыми было наилучшим способом узнавать, исследовать и любить живых, но не такими, какими они становились во время чай-

ной церемонии, а как людей с душой, тайными желаниями и страхами. Они открывались перед ней, миссис Папагай, — людям своего круга они не доверились бы никогда. Миссис Джесси пусть и не была богата, но происходила из благородной семьи, а капитан — из мелкопоместных дворян. Если бы не Духовный мир, который уравнивает великих и малых, миссис Папагай не имела бы возможности общаться с четой Джесси.



## II

Миссис Джесси была маленькая красивая женщина лет шестидесяти с небольшим. Ее импозантная голова казалась великоватой для щуплого тела. У нее были очень ясные голубые глаза и глубоко изрезанное морщинами смуглое цыганское лицо с резко очерченным профилем. Красивые темные с проседью волосы все еще были пышными; она подвязывала их изящными лентами. Ее руки напоминали птичьи лапки, взгляд проницательный, птичий, голос удивительно глубокий и звучный. Ее сильный линкольнширский акцент очень удивил миссис Папагай. Миссис Джесси говорила с апломбом: в тот вечер, когда они познакомились, присутствующие завели речь о разных стадиях горя и миссис Джесси кивала с видом знатока.

— Мне это знакомо. Я это пережила, — подхватывала она, словно трагический хор. — Я все пережила. Мне все это знакомо. Я не желаю нового чувства. Мне известно, что такое душа как камень.

Этот воодушевленно-однообразный пафос напомнил миссис Папагай жуткого ворона с его

«Никогда» из поэмы мистера По, к тому же миссис Джесси неизменно сопровождал ее любимец, ворон по кличке Аарон; она привязывала его за кожаный поводок к запястью и кормила сырым мясом из зловещего мешочка, который ворон носил на себе. Помимо Аарона, на сеансах присутствовал Мопс, уродец серого, будто слон, цвета, чьи мелкие, тоже цвета слоновой кости зубы нависали над вывороченными губами; у него были умные, выпученные карие глаза. Мопс был невосприимчив к всплескам эмоций сидящих у стола и обычно дремал на кушетке, а в наиболее напряженные моменты даже храпел, фыркал или чавкал во сне. Иногда и Аарон нарушал глубокую сосредоточенность — начинал стучать когтями, хрипло каркать или, встряхиваясь, шуршал перьями.

Миссис Джесси была героиней трагической истории. В юности, девятнадцатилетней девушкой, она полюбила, и ее полюбил блестящий молодой человек, университетский друг ее брата; он приехал в гости в дом приходского священника, где в уединении жила ее семья, и очень скоро осознал, как близки их души. Он попросил ее стать его женой. Но вмешался рок в лице искушенного и честолюбивого отца юноши. Ему запретили ви-

деться с нею и объявлять о помолвке до тех пор, пока ему не исполнится двадцать один год. Наконец этот день настал; несмотря на долгую разлуку и враждебность отца, влюбленные упорно хранили друг другу верность. Объявили о помолвке, и молодой человек приехал на Рождество к своей невесте и ее родным. Потом они стали посылать друг другу нежные письма. Летом 1833 года он уехал с отцом за границу. Он написал ей по пути из Пешта в Вену, называя ее «Ma douce amie»[56]. А в начале октября брат миссис Джесси получил письмо от дядюшки молодого человека. Миссис Папагай знала наизусть начало этого письма. Его читала ей своим глубоким меланхоличным голосом миссис Джесси; строки этого письма, слово в слово, задумчиво бормотал капитан Джесси.

*Милостивый государь.*

*Я пишу Вам, исполняя волю несчастных близких, которые, переживая безутешное горе, не нашли в себе сил лично написать Вам.*

*Ваш друг и мой любимый племянник, Артур Галлам, оставил нас — Богу было угодно восхитить его от земной жизни в тот лучший мир, для которого он был создан…*

---

**[56] Примечания: 56**
«Мой нежный друг» *(фр.).*

*С бедным Артуром случился легкий приступ лихорадки — это бывало с ним часто… он приказал растопить камин… и продолжал говорить с обычной веселостью, как вдруг лишился чувств, и его дух отлетел без боли… доктор пустил кровь, а по обследовании составилось общее мнение, что ему не суждено было долго жить…*

Услыхав, что прибыла почта, молодая женщина сошла вниз и заставила пораженного брата прочитать ей письмо — свет померк в ее глазах, и она упала в глубокий обморок, но пробуждение было еще ужаснее, еще тяжелее, чем первый удар, рассказывала миссис Джесси, и миссис Папагай верила каждому слову, даже переживала это, так искренне и деликатно та повествовала.

«Он отошел совсем тихо и незаметно, — рассказывала миссис Джесси, — его отец долго еще сидел рядом с ним у камина, ничего не подозревая, полагая, что он занят чтением, пока его не насторожило чересчур затянувшееся молчание, а может, что-то показалось ему странным; мы не знаем наверное что́, а он не припомнит. Но когда он заговорил с моим дорогим Артуром и дотронулся до него, то обнаружил, что его голова лежит на кресле несколько неестественно, ответа не последовало. Тогда послали за хирургом; тот

вскрыл локтевую вену и вену на запястье Артура, но тщетно, он ушел безвозвратно».

Год после этого черного дня она провела безвыходно в спальне, убитая горем, лишь потом она вновь предстала перед родными и друзьями; миссис Папагай представляла эпизод ее возвращения не глазами юной особы, как она воображала себе сцену, когда ее героиню настигает рок, но видела все вопрошающими глазами присутствующих: вот она, с трудом сохраняя гордую осанку, едва передвигая ноги, входит в комнату; она в глубоком трауре, но с белой розой в волосах, как нравилось ее Артуру. Она вернулась в сей мир, но была не от мира сего, ее душа была больна, погружена во мрак. Поздно, слишком поздно — так часто бывает в трагедиях — суровый отец раскаялся в своей жестокости и пригласил возлюбленную сына в свой дом, где при жизни любимого она так и не побывала; она сделалась сердечной подругой его сестры, «вдовствующей дочерью» его матери, и ей, по слухам, назначен был щедрый ежегодный пенсион в триста фунтов. Такие вещи держат в тайне, но все о них наслышаны; молва передает новость из гостиной в гостиную, люди восхищаются щедростью и в то же время с усмешкой спрашивают: «Отчего подобная щедрость:

назначено ли ей купить любовь? или утишить чувство вины? или сохранить вечную верность умершему?» Последнее осуществить, очевидно, не удалось, ибо появился капитан Джесси. Миссис Папагай не знала точно, откуда он взялся. Ходили слухи, что замужество невесты Артура жестоко разочаровало и старого мистера Галлама, и ее брата Альфреда, близкого друга Артура. Миссис Папагай показали — под строжайшим секретом — письмо от поэтессы Элизабет Барретт[57] (написанное до того, как она сделалась миссис Браунинг, и до того, как сама присоединилась к блаженному сонму духов), где она называла поведение миссис Джесси «позорящим женскую половину человечества» и «верхом гнусности». Капитана Джесси — тогда, в 1842 году, он еще был лейтенантом Джесси — мисс Барретт презрительно именовала «неотесанным лейтенантишкой». Она клеймила презрением жениха и невесту за то, что они не отказались от ежегодного пенсиона, выплату которого старый мистер Галлам, будучи человеком благороднейшим, решил не прекращать. И выказывала крайнее негодование по тому поводу (миссис Папагай временами была

**[57] Примечания: 57**

*Барретт Элизабет* (Браунинг; 1806–1861) — английская поэтесса, жена поэта Р. Браунинга.

расположена считать это поэтическим и романтическим), что своего первенца они назвали Артуром Галламом Джесси. «То была отчаянная попытка проявить „чувство“, но попытка эта провалилась», — тогда, много лет назад, заявила мисс Барретт.

«Возможно, миссис Браунинг была бы милосерднее», — раздумывала миссис Папагай. Когда она сама бежала из дома и вышла замуж, ее умение сочувствовать чудесным образом проявилось.

Миссис Папагай хотелось представлять это крещение как залог вечной памяти, как Жизнь после Смерти для умершего возлюбленного, подтверждение дивной общности Духовного мира — для тех, кто верит в этот Мир. Ибо не сказал ли сам Господь Бог: «На небесах не будут ни жениться, ни замуж выходить»?[58] С другой стороны, Эмануэль Сведенборг, побывавший на Небесах, видел бракосочетания Ангелов, соответствующие Единению Христа и Его Церкви, и потому держался иного мнения, по крайней мере умел объяснить, что имел в виду наш Господь, — ведь супружеская любовь так важна для Ангелов. Имя Артур

---

**[58] Примечания: 58**
Мф. 22: 30; Мк. 12: 25; Лк. 20: 35.

Галлам Джесси не принесло старшему сыну особого благополучия. Он выбрал карьеру военного, но, казалось, жил в собственном мире, возможно, потому, что, как и у отца, его ярко-голубые глаза не глядели дальше собственного носа. Его черты, как у отца и младшего брата, были романтически красивы и выражали мягкое добродушие. Его крестным отцом стал старый мистер Галлам, он же был крестным отцом старшего сына Альфреда, также названного Артуром в память об усопшем. На сей раз это никого особенно не возмутило, так как Альфред Теннисон написал свою «In memoriam», сделавшую Артура Галлама, А. Г. Г., спустя двадцать лет со дня его смерти объектом национального траура, а позже люди начали путать молодого, блестящего Артура с покойным, всеми оплаканным принцем Альбертом[59] и, конечно же, с легендарным королем Артуром, цветом рыцарства и душой Британии.

Софи Шики знала наизусть большие отрывки из «In memoriam». Она любила стихи, но совершенно не интересовалась романами, что миссис Папагай считала причудой ее вкуса. Она говорила, что любит ритм и ее воодушевляет поэзия,

---

**[59] Примечания: 59**
Принц Альберт (1819–1861), муж королевы Виктории.

в первую очередь ритм, а уж потом смысл. Самой миссис Папагай нравился «Энох Арден»[60], трагическая история моряка, который потерпел кораблекрушение, а по возвращении домой обнаружил, что жена благополучно вышла замуж и обзавелась детьми; моряк прожил остаток дней и умер в добродетельном самоотречении. Сюжет поэмы напоминал миссис Папагай сюжет собственного неудачного романа: моряк, один из всей команды уцелевший после пожара на судне в безбрежном океане, несколько месяцев провел на плоту под знойным солнцем, был спасен, некоторое время его удерживали у себя влюбленные в него таитянские принцессы, потом его захватили в плен пираты, после этого его насильно завербовали на военный корабль, который разгромил пиратов, он был ранен в жарком бою — наконец возвратился к своей Пенелопе и обнаружил, что она вышла замуж за ненавистного кузена и стала матерью кучки малышей, похожих на него, но не от него. Этот последний момент миссис Папагай считала изящным трагико-ироничным штрихом, но она не сумела живо изобразить ни пожар на корабле, ни рабство, ни Таити, ни ко-

**[60] Примечания: 60**
Поэма А. Теннисона (1864).

манду вербовщиков, хотя Артуро довольно часто живописал ей все это, когда они гуляли в Даунсе или сидели вечером у камина. Она до сих пор тосковала по Артуро, тем более что после него у нее никого больше не было. В поэме Лауреата ей больше всего нравился стих, где говорится о том, какими бедами чревато возвращение мертвеца в мир живых:

*Когда б мертвец в родимый дом,*
*Восстав, вернулся из могилы,*
*В супруге он и детях милых*
*Холодный встретил бы прием.*
*Его, согретые вином,*
*Добром родные поминали,*
*По нем скорбели и скучали*
*И часто плакали по нем.*
*Он к ним пришел. И что же зрит?*
*Его любовь – жена другого,*
*Наследник-сын, хозяин новый*
*Земель, – и алчен, и сердит.*
*Пусть даже сына не расстроит*
*Отца любимого приход, —*
*Смятенье страшное взорвет*

*Столпы домашнего покоя.*
*Но ты, мой друг, вернись скорей!*
*Пусть время все переменило.*
*Душа тебе не изменила,*
*Как прежде, ты желанен ей.*

«Но ты, мой друг, вернись скорей», — шептала миссис Папагай, и с нею эти слова шептали королева и бесчисленные вдовые мужчины и женщины, сливая голоса в едином вздохе безнадежной надежды. Того же, определенно, желала и она — Эмили Теннисон, Эмили Джесси, — та самая Любовь, которую молодой человек «вкусил умом одним», которой не коснулся: ведь она призывала его на сеансах, она жаждала видеть его и слышать, для нее он был жив, несмотря на то что умер сорок два года тому назад — срок в два раза длиннее, чем его земная жизнь. Общаться с ним напрямую не удавалось даже Софи Шики, и миссис Папагай, не понаслышке знакомая с самообманом и проделками воображения, не уставала восхищаться упрямым нежеланием миссис Джесси принимать на веру ложные послания озорных фантомов, двигать коленями стол и побуждать их с Софи приложить больше усилий.

— Он ушел слишком далеко, — сказала одна-

жды Софи. — Ему нужно о многом подумать.

— Он и всегда много думал, — ответила миссис Джесси. — А за могильной чертой, говорят, мы остаемся прежними, лишь продолжаем путь, начатый при жизни.



## III

Широкая и пухлая софа с высокой спинкой, на которой сидели Эмили Джесси и миссис Герншоу, была обтянута набивной материей. Рисунок набойки был выполнен Уильямом Моррисом; узор из черных ветвей, беспорядочно на первый взгляд сплетшихся, повторялся с геометрической периодичностью на таинственном темно-зеленом фоне. Эмили, неисправимо, как и вся ее семья, романтичная, сразу же вспоминала густой лес, заросли падуба и вечнозеленые лесные прогалины. Ветви были усыпаны белыми звездочками цветов, а сквозь их гущу выглядывали малиновые и золотистые гранаты, синие и розовые хохлатые птички с кремовой, в крапинку, грудкой и крестообразным клювом — фантастическая помесь волнистого амазонского попугайчика и английской дерябы. Эмили не гналась за роскошной обстановкой и не увлекалась домашним хозяйством: она полагала, что в жизни есть вещи более достойные внимания, чем фаянс и воскресное жаркое; но софа доставляла ей удовольствие, доставлял удовольствие правильный узор, сплетенный мистером Моррисом из волшебных

предметов; этот рисунок навевал воспоминания о детстве, о белом пасторском доме в Сомерсби[61]. Их было одиннадцать детей; они играли в Арабские ночи и в Камелот; ее рослые братья в масках и с рапирами фехтовали на лужайке, выкрикивая: «Получи-ка, гнусный изменник!» — или с палками в руках, как Робин Гуд, обороняли от деревенских мальчишек мосток через ручей, впоследствии увековеченный в поэме. Все тогда было двойственно — было явью и было любимо; было здесь и сейчас, излучало волшебство и выдыхало слабый холодный аромат утраченного мира, королевского фруктового сада, сада Гарун аль-Рашида. Окна готической столовой, которую вместе с кучером Хорлинсом собственноручно построил их отец, из которого энергия била ключом, представлялись живому воображению двояко: они могли служить рамами картин, на которых красовались одетые по последней моде дамы, готовые упорхнуть на свидание, а могли быть окнами волшебного замка, у которых Гиньевра и Лили Мейд с бьющимся сердцем ожидали своих любимых. Софа с рисунком мистера Морриса соединяла оба мира: на ней можно было отдохнуть

**[61] Примечания: 61**

*Сомерсби* — деревня в графстве Линкольн, где родились и провели детство Теннисоны.

и она заключала намек на райский сад. Эмили это нравилось.

В их гостиной в Сомерсби тоже стояла софа, желтая софа. На ней сиживала со штопкой миссис Теннисон, а вокруг нее, словно выводок щенят, как волны на неспокойном море, резвились малыши. В тот единственный рождественский вечер на ней сидели Эмили и Артур, великолепный Артур с точеными чертами лица, знаток женских причуд и кокетства. Он, ее суженый, обнимал ее за плечи, его осторожные губы касались ее щеки, уха, смуглого лба, ее губ. Она до сих пор помнила, как он мелко-мелко дрожал, колени, казалось, его не слушались, помнила, как было страшно ей. Сейчас она уже не могла припомнить, чего боялась тогда: обрушившихся на нее чувств, того ли, что, возможно, не так отвечала на ласки, или того, что теряла голову. Его губы были сухими и теплыми. Позже он часто писал о той желтой софе, софа постоянно присутствовала в его письмах — таинственный материальный предмет, напоминающий о нематериальном, — вперемежку с чосеровскими вздохами, доносившимися словно из рыцарского романа:

*Увы, Эмилия моя.*

*Увы, в разлуке ты и я.*

*Увы, царица сердца.*

Он опустил и начало и конец этого плача:

*Увы, кончина! Увы, Эмилия моя!*

*Увы, в разлуке ты и я!*

*Увы, царица сердца и жена!*

И она до сих пор временами твердила про себя: «Увы, царица сердца и жена». Только его женой она не стала. Бедный Артур. Бедная Эмили, которой нет больше, девушка с длинными темными локонами и белой розой в волосах. Те осторожные объятия так растревожили ее тело и мысли, что она целых два дня пролежала в постели, хотя его краткий визит длился жалкие две недели. Из своего укрытия она писала ему записочки на очаровательно неумелом (его слова) итальянском языке, а он терпеливо исправлял ошибки и возвращал листок ей, пометив его там, где запечатлел поцелуй. «Poverina, stai male. Assicurati ch'io competisco da cuore al soffrir tuo[62], благородный рыцарь Артур».

Миссис Герншоу не обращала внимания на узо-

---

**[62] Примечания: 62**

«Бедняжка, тебе плохо. Поверь мне, я сочувствую твоим страданиям от всего сердца» *(ит.).*

ры софы. Она рассказывала Эмили и Софи Шики, которая устроилась рядом на скамеечке для ног, о своем горе:

— Она была такой крепенькой, миссис Джесси, так бодро размахивала ручками и сучила ножками, так покойно смотрела на меня, в ее глазках светилась жизнь. Муж говорит, что нельзя так привязываться к малышкам, потому что им совсем недолго быть с нами… но как не привязаться, это ведь так естественно? Они растут у меня под сердцем, а я со страхом и трепетом чувствую, как они шевелятся.

— Они стали ангелами, миссис Герншоу.

— Иногда я в это верю. Но иногда воображаю разные ужасы.

— Расскажите, о чем вы думаете постоянно, вам станет легче, — сказала Эмили Джесси. — Мы, те, кто ранен в самое сердце, переживаем и за других, нам предназначено нести и чужое горе. Мы плачем вместо них. В этом нет ничего постыдного.

— Я рождаю смерть. — Мысль эта постоянно тяготила миссис Герншоу.

Она хотела еще добавить: «Я сама себе внушаю ужас», но передумала. Ее неотступно преследовало воспоминание о сведенных судорогой

маленьких ручках, о жесткой, холодной, мертвой постели.

— Мы одинаковы, живые ли, мертвые ли — безразлично. Как грецкие орехи, — сказала Софи Шики.

Она словно воочию увидела маленькие скрюченные тельца в маленьких ящиках, похожие на мертвые белые дольки орехов в коричневой кожуре, увидела слепое острие, похожее на головку червя, пробивающееся к свету и веселой листве. Она часто «видела» послания. Она не знала, были то ее мысли или мысли других или они приходили к ней Извне. Возможно, и другие получали послания.

К разговору присоединились капитан Джесси и мистер Хок.

— Грецкие орехи? — начал капитан Джесси. — Я большой любитель грецких орехов. На десерт с портвейном они отменно вкусны. И зеленые, молочные орехи тоже хороши. Грецкий орех похож на человеческий мозг. Бабушка рассказывала мне, что грецкие орехи используются в деревенских снадобьях, но это скорее чародейство, чем медицина. А что бы сказал о таком сравнении Эмануэль Сведенборг, мистер Хок? Я имею в виду энцефаломорфность грецкого ореха.

— Мне не приходилось встречать в его трудах рассуждений о грецких орехах, капитан Джесси, хотя его наследие столь обширно[63], что где-то, не исключено, может таиться указание и об этом. Кстати, мне вспоминается наша ведунья, госпожа Юлиана Нориджская[64]: во время одного откровения она увидела на своей ладони все сущее в виде ореха и услышала слова Бога: «Все будет хорошо. Ты сама увидишь, что все будет хорошо». Я думаю, что она увидела в руке мысль одного из Ангелов — ангельская мысль, попав в мир духов и людей, приняла форму ореха. В этом смысле Юлиану можно считать предтечей нашего духовного Колумба. Тот рассказывает, что в мире духов ему довелось увидеть в руке сэра Ганса Слоуна[65] прекрасную птицу. Эта птица нисколько

---

**[63] Примечания: 63**

Только с 1749 по 1771 г. Сведенборг написал 30 томов богословских работ.

**[64] Примечания: 64**

*Госпожа* (или мать) *Юлиана Нориджская* (1342–1416) — английская монахиня-мистик. В литературное наследие вошла ее работа «Откровение о Божественной любви», замечательный по глубине богословской мысли образец среднеанглийской клерикальной литературы. Неофициальный День св. Юлианы отмечается 13 мая — в этот день в 1373 г. Юлиане было видение Богородицы и Страстей Господних, якобы исцелившее ее от тяжелой болезни.

**[65] Примечания: 65**

*Слоун Ганс* (1660–1753) — английский натуралист и коллекционер. Ему принадлежало богатое собрание книг и старинных рукописей,

коллекции растений и раритетов. По смерти Слоуна его библиотека и коллекции послужили основанием для Британского музея (открыт в 1759 г.).

не отличалась от обыкновенной земной птахи, однако Сведенборгу было открыто, что это не птица, а не что иное, как любовь Ангела; и когда любовь иссякла, исчезла и птица. Сам Ангел не мог видеть птицу, в облике которой его чувство проникло в мир духов, ибо Ангелы видят все сущее в высочайшей форме, то есть в Богочеловеке. Сведенборг говорит, что Ангелы высочайшего ранга представляются тем, кто приближается к ним снизу, человеческими младенцами (однако себе они видятся иначе), ибо их нежные чувства рождаются, когда соединяются в супружеской любви любовь к Добру, то есть Ангел-отец, и любовь к Истине, то есть Ангел-мать.

Пребывая в мире духов, Сведенборг видел птиц, и ему было откровение, что в форме птиц в Великом Человеке предстают рациональные идеи, так как голова соответствует небу и воздуху. Ему даже довелось ощутить падение Ангелов, составивших себе ложное представление о разуме и инфлюксе[66], — его жилы и кости потрясла жестокая дрожь, и он увидел трех птиц: одну черную и уродливую и двух светлых и прекрасных. Эти реальные птицы были мыслями Ангелов — в

**[66] Примечания: 66**

В теологии Сведенборга инфлюкс — Божественное влияние, пребывающее в человеке и управляющее его поступками.

такой форме явились его чувствам прекрасные рассуждения и отвратительное заблуждение. Ибо миры строятся на соответствиях, и всякая сугубо материальная вещь находит свое соответствие в сугубо Божественном, то есть в Богочеловеке.

— Очень занятно, очень занятно, — с нетерпением заметил капитан Джесси. Сам большой говорун, он не мог молча слушать, как мистер Хок разматывает перед ними бессчетные нити, связывающие Богочеловека с земными, перстными людьми.

Начав говорить, мистер Хок уже не способен был остановиться и продолжал толковать им «Аркану», «Принципы»[67] и «Clavis Hierogliphica Arcanorum et Spiritualium», тайны инфлюкса и духовного очищения, супружеской Любви и загробной Жизни. Чтобы возможно полнее представить слушателям свои религиозные убеждения, он жонглировал богословскими понятиями, подбрасывая их одновременно в воздух, как шары, и они сливались в стремительном мелькании в сплошную дугу, которая на миг, во время пространного отступления касательно

**[67] Примечания: 67**

«Божественная Аркана» (1749–1756) — богословский труд Сведенборга, «Принципы естественных вещей» (1734) — его натурфилософская работа.

птиц, представилась Софи Шики стайкой порхающих зобастых голубей и горлиц.

— В том мире, то есть в мире духовном, — продолжал мистер Хок, — свет исходит от духовного солнца, и обитатели того мира не могут видеть соответствующего ему материального солнца из нашего мертвого мира. Наше солнце — непроницаемая тьма в их глазах. Тот мир населен множеством духов, которым отвратительно все материальное, например духами с планеты Меркурий — в Великом Человеке они соответствуют памяти о сущем, отвлеченной от этого сущего. Сведенборг посетил их и с их согласия показал им земные луга, земли под паром, сады, леса и реки. Но духи выказали отвращение, отвращение к материальности всего этого. Они любят отвлеченное знание, поэтому они заполонили луга змеями и омрачили их, а реки сделали черными. Сведенборг добился большего успеха, показав им красивый сад, полный огней и светильников, — и то и другое было понятно духам, так как свет олицетворяет истину. Они приняли и ягнят, поскольку агнец олицетворяет невинность.

— Они похожи на проповедников, — заметила миссис Джесси, — эти духи с планеты Меркурий. Мыслят одними отвлеченностями.

— Они похожи на дикарей, — подхватил ее муж. — Люди, которые ходили в плавание с капитаном Куком, рассказывали, что новозеландские дикари не сумели увидеть их корабль, стоявший на якоре в гавани. Они как ни в чем не бывало занимались своими делами, будто никакого корабля и не было: рыбачили, купались, разводили костры и пекли на них рыбу — в общем, жили повседневными заботами. Но как только шлюпки были спущены и взяли курс на берег, пришельцев тут же заметили, и среди дикарей сделалось большое волнение: они толпой сбежались к воде и принялись размахивать руками, вопить и плясать. Но корабль они так и не увидели. Можно было бы подумать, что по аналогии они приняли корабль за большую белокрылую птицу или за дух, просто не понимая, что они видят, но не тут-то было: они вообще не видели его, не способны были видеть. По-моему, это говорит в пользу теории, утверждающей, что мир духов смыкается с нашим и пронизывает его, как ходы долгоносиков пронизывают хлеб, и мы не видим его только потому, что еще не развили в себе необходимого способа мышления, понимаете? Мы подобны этим вашим меркурийцам или меркурианам, которым отвратительны земные поля

и все прочее, мы как те несчастные ангелы, для которых свет нашего солнца — кромешная тьма.

В это время Аарон, который устроился на подлокотнике софы, взмахнул черными крыльями, почти сведя их над головой, и вновь уселся, шурша перьями и резко подергивая головой. Потом бочком подобрался к мистеру Хоку, и тот нервно отодвинулся. Как большинство внушающих страх тварей, Аарон, казалось, возбуждался, чуя чужое волнение. Он открыл сине-черный клюв, каркнул и склонил голову набок, наблюдая за произведенным эффектом. Его веки были, как и клюв, синеватыми и походили на веки пресмыкающегося. Миссис Джесси сердито дернула за поводок. Однажды мистер Хок спросил у нее, почему ворона зовут Аарон (сам он полагал, что птицу назвали в честь брата Моисея, первосвященника, которому Бог заповедал носить ризу с золотыми позвонками и яблоками). Но оказалось, что ему дали имя мавра из «Тита Андроника»[68], пьесы, с которой мистер Хок, не обладавший теннисоновской эрудицией, совсем не был знаком.

— Это был черный как смоль малый, который гордился своей чернотой, мистер Хок, — поясни-

---

**[68] Примечания: 68**
Пьеса Уильяма Шекспира.

ла вкратце миссис Джесси.

Мистер Хок заметил, что, по поверьям, вороны предвещают дурное. Если следовать толкованию, которое дал Слову Сведенборг, Ноев ворон олицетворяет ум, блуждающий над океаном ошибок.

— А филины и вороны олицетворяют наши тяжкие и неискоренимые заблуждения, — добавил он, поглядывая на Аарона, — потому что филин живет во тьме ночной, а ворон черен. Исаия говорит: «…и филин и ворон поселятся в ней»[69].

— Вороны и совы — тоже Божьи твари, — запальчиво возразила миссис Джесси. — Я не верю, мистер Хок, что сова, эта красивая, мягкая и наивная птица, может нести в себе зло. Вспомните сипух, которые отзывались вордсвортовскому Мальчику[70], когда тот ухал по-совиному. В детстве и мой брат Альфред умел подражать всякой птице и дружил с целым совиным семейством — по его зову совы слетались ему на руки за кормом, а одна даже поселилась у нас под застрехой и прогуливалась вместе с братом, усевшись ему

---

**[69] Примечания: 69**

Ис. 34: 11.

**[70] Примечания: 70**

*Вордсворт Уильям* (1770–1850) — английский поэт-романтик, глава «озерной школы».

на голову.

Черты лица миссис Джесси, как это обыкновенно бывало, смягчились при воспоминании о Сомерсби. Она взяла кожаный мешочек и поднесла ворону кусочек требухи. Дернув клювом, он схватил его, подбросил, перевернул и проглотил. Эти кусочки мяса зачаровывали миссис Папагай. Каждый раз после обеда миссис Джесси незаметно прибирала в свой мешочек остатки жаркого со стола. Да, было в миссис Джесси что-то отталкивающее, как было в ней, разумеется, и нечто чистое и трагическое. Рядом с немигающей птицей и острозубой, головастой уродливой серой собачонкой она — словно беззащитная перед непогодой каменная голова меж двух горгулий на церковной крыше, вообразила на миг миссис Папагай: проходят столетия, ее сечет ветер и мочит дождь, но голова смотрит так же неотрывно, что-то терпеливо высматривая в дали.

Мистер Хок предложил, если все готовы, составить круг. В середину комнаты перенесли круглый стол, накрытый бархатной скатертью с бахромой, а капитан Джесси расставил стулья, разговаривая с ними, как с живыми: «Ну же, двигайся, не будь таким неуклюжим, вот здесь и стой». Миссис Джесси принесла достаточное ко-

личество бумаги, перьев и карандашей, большой кувшин с водой и стаканы для всех. Они уселись в полутьме, освещаемой лишь дрожащими языками огня в камине. Миссис Папагай объяснила, что именно в такой обстановке проводят сеансы прогрессивные спириты. Духи боятся яркого света, точнее, он их стесняет, потому что его лучи имеют неподходящую структуру, — такое объяснение устами американского медиума Коры Таппан дал дух одного ученого, — но идеально подходит для них успокаивающий фиолетовый свет. Эмили Джесси любила свет камина. И верила искренне, что дух переживает тело и мертвые желают общаться с живыми. Как и ее брат Альфред, как тысячи мятущихся верующих, тревоги которых он нередко выражал в своих стихах, она остро желала убедиться, что душа бессмертна и за гробом сохраняет индивидуальность. Альфред же с годами все с большей горячностью высказывался по этому поводу. Если жизни за гробом нет, кричал он друзьям, если его сумеют в этом убедить, он бросится в Сену или Темзу, засунет голову в духовой шкаф, примет яд или выстрелит себе в висок из пистолета. Она часто вспоминала его строки:

*Иные верят, что, за жизнь*

*Вобрав в себя кусочки Я,*
*Становится по смерти всяк*
*Частицей мировой Души.*

*То вера смутная и злая.*
*Я верю, дух пребудет вечный*
*В обличье вечном, и при встрече*
*Я друга без труда узнаю.*

Ей нравился стих. Нравилась строчка «То вера смутная и злая». Она любила и огонь в очаге, вернее, детская половина ее души, которая ждала чудес, любила. В маленьком домике пастора их было одиннадцать детей; они играли у очага в деревенские игры, пугали друг друга жуткими байками, пересказывали свои волшебные видения. Старик-отец сходил с ума: его изнуряли беспричинные припадки ярости, мучили несбывшиеся надежды и разочарование. К тому же, если говорить откровенно, его убивал алкоголь. Половина детей все время находились в подавленном состоянии, а Эдвард, о котором старались не вспоминать вслух, был на постоянном содержании в заведении для душевнобольных в Йорке. Септимус все время лежал у камина в депрессии, а Чарлз пристрастился к опиуму. И все же они

были счастливы тогда, она хорошо помнила, что тогда они были счастливы. Они радовались темноте и с восторгом пересказывали друг другу загадочные происшествия. Так, самый младший, Горацио, направляясь в сумерках домой мимо Сказочного леса, что между Харрингтоном и Баг-Эндерби, увидел, как мелькает за деревьями жуткая голова, видно отрубленная, и таращится на него из-за изгороди. Не прошло и недели после смерти отца, как Альфред, в надежде, как сказал он, увидеть дух отца, торжественно заявил, что проведет ночь в его постели. Без отцовских воплей и буйства в доме было так удивительно тихо и покойно, что девочки стали упрашивать брата не беспокоить смятенный дух. Но Альфред во что бы то ни стало хотел осуществить свой нечестивый замысел, внушавший ему благоговение и ужас. Он закрылся в душной комнатушке и погасил свечу. А наутро рассказал им, что ночь прошла спокойно, он много думал об отце, о его недовольстве жизнью и страдании, о его мощном уме, о припадках болезненной рассудительности и, вглядываясь в темноту, все ждал, что сейчас высокая и грозная фигура отца прошествует мимо него. «Или схватит тебя, невежу, за глотку», — добавил Горацио. «Да ни за что он к тебе

не явится, — сказала Сесилия. — Ты такой рассеянный, такой тупой». — «Тем, у кого богатое воображение, духи не являются», — согласился Альфред и начал рассказывать им, как один крестьянин видел призрак убитого фермера, из груди которого торчали вилы. Артур Галлам рассказывал, как в Кембридже Альфред читал свою единственную прозу «Духи» «апостолам», молодым ученым, которые стремились совершенно изменить мир, сделать жизнь справедливой и прекрасной[71]. «Стоило на него посмотреть, милая Нем: он был ужасно красив и страшно стеснялся и тушевался. Он оперся на камин, долго смотрел в рукопись, а потом начал читать зловещим голосом, словно сидневский рассказчик[72], и мрачным своим видом едва не напугал нас всех до смерти».

Как-то раз, уже в Сомерсби, он прочитал первую

---

**[71] Примечания: 71**

*«Апостолы»* — основанное в 1820 г. в Кембридже закрытое студенческое общество. В него входила университетская интеллектуальная элита — будущие философы, историки и поэты. Поступив в Кембридж в 1827 г., Теннисон присоединился к «апостолам». Члены общества были увлечены идеалами справедливости и общественного прогресса: так, в 1830 г. они приняли участие в испанской революции против самовластия Фердинанда VII.

**[72] Примечания: 72**

*Сидни Филип* (1554–1586) — поэт и теоретик поэтического искусства эпохи Возрождения. Автор пасторального романа «Аркадия».

часть этого сочинения братьям и сестрам:

«Имеющий власть говорить о духовном мире говорит о высоком простыми словами. Он рассказывает о жизни, и о смерти, и о том, что после смерти. Он приподнимает вуаль, но некто за нею закутан в саван, еще более непроницаемый. Он приподнимает облако, но затемняет горизонт. Золотым ключом он отпирает решетчатые врата склепа, распахивает их — и на свет из глубинного мрака выходят колоссы прошлого, *majores humano*; кто-то — как жил, бледный лицом, с легкой улыбкой на устах; иной — как умер, все еще окоченевший от внезапного холода смерти; третий — как был погребен, с закрытыми веками, завернутый в погребальные пелены.

Слушатели жмутся друг к другу; они боятся вздохнуть, пугаются стука своих сердец. Одинокий, как горный поток в тихую ночь, голос рассказчика заполняет мертвую тишину…»

Артур любил, когда они собирались вместе и начинали рассказывать истории. Дома у него, говорил он, все так правильно и строго. Из всей детворы, почти столь же многочисленной, как и Теннисоны, до зрелого возраста дожили только он сам, один брат и сестры. За ними неусыпно присматривали, их малейшее недомогание

всех пугало, ими дорожили, их оберегали от опасностей, их воспитывали в добродетели, но усвоенные уроки спрашивали строго. Им не позволяли носиться по полям, кувыркаться в кустах изгороди, стрелять из лука, ездить верхом сломя голову.

— Как я люблю вас, — говорил он Теннисонам, и его худощавое лицо пылало от счастья. Он знал, что они тоже любят его и испытывают радость в общении с ним, — он был великолепен, чист и добродетелен, его ждало великое будущее министра или философа, поэта или принца.

Матильда называла его «король Артур» и увенчивала лавром и зимним аконитом. Он был снисходителен к Матильде, хотя та была непредсказуема, грубовата и резковата: в детстве ее стукнули по голове, и она немного повредилась. В отличие от Альфреда, Матильда видела призраков. Однажды они с Мэри увидели, как высокая белая фигура, с головы до ног закутанная в саван, прошла по дорожке мимо их дома и исчезла за живой изгородью там, где не было прохода. От испуга с Матильдой случилась истерика; она рыдала, скулила, как собачка, и в смертельном ужасе каталась по постели. А несколькими днями позже Матильда пошла в Спилсби и принесла с

почты то страшное письмо:

«Ваш друг и мой любимый племянник, Артур Галлам, оставил нас — Богу было угодно восхитить его от земной жизни в тот лучший мир, для которого он был создан…

По возвращении в Вену из Буды он умер от апоплексического удара. Его останки прибудут домой из Триеста».



## IV

Мистер Хок рассадил всех. Сам он, взяв Библию и положив перед собой «Небо и Ад» Сведенборга, сел между Софи Шики и Лилиас Папагай. Рядом с ней сели миссис Джесси и дальше — миссис Герншоу. Капитан Джесси сел между миссис Герншоу и Софи Шики. Так обычно рассаживаются за обеденным столом, когда женщин больше, чем мужчин. В начале сеанса по обыкновению мистер Хок читал им из Сведенборга и Библии. Эмили Джесси недоумевала, с какой стати мистер Хок взял на себя обязанности председателя, ведь он даже не медиум. Как-то она рассказала ему про их удачные, пусть и жутковатые, осторожные спиритические опыты и обрадовалась, когда он попросил позволения присутствовать на них.

Как ее старший брат Фредерик и сестра Мэри, она была ревностным членом сведенборгианской Новоиерусалимской Церкви и убежденным спиритом. Хотя спириты признавали Сведенборга, совершившего столь знаменательное путешествие по миру духов, отцом новой веры, все же ортодоксальные сведенборгиане смотрели на них с недоверием и опаской: спиритизм набирал силу

и угрожал лишить их паствы. Новоиерусалимская Церковь не наделила мистера Хока высоким правом рукополагать, он был странствующим проповедником без права возглавлять общину, но с правом просвещать — его должность, без устали твердил он всем, Сведенборг называл «жрец», «каноник», а также «фламен»[73].

Мистер Хок начал читать:

— «Земная Церковь пред Господом есть один Человек. Церковь разделяется на общины, и каждая община тоже Человек, и все, кто внутри этого Человека, пребывают на Небесах. Каждый член Церкви есть ангел небесный, ибо становится ангелом по смерти. Скажу более, Земная Церковь и ее ангелы составляют не только внутренние части Великого Человека, но и наружные его члены, которые назову хрящами и костьми. Потому Церковь и Человек соответствуют, что земные люди наделены телом, и дух человеческий облечен в естественное. Так сопрягаются Небо и Церковь, Церковь и Небо».

Сегодня я прочитаю вам из Откровения, — продолжал он. — Глава двадцатая, стихи с одинна-

---

**[73] Примечания: 73**

«Сжигающий священные приношения» *(лат., букв.)* — священник в Древнем Риме, служивший только одному богу (чаще всего Юпитеру, Марсу или Квирину) и ежедневно приносивший ему жертвы.

дцатого по пятнадцатый:

«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места.

И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.

Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.

И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это — смерть вторая.

И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное».

Внимая словам Откровения, миссис Папагай, как и всегда, дрожала от восторга. Она любила их звучную внушительность, любила эти зловещие цвета: алый, золотой, белый и черный цвет преисподней. Она с самого детства была влюблена в эти неземные картины и образы: вот ангелы навеки свивают небо, как свиток книжный, и золотые смоквы звезд падают в море огненным дождем, здесь драконы и мечи, кровь и мед, армии саранчи и легионы ангелов непорочной

белизны, с пламенными очами, и они бросают в стеклянное море шапки золотые. Она беспрестанно задавалась вопросом: почему все так любят неистового Иоанна и его ужасное Откровение, и, как хороший психолог, находила этому не одну причину. Люди любят пугаться — только посмотрите, с каким удовольствием они читают самые жуткие рассказы мистера По про все эти колодцы и маятники, про заживо погребенных. Но дело не только в этом, размышляла она, люди хотят верить, что над ними будет Страшный суд: жизнь стала бы им в тягость, знай они наверное, что она лишена значимости в Очах Кого-то свыше, кто наблюдает за нами и сообщает нашей жизни ценность. Ибо, не будь смерти и Страшного суда, не будь неба и ада, чем бы отличался человек от растений, от бабочки или мясной мухи? Если бы смысл жизни заключался только в том, чтобы сидеть за чаем, а затем ожидать времени сна, зачем дано мне то многое, о чем я гадаю, на что уповаю, чего страшусь; то, что пребывает вне моей полной, стесненной корсетом груди; то, что не имеет отношения к обыденным кухонным хлопотам. К чему эти эфирные исполины, и жена, облеченная

в солнце, и Ангел, на нем стоящий?[74]

Миссис Папагай не удавалось вовремя прервать свои размышления. Следовало же, легко взявшись за руки, составить круг, слиться воедино и сидеть в тишине, открыв ожидающий, расслабленный мозг для духов, так чтобы они могли говорить через него. Первое время они задавали духу вопрос и ожидали ответного стука — один раз значило «да», два раза — «нет», и сейчас еще им приходилось вздрагивать, когда из-под стола раздавалась внезапно дробь сильных ударов или столешница под их пальцами начинала ходить ходуном. Но теперь все чаще они дожидались, пока дух сам не заявит о своем присутствии, после чего приступали к бессознательному письму. Этой способностью обладал каждый, и все, за исключением капитана, воспринимали послания, сжатые, а иногда пространные, и вчитывались в них, пытаясь истолковать. А потом, если им сопутствовала удача, устами Софи Шики или ее собственными (что случалось реже) с ними говорили пришельцы. Иногда Софи их видела и описывала остальным. Однажды ей явились покойные племянники миссис Джесси, дети

**[74] Примечания: 74**
Откр. 12: 1; 19: 17.

ее сестры Сесилии, — Эдмунд, Эмили и Люси (первый умер в тринадцать лет, вторая — в девятнадцать, а последняя только прошлым летом, двадцати одного года от роду). «Духи были вялы и печальны, — вспоминала миссис Папагай, — хотя, по их словам, в Солнечной стране среди цветов и фруктовых садов жили в счастье и трудах праведных». Бракосочетание Сесилии прославлялось в эпилоге «In memoriam» как триумф любви над смертью. Миссис Папагай ясно представляла, как туфельки невесты ступают по старому церковному кладбищу, где под плитами покоятся мертвые. «Мы живем в юдоли слез, — размышляла миссис Папагай, — и нам необходимо знать, что где-то есть Летняя страна. Будущее дитя, на которое уповал Лауреат, родилось и умерло, как умер и А. Г. Г.». Последнего, несмотря на все ее старания и даже старания Софи, не удавалось призвать на сеанс.

Огонь в камине горел, на стены и потолок ложились тени. Белая грива капитана Джесси напоминала очертаниями царскую корону, а борода была как у Бога; гладкая черная голова Аарона отбрасывала дымчатую, дрожащую тень. Огонь, судорожно вспыхивая, неровно освещал их руки. У миссис Джесси кисти рук были длинные и

смуглые, как у цыганки, а на пальцах мерцали красным кольца. У миссис Герншоу руки были мягкие, белые, их унизывали траурные кольца с крохотными ларчиками, в которых хранились локоны ее покойных детей. Руки мистера Хока были землистого цвета и поросли редкими рыжими волосками. У него были тщательно ухоженные ногти, и он носил перстенек — печатку с гелиотропом. Во время сеанса он постоянно похлопывал и пожимал руки соседок, как бы ободряя их и успокаивая. Он часто касался миссис Папагай коленями, несомненно, он касался и Софи Шики. Она интуитивно догадывалась, что в *этом* смысле мистер Хок легко возбудим, что он любит женщин, часто и подолгу думает о них. Она догадывалась, или ей так казалось, что он с удовольствием думает о прохладном теле Софи, мысленно расшнуровывает ее гладкий, простой корсаж и гладит ее белые ноги, спрятанные под серым платьем. Она знала также, хотя была в этом меньше уверена, что Софи равнодушна к нему. «Вот и сейчас, — думала она, — бледная рука Софи неподвижно и бесстрастно лежит в его ладони, даже не увлажняясь от этого прикосновения. Казалось, *это* совершенно не интересует ее. Возможно, ее успех в духовных предприятиях

отчасти объясняется именно ее несокрушимым равнодушием к плотскому. Она чистый и прохладный сосуд, воплощение мечтательного ожидания».

Миссис Папагай было известно, что мистер Хок рассматривает и ее стати как источник земного блаженства. Она ловила его невольно оценивающий взгляд на своей груди и талии, а в напряженные моменты сеанса его теплые пальцы потирали ей ладонь. Несколько раз она перехватывала его взгляд, когда он разглядывал ее пухлые губы и девичьи нежные локоны. У нее не было намерения поощрять его к большему, но и решительной отповеди она не давала ему, когда он чересчур долго глазел на нее или прикасался к ней. Она взвешивала «за» и «против». Она считала, что побудить мистера Хока просить руки способна любая женщина при условии, что она достаточно пышногруда и чувствует к нему расположение. Но желает ли она сделаться миссис Хок? Сказать откровенно, она желала Артуро и повторения «брачных восторгов», как выражается Сведенборг. Она желала засыпать в мужских объятиях, в аромате супружеского ложа. Артуро учил ее многому, а она была способной ученицей. Он набрался мужества и рассказал

жене, распахнувшей от удивления глаза, о том, что повидал в разных портовых городах, о женщинах, с которыми нескучно проводил время. Рассказал откровенно, а увидев, что жена не оскорбилась, но, напротив, любопытствует о подробностях, рассказал и больше. Да, она могла бы поучить кое-чему мистера Хока или еще кого — то-то бы он подивился. Только способна ли она на это после Артуро? Однажды ей приснился страшный сон: она обнимает Артуро и вдруг оказывается в жадных объятиях огромного морского змея, угря или дракона, выглядевшего так, словно он то ли поглотил, то ли исторг из себя Артуровы члены. Однако те нечастые сны, в которых Артуро как бы воскресал, по пробуждении доставляли ей жуткие мучения. «Но ты, мой друг, вернись скорей», — позвала про себя покойного мужа миссис Папагай. Мистер Хок негнущимся большим пальцем поглаживал ее палец. Она попыталась сосредоточиться на цели сеанса и, взглянув на большое и мягкое лицо миссис Герншоу, напрягшееся в ожидании, пожурила себя за рассеянность.

В отличие от миссис Папагай, Софи Шики ничего не стоило во время сеанса выбросить из головы лишние мысли. Счастливые и немного

тревожные состояния души были ей знакомы еще до того, как миссис Папагай уговорила ее заняться спиритизмом профессионально. Ей не стоило ни малейших усилий соскользнуть в другое состояние сознания и выскользнуть из него — она проделывала это с такой же легкостью, с какой облачалась и сбрасывала платье, с какой погружалась в теплую ванну и выходила из нее, с какой окуналась в морозный зимний воздух. Она очень любила один отрывок из Второго послания к коринфянам, который иногда в начале сеанса читал мистер Хок (он помогал ему размышлять о переживаниях Сведенборга), — это был рассказ Павла из двенадцатой главы:

«Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет, — в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает, — восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, — *только* не знаю — в теле, или вне тела: Бог знает, — что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать.

Таким *человеком* могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими».

Ей нравилась двусмысленность этой повторяющейся фразы: «в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает». Слова эти описывали

состояние, которое она испытывала сама, а их монотонное журчание, ритм способны были, как и стихи, приводить ее именно в такое состояние. Надо только твердить это про себя — сначала слова становятся необычными, словно обезумели и ощетинились блестящими стеклянными волосками, а потом — совсем бессмысленными и прозрачными, как чистые водяные капли. И вот ты есть — и тебя нет. Софи Шики сидела будто незаметная монахиня, склонив голову; она что-то видела. Что это было? Софи не ощущала большой разницы между существами и предметами из сновидений и теми, которые мельком видишь в окно или над морем за дамбой; существа и предметы из стихов и Библии или те, что являлись в наш мир из ниоткуда, она также могла описывать другим людям, видеть их, обонять, слышать, даже осязать и пробовать на вкус — одни были сладкими, другие отдавали дымом. Когда ночью она лежала в постели в ожидании сна, ей представлялись разнообразнейшие вещи; иногда они маячили в сумраке ночи, иногда пришельцы приносили с собой свой мир — то были разные миры, знакомые и чуждые: пустынные дюны, равнина, поросшая вереском, или сумрачное нутро шкафа, жар костра или отягченный плода-

ми сад. Она видела стаи птиц и облака бабочек, видела верблюдов и лам, черных нагих человечков и спеленатых, с подвязанной челюстью, покойников, прямых как жердь, светящихся. Ей являлись какие-то огненные ящерицы и стада золотых шаров, больших и бесконечно малых, представлялись прозрачные лилии и ходячие пирамиды из стекла. И другие, не поддающиеся описанию существа забредали в ее сознание: проходил, открываясь и складываясь, пурпурный экран камина с бахромчатыми руками, испуская флюиды удовольствия, вспыхивал и взрывался перед глазами сгусток боли, похожий на оранжевого ежа. Многие из своих видений она даже не пыталась описать другим. Они составляли ее личный мир. Но некоторые пришельцы имели обличья и судьбы, их можно было позвать, и они приходили. Постепенно, с трудом, она осознала, что и мертвым и живым требуется ее посредничество, — оказалось, что живые не видят и не слышат мертвых.

Сегодня, сосредоточившись, она ощутила, что комната наполнена движением. По обыкновению она медленно обвела взглядом круг собравшихся, воспринимая их отстранение, проникаясь их заботами и мыслями, а потом отвлеклась и при-

слушалась. Часто за спинами живых толпились существа из другого мира — они хотели попасть в круг, ждали, что их позовут и выслушают; казалось, вот-вот кто-то из них не выдержит, воздух в комнате начнет колебаться, а он захихикает или завоет. Она бесстрастно посмотрела на свою руку — мистер Хок поглаживал ложбинку между ее пальцами — и заставила ее мертвенно похолодеть, рука сделалась холодной как лед, потому что вся кровь отхлынула к сердцу. Она посмотрела на мистера Хока и, как обычно, увидела вместо него багрового, точно обожженная глина или освежеванная туша, зверя, обличьем похожего на Мопса, на фарфорового китайского льва, на красную атласную подушечку, утыканную стеклянноголовыми булавками, — такого же цвета был блестящий кончик известной части тела мистера Поупа, когда однажды, расхаживая во сне, он поднялся к ней в мансарду, зажав эту прямую как палка часть тела в кулаке и сипло постанывая; тогда она сделалась холодной как мрамор, и он, коснувшись ее горячей ладонью, отпрянул, обожженный ледяным холодом.

Миссис Папагай виделась ей такой, какая есть, ибо она любила ее такой, какой она была, и все же, словно царицу Южных морей, ее голову

венчал плюмаж из павлиньих перьев, и перьев лирохвоста, и лилейных страусиных перьев. Миссис Герншоу часто казалась влажной с головы до пят; влагой мерцали жирные складки ее тела, и она напоминала то ли русалку, поднявшуюся из морских глубин, то ли морского льва, который сидит на камне и, задрав морду, тоскливо лает. А иногда миссис Герншоу представлялась ей в виде гигантской вазы или огромного бутона, внутри ее шевелились фигурки, похожие на консервированные персики. А по другую руку миссис Герншоу сидел капитан Джесси. Как-то раз, посмотрев на него, Софи увидела огромное белое хохлатое существо с большими мощными крыльями и острым клювом. Существо томилось в его теле, отгороженное от мира, словно прутьями решетки, ребрами капитана, и выглядывало наружу золотистыми нечеловеческими глазами. Позже, определенно это было уже позже, капитан Джесси показал ей пару своих гравюр, на которых изображался огромный белый альбатрос, — капитану доводилось видеть альбатросов во время полярных экспедиций. Он много рассказывал ей о снежных пустынях, о голубоглазых ездовых собаках, которых съедали, как только они выбивались из сил. Рассказывал об изумрудных

ледяных расселинах, в которых бесследно пропадали люди.

— Поэт прав, — говорил ей капитан, — лед зеленый, как изумруд, это, моя милая, я говорю вам как очевидец с научной достоверностью.

Что до миссис Джесси, то порой она виделась Софи юной, красивой девушкой с белой розой в черных, точно вороново крыло, волосах — такой она нравилась ему. Теперь Софи знала, что, бесстрастно вглядевшись, может увидеть в любой женщине призрак юной девы, каковой она была много лет тому назад, и старой карги, в которую суждено ей превратиться. Так что миссис Джесси виделась ей и ведьмой, закутанной в черные как ночь тряпки и лохмотья, старухой с заострившимися носом и подбородком, с беззубой гузкой рта. Девушка ждала и надеялась — старуха сидела, сложив морщинистые руки рядом с когтистыми вороньими лапами или поглаживая Мопса по дряблой, складчатой холке.

— Давайте споем, — предложила миссис Папагай.

Мистер Хок закончил читать Слово, и теперь ей предстояло направлять присутствующих, настроить их для общения с миром духов. Больше всего она любила гимн «Свят, свят, свят», сочинение

епископа Гебера, который любили также Лауреат и Софи Шики; прозрачная радость, словно тысяча стеклянных копий, пронзала Софи, когда пели:

*Свят, свят, свят. Святые славят Твою милость,*

*Скинули в стеклянно море шапки золотые.*

*Херувим и Серафим пред Тобой склонились,*

*Бывший, Сущий и Грядущий. Свято Твое имя.*

Но миссис Герншоу особенно любила другой гимн, «Приют для младенцев», и еще:

*Вкруг Божьего престола в ряд*

*Святые Ангелы стоят;*

*Короны златые на них;*

*Господню Славу зрят они*

*И сладкозвучный лирный звон*

*Возносят Богу всех племен.*

Поэтому они спели оба гимна, ритмично подымая сцепленные руки и чувствуя, как через сплетенные пальцы пробегает теплая струя, электрический пульс, связывающий их с миром

мертвых.

Огонь в камине почти погас. Сгустилась темнота. Ясным, холодным голосом Софи Шики произнесла:

— Духи здесь, я чувствую их и чувствую запах роз. Кто-то еще ощущает сильный аромат роз?

Миссис Папагай отвечала, что ей кажется и она ощущает запах. Эмили Джесси втянула носом воздух, и ей тоже показалось, будто слабый розовый аромат пробивается сквозь печеночный дух дыхания Аарона и невыветрившиеся кишечные газы Мопса, по поводу которых благовоспитанные гости никогда не делали замечаний. Мистер Хок все принюхивался и сопел: уф, уф, уф, — так что Софи вежливо попросила его сидеть тихо: если он станет напрягаться, то ничего не увидит и не почувствует, поэтому нужно расслабиться и сосредоточиться.

Вдруг миссис Герншоу воскликнула:

— Я чувствую запах, я его чувствую; он повеял на меня, словно аромат летнего сада.

Миссис Папагай проговорила:

— Что-то говорит мне, что нам надо представить себе розовый сад с изгородью и арками из роз, мягкие лужайки и огромные клумбы с розами всех цветов: красными, белыми, кремовыми, и всех

оттенков розового цвета, и золотисто-желтыми, и тех цветов, которых нет в природе, — огненные розы и розы с небесно-голубой сердцевиной и с сердцевиной как черный искристый бархат.

И они представили себе такой сад. Теперь каждый чувствовал восхитительный аромат. Стол под их руками загудел и затрясся. Миссис Папагай спросила:

— Это дух?

И в ответ раздалось три быстрых утвердительных удара.

— Это дух того, кто нам знаком?

Удары посыпались, как горох.

— Я насчитал пятнадцать, — сказал капитан Джесси, — пятнадцать. Пять раз по три. Здесь пять духов, которых мы знаем. Быть может, это ваши малышки, миссис Герншоу.

Боль, надежда и страх миссис Герншоу ворвались в Софи Шики, терзая ее, словно гигантский клюв. Она невольно вскрикнула.

— Быть может, это злой дух, — предположил мистер Хок.

— Желаешь ли ты говорить с нами? — спросила миссис Папагай.

Раздались два удара, что означало сомнение.

— Или с кем-то одним?

Снова пятнадцать ударов.

— Или с миссис Герншоу?

Три удара.

— Если мы возьмем перья, ты будешь направлять их? Назовешь нам свое имя?

— Кто должен писать? — спросила у пришельцев миссис Папагай. Затем она одно за другим назвала имена всех сидящих в кругу, и духи выбрали ее, как она предполагала и надеялась. Она чувствовала, что боль и опустошенность прочно связывают сейчас миссис Герншоу и Софи, и по наитию знала, что должна сама взять перо, иначе жажда не будет утолена, но только усугубится. Ей хотелось передать этой несчастной, обездоленной женщине хорошее послание. Про себя она помолилась ангелам, прося утешения для нее: «Пусть она утешится», и, взяв в руку перо, добросовестно очистила от всякой мысли свой ум, чтобы он беспрепятственно пропускал к ее пальцам слова пришельцев.

Каждый раз, когда рука ее начинала писать без всякого понуждения с ее стороны, ее на миг охватывал ужас. Однажды она с родителями гостила у кузена в Саутдаунсе, и ее повели посмотреть, как работает человек, отыскивающий под землей воду: человек шел по лугу, держа в руках

раздвоенную ореховую рогатку, и вдруг прутик дернулся и согнулся. Она стояла между отцом и матерью, которые со скептицизмом горожан наблюдали все это, а человек взглянул на нее и, протягивая прутик, сказал: «Ну, теперь ты попробуй». Она отпрянула от рогатки, как от ножа, а отец засмеялся и сказал: «Ну что ты, Лилиас. Это всего-навсего деревяшка». Это и в самом деле была деревяшка, срезанная мертвая веточка, и, взяв ее в руки, она пошла по траве деревянной походкой, чувствуя, что выглядит довольно глупо. И вдруг что-то влилось в прутик и побежало по нему, заставило его брыкаться и извиваться в ее руках, и она завизжала в таком ужасе, что все поверили, никому не пришла мысль, что она может их разыгрывать. Теперь легко было представить тот опыт как случай ранней восприимчивости к силам животного магнетизма. Миссис Папагай рассказывала в спиритических кругах об этом как о проявлении своей духовной силы, о первом указании на то, какие в ней заложены способности. Но тогда она едва не упала в обморок от страха, да и теперь, когда, даже помолившись и преисполнившись надежды, она брала в руку перо, ее одолевал какой-то животный ужас. Ибо перо вело себя так же самовольно, как та орехо-

вая рогатка. Ореховый прутик был посредником между руками девочки и невидимыми протоками холодных подземных вод — это было понятно. Но какая сила заставляла перо брыкаться, извиваться и выписывать буквы?

Обычно миссис Папагай начинала с разрозненных слов и обрывков фраз, но постепенно, нанизываясь друг на друга, слова сливались в цепочки, а из путаницы возникало послание или вырисовывался чей-нибудь портрет — блуждающее перо рисовало выразительные глаза, широкий лоб; бессвязные обрывки слагались в точную, яркую картину. Так было и сегодня.

*Руки руки через руки рука сверху снизу над между под руками пусенькие ручки пусенькие пухлые ручки цветник роз руки запутались в траве морской на голой улице в лысом черепе не черепе детской головке небесные врата открылись в головке холодные руки такие холодные такие холодные руки больше не холодные цветник роз ЭМИ ЭМИ ЭМИ ЭМИ ЭМИ люби меня я люблю тебя мы любим тебя в нашем розовом саду мы любим тебя твои слезы делают нам больно они обжигают нашу нежную кожу как обжигает лед здесь холодные ручки порозовели мы любим тебя.*

— Спрашивайте, миссис Герншоу, — сказала миссис Папагай.

— Вы мои девочки? Где вы?

*Мы растем в розовом саду. Мы твои Эми. Мы смотрим за тобой, мы заботимся о тебе ты будешь с нами еще не скоро не скоро.*

— Узна́ю ли я вас? — спросила женщина. — Я помню запах их волосиков, — сказала она Эмили Джесси.

*Мы выросли. Мы растем и учимся мудрости. Нам улыбаются ангелы и учат мудрости.*

— Может быть, вы дадите совет вашей матушке? — спросила миссис Папагай.

Перо начертило на бумаге размашистую дугу и пошло выписывать заостренные буквы, непохожие на прежние, по-детски округлые:

*Мы видим, что новый братец или сестрица принимает очертания, растет, как семя в темной земле; в наших темных могилах, в нашем розовом саду мы радуемся и уповаем на это дитя. Ожидай ее с надеждой, любовью и верой, не бойся, ибо, если ей велено будет вскоре прийти в нашу летнюю страну, тем будет она счастливее. Будь в этом уверена, это облегчит боль; переживи боль разлуки с ней, как потерпишь боль при ее рождении, наша милая смерть мама, милая*

*смерть, мы любим тебя, люби же ее. Не нарекай ее нашим именем. Мы будем жить вечно. У нас одно имя, но и довольно. Мы пять пальцев одной розовой руки.*

Миссис Герншоу словно таяла. Все ее полное тело колыхалось и дрожало, широкое лицо блестело от теплых слез, шея тоже стала мокрой, мелко тряслись ее большие груди, на руках проступили пятна влаги.

— Как же мне назвать ее? Какое имя дать? — спросила она.

Перо замерло, а затем медленно вывело прописными буквами:

«РОЗА, — и после продолжительной паузы: — МУНДИ».

И вновь решительно застрочило:

*Назови ее Розамунд Роза Мира и может быть она погостит подольше на твоей мрачной земле и принесет тебе радость милая мама нам не дано знать так ли это будет но если тому быть не суждено мы с радостью примем в наш цветник новую розу и все же мы верим и надеемся что если ты будешь сильной она тоже будет сильной и проживет с тобою долгие годы милая смерть мама.*

Писать «смерть», когда очевидно подразумева-

ется «дорогая»[75], и наоборот, было странностью, присущей бессознательному письму миссис Папагай. Так выходило само собой; и все давно решили не придавать этому большого значения; один мистер Хок искал в сходстве этих слов тайный смысл или умысел. Миссис Папагай немного испугало то, с какой определенностью духи провозгласили, что, во-первых, миссис Герншоу ожидает малютку и, во-вторых, что ребенок будет девочкой. Она тяготела к посланиям более тактичным и двусмысленным, наподобие предсказаний Дельфийского оракула. Миссис Джесси отирала слезы миссис Герншоу скомканным носовым платком — тем же платком она, покормив Аарона, вытирала руки. Софи сделалась матово-жемчужного цвета и застыла, словно статуя. Мистер Хок, разумеется, принялся рассуждать о том, поддается ли проверке правдивость этого милого, трогательного послания.

— Это — подлинное пророчество, миссис Папагай. Остается решить, ложное оно или истинное.

Миссис Герншоу вновь залилась слезами:

— Ах, мистер Хок, все это правда. Все, ими сказанное. Всего неделю назад я догадалась и ни с

---

**[75] Примечания: 75**

*Dear (англ.)* — дорогая — написанием напоминает *death* — смерть.

кем не делилась, даже с моим мужем, но они сказали правду: я жду ребенка, и, буду откровенна, меня одолевал страх, а надежда едва теплилась; после того что я пережила, страх мой простителен, и милые малютки поняли и простили меня и пришли ко мне с утешением. — Ее белая шея дрожала от клокотавших в горле слез. — Я сделала все, чтобы не допустить… я уже не надеялась… мне было страшно, очень страшно.

Миссис Папагай, ужасаясь того, что сейчас предстанет перед ней благодаря ее неукротимому воображению, с нетерпением и гадким любопытством мысленно ворвалась в супружескую спальню миссис Герншоу. Крупная женщина, плача, расчесывает волосы — у нее, должно быть, хорошая щетка с ручкой из слоновой кости, да, и она сидит перед небольшим туалетным зеркалом. На ней черный шелковый — траурный — пеньюар. Она расчесывает свои густые волосы и уже сняла драгоценности: кучка гагатовых и эбеновых крестиков и медальонов, траурных колец и браслетов печально высится меж двух свечей, будто крошечная усыпальница для ее дочек. И входит он, маленький мистер Герншоу; вот именно, он маленький человечек, похожий на черную осу, с густыми, жесткими черными

бакенбардами, которые он отпустил специально, чтобы выглядеть больше и внушительнее; на голове у него хохолок жестких черных волос, похожий на коротко подстриженную конскую гриву. Он подает ей едва заметный условный знак, давая знать о своих намерениях, о тех самых намерениях. Он может по-разному это сделать: может тихонько подойти к ней, поднять прядь волос и поцеловать в печально согнутую шею или просто погладить по голове. И бедняжка все ниже, все ниже склонит голову: она готова исполнить супружеский долг, но страх переполняет ее, страх перед неотвратимым — извержением семени в ее лоно. Тут миссис Папагай попыталась обуздать свое разгулявшееся воображение, но оно вырвалось и снова полетело вперед: и вот мистер Герншоу крепко схватывает жену и теснит ее к кровати. Миссис Папагай взялась и ее представлять. Она снабдила ее бархатным балдахином, но тут же убрала его — слишком не к месту он пришелся. У них кровать большая и мрачная, решила она, широкая и пухлая, наподобие самой миссис Герншоу, с алым пуховым стеганым одеялом и свежими, пахнущими лавандой простынями. На эту кровать нелегко взобраться, и вот миссис Герншоу медленно влезает на нее — она уже

сняла пеньюар и осталась в одной белой льняной сорочке, отделанной broderie anglaise и черными лентами. Она склоняется над кроватью, и ее груди покачиваются в колоколе сорочки, а он взбирается следом, ухватившись за ее широкие бедра. Да, миссис Папагай видит именно так — этот колючий человечек загоняет ее в постель, словно свинью в тесный загончик. Из-под его полосатой ночной рубашки торчат ноги, словно каракулями испещренные черными волосами. У него худые, сильные, угловатые ноги.

И вот такой следует диалог:

— Дорогая, я должен…

— Ради бога, нет. У меня болит голова.

— Я должен. Сжалься, дорогая. Я должен.

— Я не вынесу этого. Мне страшно.

— Господь не оставит нас. Надо лишь следовать Его воле и верить в Его промысел. — Бакенбарды колют ей лицо, маленькие ручки тискают ее дородное тело, острые коленочки подвигаются ближе к белым бедрам.

— Все же я не…

Миссис Папагай охватывает гнев: человечек оказывается наверху и начинает качаться, вверх-вниз, с животной одержимостью, не обращая внимания на мольбы жены. Но миссис Папагай

раскаялась, рассердилась на себя за это сочинительство, вызвавшее в ней столько негодования, и попыталась все представить иначе: два отчаявшихся, любящих друг друга человека, охваченные горем, тянутся друг к другу в темноте, обнимаются, стараясь утешиться, и от тепла сочувствия в них естественно вспыхивает желание. Только эта сцена, в отличие от первой, казалась неправдоподобной. Миссис Папагай вернулась наконец к действительности (эти сцены лишь на краткий миг заняли ее воображение) и подумала напоследок: наверное, другие тоже рассказывают себе выдуманные истории; может быть, человек постоянно наделяет ближних, и живых и мертвых, выдуманными чертами; и то, что она минуту назад узнала о сокровенной жизни миссис Герншоу — истинное ли это знание, или ложное, или и то и другое, ведь духам было известно, что миссис Герншоу *enceinte*[76], — понять ей не дано.

**[76] Примечания: 76**
Беременна *(фр.).*



# V

— В комнате что-то есть, — произнесла, словно во сне, Софи Шики. — Между софой и окном. Живое существо.

Все посмотрели в темный угол — тем, кто сидел напротив Софи Шики, и в частности Эмили Джесси, сидевшей прямо напротив, пришлось повернуть голову и вытянуть шею, но они увидели лишь смутные очертания фанатов, птиц и лилий мистера Морриса.

— Вы его ясно видите? — спросила миссис Папагай. — Кто это, дух?

— Вижу ясно. Только не знаю, кто это. Но я могу его описать. Хотя и не полностью: для многих оттенков нет слов в человеческом языке.

— Опишите его нам.

— Он из какого-то вещества, которое походит… как бы сказать поточнее… на витое стекло. То ли сплетенные перья, то ли полые стеклянные трубки; они свиты, как пряди волос в косе, как мышцы на рисунках, изображающих человека без кожи, но они из расплавленного стекла. Это существо очень горячее, испускает яркий шипучий свет… очертаниями оно походит на огромный графин

или флягу, но оно живое. На продолговатом стеклянном лице пылающие глаза, а впереди предлинный клюв или хобот… длинная шея чуть согнута, и этот нос, клюв или хобот… заправлен в… в… косицы огненной груди. Оно целиком состоит из глаз, оно заполнено золотыми глазами. На нем как бы перья… разноцветные перья в три слоя… не могу разобрать цвета… перья плотные, как густой туман… на шее брыжи из перьев, а посередине туловища что-то вроде мантии… не знаю, есть ли у него шлейф, хвост или крылышки на ногах, не вижу: оно все время колеблется, сияет, искрится, испускает пучки света. Я чувствую, ощущаю, что ему не нравятся некоторые мои слова, сравнения, что они его унижают; когда я сравнивала его с графином и с флягой, ему это не понравилось. Я ощутила его гнев, оно было горячим. Но оно хочет, чтобы я описала его вам.

— Оно настроено враждебно? — спросил капитан Джесси.

— Нет, — медленно проговорила Софи Шики и добавила: — Оно раздражено.

*Иные два – как звездный пояс, облегали чресла,*

*Скрывая бедра пухом золотым,*

*Пестревшим всеми красками небес, —*

продекламировала миссис Джесси.

— Вы тоже его видите? — спросила Софи Шики.

— Нет. Я цитировала «Потерянный рай». Поэт описывает архангела Рафаила:

*Шестью крылами стан*
*Его божественный был осенен*[77].

Капитан Джесси заметил:

— Про крылья ангелов пишут занятные вещи. Подсчитали, что, для того чтобы уравновесить тяжесть крыльев, ангелу необходима очень высокая грудина, в несколько футов, изогнутая, как киль у птицы, киль огромной птицы.

— Мой брат Горацио, — вступила в разговор миссис Джесси, — однажды, наблюдая, как женщина-скульптор покрывает резьбой царские врата, заметил: «Эти ангелы — ну чем не гусыни неуклюжие?» — чем очень ее огорчил.

— В подобную минуту, миссис Джесси, — сказал мистер Хок, — вы еще позволяете себе шутить. Какое легкомыслие…

— Мы таковы, какими нас создал всеблагой

---

**[77] Примечания: 77**
Перевод А. Штейнберга.

Господь, — возразила миссис Джесси. — И Он знает, что наше легкомыслие выражает наше благоговение, наш ужас, нашу неспособность постичь чудесное. Трудно предположить, что мисс Шики созерцает сейчас чистый ангельский образ, образ ангела, сотворенного из воздуха, как ангел доктора Донна[78]:

*Крыла и лик ее воздушны и едва ли*
*Не столь же, как у ангела, прозрачны.*

Что общего может быть между эфирным ангелом и стеклянной бутылью с хоботом?

Даже в напряженнейшие, драматические моменты сеанс все же оставался просто вечерним развлечением. Нет, нельзя было сказать, чтобы миссис Джесси не верила в то, что Софи Шики видит пришельца из мира иного, — она была убеждена, что Софи в самом деле его видит; однако доля сомнения всегда присутствовала, как и скептицизм, и удобная, неосознанная животная невосприимчивость к невидимому, — все это отрезвляло, удерживало в границах здравого смысла.

---

**[78] Примечания: 78**

*Донн Джон* (1572–1631) — английский поэт. Автор лирических стихотворений «Песни и сонеты», цикла «Священные сонеты», поэмы «Анатомия мира».

Мистер Хок заметил тоном знатока:

— Возможно, мисс Шики видит ангельскую мысль, принявшую такой облик в мире духов, находящемся ниже мира ангелов. Сведенборг рассказывает много удивительного об ангельских эманациях, о следах их умственной деятельности, которые сохраняются в нас, чтобы проявиться в будущем. Он, например, полагал, что ангельские эманации достигают младенца еще в утробе матери, в частности останки супружеской любви ангелов (ибо любовь — это живой организм), и при определенных обстоятельствах мы способны ощущать их.

«Даже если перед мистером Хоком, — подумала миссис Папагай, — явится исполинский багровый херувим с огненным мечом, угрожая испепелить его, он все же станет искать этому объяснения; и если звезды посыплются с небес, как плоды фигового дерева, он и тут будет рассуждать об „определенных обстоятельствах“».

Софи Шики смотрела, как блестящее существо из витого стекла кипит и пузырится. Ее бросало то в жар, то в холод; она то вспыхивала, то, когда жаркая волна откатывала, вновь бледнела и коченела. Существо в образе фляги или вазы, наполненное глазами, золотыми глазами, напо-

минало скопление лягушечьих икринок. Но все же она чувствовала, что это скопление пылающих глаз едва различает ее самое, что существо видит обстановку комнаты и людей не так ясно и четко, как она, Софи, видит его.

— Он говорит: «Пиши», — произнесла она сдавленным голосом.

Миссис Папагай в тревоге взглянула на нее и поняла, что ей больно.

— Кто будет писать? — торопливо спросила она.

Софи взяла перо. Миссис Папагай заметила, как напряглись жилы на ее шее, и сказала остальным:

— Будьте предельно осторожны. Контакт опасен и болезнен для медиума. Сидите очень спокойно, старайтесь ей помочь.

Перо побежало по бумаге, выводя слова аккуратным, изящным почерком, полная противоположность по-ученически круглому и крупному почерку Софи:

*Ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был*

*холоден или горяч.*

*О вашем легкомыслии я мрачно раз-*

*мышляю,*

*Ваш долг священен, вам о нем напоминаю:*

*Должны оплакивать вы вечно нашу Госпожу.*

*Лаодикия, Лаодикия.*

Перо замерло, вернулось к написанному, вычеркнуло «Лаодикия» и медленно и старательно вывело:

*Теодицея* [79] *новис новиссима. Домой по сонной глади моря везет прах милый, прах один, груз черный — сгинувшую жизнь. Прах. Прах.*

Чувства всех присутствующих, такие разные, но слившиеся в один поток, захлестнули миссис Папагай. Благоговейный ужас поразил миссис Герншоу, она с трудом могла дышать. Мистер Хок быстро соображал, что бы могли значить эти слова.

— Это строки из Откровения, глава третья, стихи пятнадцатый и шестнадцатый. Послание

---

**[79] Примечания: 79**

*Теодицея (греч., букв.* — Божья правота, Божья справедливость) — течение в христианском богословии, имеющее целью объяснить существование зла в мире, которым управляет милосердный и справедливый Бог. Богооправдание в христианстве имеет давнюю традицию: впервые этим вопросом задался св. Августин, им занимался и Фома Аквинский, а в 1710 г. был опубликован философско-богословский труд Лейбница под тем же названием — «Теодицея».

обращено к ангелу Лаодикийской церкви: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих». Нам вменяют в вину недостаток усердия. Что значит Теодицея, я не знаю; может быть, нам хотят сказать, что в нашем Маргите мы недостаточно ревностно приближаем Царствие Божье. Однако слова не все из одного текста.

—

Стихотворная строфа взята из «In memoriam», — сказал капитан Джесси. — В ней речь идет о корабле, который везет домой мертвеца, «груз черный — сгинувшую жизнь». Я всегда восхищаюсь этой строчкой: выходит, что вес груза есть тяжесть пустоты, черноты, сгинувшей жизни. Тяжелы не останки, но то, чего больше нет; этот прием называется парадоксом, не так ли? На море зловещее затишье, по его сонной глади идет под парусами, скользит неслышно, как призрак, корабль и везет…

— Довольно, Ричард, — прервала его миссис Джесси. — Все знают, что эта строфа из поэмы моего брата. Разговаривая с нами, духи часто используют строки из этой поэмы. По-видимому, она им очень нравится, причем они говорят ее

языком не только в моем доме — в наших мыслях эта поэма, естественно, занимает много места, — но и в других, во многих других домах.

В полумраке она оборотила к Софи Шики свое смуглое, хищное лицо. Ворон, сидевший с ней рядом, затрещал перьями, собачонка оскалила мелкие острые зубы.

— Помилуйте, к кому же обращены эти слова? Кто послал их?

— И кто эта «наша Госпожа», которую должно оплакивать? — поспешил добавить мистер Хок, всеми силами своего живого ума стараясь разгадать спиритическую головоломку.

Софи Шики пристально посмотрела на пришельца — в его глазах крутились горячие вихри. Она снова взяла перо:

*Твой голос в высоте звенит,*
*И в шуме вод его я слышу;*
*Тебя в лучах рассветных вижу,*
*Твой образ – где закат горит.*

***Откровение 2:4***

Мистер Хок бросился комментировать:

— В Откровении упоминается «Ангел, стоящий на солнце», но это не вторая глава, а семнадцатый и восемнадцатый стихи девятнадцатой главы:

«И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных…»

— Нам хорошо знакомы эти слова, мистер Хок, — сказала миссис Джесси, — они в самом деле из семнадцатого и восемнадцатого стихов девятнадцатой главы.

Тогда капитан Джесси взял со стола Библию и заглянул в нее:

— А вот четвертый стих главы второй. Послание обращено к Ангелу Ефесской церкви: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Бог мой. Как занятно. Что бы это могло значить?

— Так кто же эта «наша Госпожа», которую должно оплакивать? — не мог успокоиться мистер Хок.

— Это перевод сонета из Дантовой «Vita Nuova», — с ехидцей пояснила миссис Джесси. — «Наша Госпожа» — это Беатриче, умершая в двадцать пять лет и вдохновившая Данте на создание «Божественной комедии». Поэт познакомился с ней, когда им обоим было по девять лет, и, хотя после ее смерти женился, остался верен ее

памяти. Не откроет ли нам наш гость, мисс Шики, к кому из нас обращено предостережение?

Софи Шики посмотрела в бурлящие глаза, на оперенное тело.

— Оно исчезает, — промолвила она.

Перо вывело:

*Увы, кончина. Увы Э. моя. Увы.*

— Послание предназначено вам, — сказала миссис Герншоу. Она хуже других была знакома с историей жизни миссис Джесси, и ее не встревожил грозный тон послания.

— Я так и думала, — сказала миссис Джесси. — Но мы все же не знаем, от кого оно. В круг спиритов, как всем известно, могут проникать разные духи, духи и живых людей, и мертвых.

Она разорвала круг и обхватила руками голову с прядями серебристо-темных волос. Ее жест вывел ворона из оцепенения; он вдруг взмахнул огромными крыльями, хлопнул ими над головой и, раскрыв черный клюв, показывая острый, черный змеиный язык, хрипло, скрипуче закаркал. Темные перистые тени заметались по потолку. Мопс очнулся от дремоты, гортанно зарычал, заворчал глухо, и в брюхе у него громко забурчало. В камине, судорожно вспыхнув алым и малиновым, изрыгнув облачко дыма, рассыпался

крошечный Везувий из угольков. От пришельца Софи Шики оставался теперь только контур из ярких линий на темном фоне; он был бледнее, чем золотые плоды и звездочки цветов на софе позади него, но потом и он исчез. Миссис Папагай объявила, что сеанс закончен. Ей ужасно хотелось поподробнее расспросить миссис Джесси о том, что значили слова пришельца, — она ясно видела, что миссис Джесси поняла их, отлично поняла смысл послания; видела, что эти слова задели ее за живое и она не желает раскрывать их смысл остальным.

Обычно после своих трудов они пили чай или кофе и обсуждали сеанс, но на этот раз миссис Папагай заметила, что миссис Джесси утомлена и им лучше уйти.

Сегодня миссис Джесси не благодарила ее. Капитан завел долгое, со многими отступлениями рассуждение о тех стихах великой поэмы, в которых Лауреат описывает море.

— Строки, где говорится о погребении моряка в океанской пучине, просто великолепны, — заявил он. — Вы можете подумать, что церемония изображена с точки зрения человека, далекого от моря, и будете правы — океан действительно по-разному влияет на моряка и неморяка. По-

моему, морская стихия представляется моряку более прозаичной, вездесущей и, пожалуй, более таинственной; моряк постоянно помнит о том, что вокруг него и под ним эта необъятная, беспокойная соленая бездна, грозящая ему смертью. Оттого жизнь человеческая представляется ему чрезвычайно хрупкой, короткой и преходящей, и это вполне естественно; неморяк более склонен обманываться кажущейся незыблемостью и надежностью окружающего мира, но его сильнее поражает зрелище мертвого тела, скрывающегося под водой; всякий раз, когда мне приходилось наблюдать, как тело погружается в пучину, оставляя за собой белый след из пузырьков (воздух, достигнув какой-то глубины, возвращается к поверхности, а тело все медленнее и медленнее уходит в иную стихию, где и упокоится), всякий раз, когда я видел это, мне на миг делалось больно, меня охватывал ужас — поверьте, любой моряк боится морской стихии, и это объяснимо; вы удивитесь, узнав, что очень многие моряки твердят про себя вот эти строки: мать молит Бога оберечь ее сына-моряка, в то самое время как он

*В могилу упадает стоя*
*В койке своей как в пеленах*

*И с пушечным ядром в ногах.*

*Нет ей ни края, ни покоя.*

Как это хорошо написано: «Нет ей ни края, ни покоя». Очень складно. Моряки хранят поэму под подушкой, они благодарны за сочувствие…

— Довольно, Ричард, — оборвала его миссис Джесси.



## VI

Извозчик увез миссис Герншоу. Мистер Хок предложил проводить женщин до дому: во-первых, ему по пути, во-вторых, на улице темно, то есть прогулка выгодна всем. Когда они вышли на улицу, он попытался взять дам под руку, но Софи Шики приотстала, и получилось, что мистер Хок с миссис Папагай пошли впереди, а Софи, словно послушный ребенок, — за ними. На набережной горели газовые фонари, их желтые огни колебались и мерцали. За набережной расстилалось чернильно-черное море, и слабый ветер свивал на верхушках волн пенные гребешки. «Вот уж в самом деле, — подумала миссис Папагай, — нет ему ни края, ни покоя. Море, должно быть, уже добела обточило Артуровы кости. Может, и некому было как следует зашить его в „пелены“. Но ты, мой друг, вернись скорей». — «Никогда», — отвечал шепотом рассудок.

— Какая мерзкая птица! — заговорил мистер Хок. — По-моему, ее присутствие на сеансе совершенно неуместно, миссис Папагай. Я говорил об этом миссис Джесси, но она не соблаговолила прислушаться. И собачонка тоже неприятная

— говоря без обиняков, миссис Папагай, она дурно пахнет. Но эта птица, мне иногда кажется, одержима злым духом.

— Когда я вижу ее, мистер Хок, то непременно вспоминаю «Ворона» Эдгара По:

> *Я сказал: «Признаться надо, облик твой*
>
> *не тешит взгляда;*
>
> *Может быть, веленьем ада занесло тебя сюда?*
>
> *Как ты звался там, откуда занесло тебя сюда?»*
>
> *Ворон каркнул: «Никогда!»*[80]

— Трудно решить, — заметил мистер Хок, — задумал ли поэт это стихотворение как мрачную шутку, или эти строки порождены неподдельным чувством утраты, тоской по умершему близкому человеку: легкость и стремительность рифмы не гармонируют с тоскливым и зловещим фоном.

— Зато оно легко запоминается, — проговорила миссис Папагай, — и когда укладывается в памяти, его уже невозможно забыть.

Свободной рукой она плотнее обмотала шарф

---

**[80] Примечания: 80**
Перевод М. Донского.

вокруг шеи и начала читать наобум:

*Кресло я придвинул ближе: был занятен гость бесстыжий,*

*Страшный ворон, что на свете жил несчетные года.*

*И, дивясь его повадкам, предавался я догадкам, —*

*Что таится в слове кратком, принесенном им сюда,*

*Есть ли смысл потусторонний в принесенном им сюда*

*Хриплом крике «Никогда!»?*

— Очень живое стихотворение, — заметил мистер Хок. — Оно описывает неизбывное горе, а вы, миссис Папагай, при вашем ремесле и с вашим даром, видите его, должно быть, предостаточно. Меня поразило, сколь близко сегодняшнее послание коснулось миссис Джесси: «Потому что ты оставил первую любовь твою». Повторный брак часто бывает невозможен, тонкость ситуации в том, что, как мы знаем, супруг и за могильной чертой остается неделимой частью супружеского союза — хоть и становится призраком. Поэтому повторный брак нежелателен. Что вы об этом

думаете, миссис Папагай?

— В Индии, — отвечала миссис Папагай, — вдова ложится на погребальный костер рядом со своим господином и добровольно принимает смерть через сожжение. Мне трудно такое представить, но обычай этот соблюдается и по сей день; говорят, самосожжение там довольно распространено.

Она пыталась представить, как женщина в длинных шелковых одеждах с радостью ступает на гору благовонных дров и заключает в объятия мертвое умащенное тело. Вообразила языки пламени. И без труда представила себе отчаянное, невольное сопротивление женщин, юность которых восставала против смерти, представила смуглые руки и суровые лица тех, кто обуздывал, связывал, принуждал идти на костер непокорных.

— Ну а с точки зрения христианина, — настаивал мистер Хок, — хорошо или дурно поступила миссис Джесси?

— Миссис Джесси была всего лишь помолвлена, — отвечала неуверенно миссис Папагай. — Они не были в браке.

— А я хочу сказать следующее, — отозвался мистер Хок. — Сведенборг, как вы знаете, учит,

что истинная супружеская любовь приходит к человеку лишь однажды и у нашей души может быть лишь один супруг, единственная половина, которая ей идеально подходит. Ангел соединяет половинки в целое, и так рождается супружеская любовь. Ибо небесное Супружество (а Небо и есть Супружество, Супружество Богочеловека и в Богочеловеке) сочетает истину с добром, сочувствие с волей, мысль с нежностью, так как истина, сочувствие и мысль считаются мужскими началами, а доброта, воля и нежность — женскими.

Потому-то супругам даются на Небе имена не двух ангелов, но имя одного ангела — такой смысл, учит Сведенборг, вкладывал Господь в свои слова: «…не читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так-что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает»[81].

— Прекрасно и очень верно, — заметила неопределенно миссис Папагай. Ее воображение не могло ухватиться за доброту, волю, истину и сочувствие: то были холодные, бесплотные слова,

---

**[81] Примечания: 81**
Мф. 19: 4–6.

похожие на одинаковые монетки, которые по воскресеньям бросают — звяк, звяк — в блюдце на нужды благотворительности. Зато она хорошо представляла себе «одну плоть» («Чудище о двух спинах», — смеялся Артуро) и то восхитительное ощущение, когда все тело — от груди до самого ключа в замке, соединяющего двоих, — словно тает, растворяется от тепла.

Свободной рукой мистер Хок потрепал ее по руке, что лежала скромно на сгибе его локтя.

— Сведенборг, — продолжал он, — живописует небесное блаженство супругов самыми яркими, самыми радужными красками. Он рассказывает, что на внутреннем Небе супружеская любовь, она же невинность, предстает взгляду во множестве великолепных обличий: это может быть прекрасная дева в сияющем облаке или эфирный шар, сверкающий, как бриллиант, огненно-искристый, словно усыпанный рубинами или карбункулами. Ангелы, миссис Папагай, облечены в одежды, соответствующие их природе, поскольку на Небе все находится в соответствии. Самые мудрые ангелы носят одежды огненные или блистающие ярким светом, тогда как на менее мудрых одежды снежно-белые или матовые, без особого блеска, а у еще менее разумных ан-

гелов одежды разных других цветов. Но ангелы внутреннего Неба наги.

Мистер Хок, немного запыхавшись, выдержал эффектную паузу и потрепал затянутую в перчатку руку миссис Папагай, лежавшую на его руке. Миссис Папагай задумалась над словом «карбункулы»: карбункул, когда она читала или слушала о великолепии небесном, неизменно представлялся ей в земном, плотском смысле — как твердая болезненная припухлость на ступне, носу или ягодице. «Выходит, и у Богочеловека, — посмеивалось в ней что-то неукротимое, что-то от Артуро, — выходит, и у Него бывают прыщи!»

— Сведенборг, — продолжал мистер Хок важно, — первый из основателей религий определил радостям любви главное место на Небесах — то же, что они занимают во многих земных сердцах. Он первый постиг и поведал нам, что любовь земная и любовь Небесная в их высшем проявлении суть истинно одна Любовь. Его истолкование нашей природы и нашего истинного долга благородно и пугает смелостью суждения, вы не находите?

— Лучше вступить в брак, нежели разжигаться, — ответила миссис Папагай задумчиво словами угрюмого предписания женонена-

вистника святого Павла[82], но миссис Папагай размышляла сейчас о собственных желаниях ума и тела. Она чувствовала, что, шагая с ней рядом, мистер Хок «разжигается», хотя и не подает виду.

— Давайте поговорим о вас, миссис Папагай. Как бы вы отнеслись к повторному браку? Не сочтите мой вопрос дерзким. По-моему, он вполне пристоен. Я спрашиваю об этом, потому что пекусь, очень пекусь о благоденствии вашей натуры, к которой тянется моя натура, ваша тончайшая чувствительность должна была вам об этом поведать.

Как хорошо он все продумал, размышляла миссис Папагай. Она даже мысленно крикнула ему «браво». Сформулировав ей свою просьбу, он оставлял для них обоих возможность с достоинством отступить в чисто духовное общение. Он говорил откровенно, но был в то же время уклончив. «Браво», — повторила про себя миссис Папагай и посмотрела на темное море, подумав об Артуро, который покоится в его глубинах. Был ли Артуро ее духовным супругом, недостающей половиной ее ангела? Этого она не ведала. Но зато помнила, что Артуро удовлетворял ее тело

---

**[82] Примечания: 82**
1 Кор. 7: 9.

так, как до него она и вообразить себе не могла: он обжигал ее тысячью огоньков наслаждения, — и ее ноздри и живот тосковали по его запаху, мужскому, соленому, табачному, сухому запаху желания. И тело, которое доставляло ей такое наслаждение, лежало теперь, обезображенное, на дне, придавленное тяжестью холодной воды. В послании было несуществующее ласковое слово «пусенький» — «пусенькая ручка». «Посмотрите-ка, какие у крошки Лилиас пусенькие ручки и ножки», — сюсюкал, бывало, Артуро. Возможно, то было искаженное слово, заимствованное им из какого-нибудь языка, а он владел множеством языков, возможно, он придумал его сам, чтобы обозначить то, что любил целовать и ласкать. Она была почти уверена, что в послание для миссис Герншоу от ее дочек Артурово словечко по странной прихоти вставил ее собственный ум. Но быть может, это сам Артуро давал ей знать о своем присутствии.

— Не знаю, мистер Хок, — ответила миссис Папагай, — я была счастлива с капитаном Папагаем, я все еще горюю по нему и уже смирилась с одиночеством. Стараюсь обходиться тем, что есть. Стараюсь быть добропорядочной и не унывать. Я ничего не могу сказать о «духовном супруже-

стве». Мне доводилось видеть мужчин и женщин, снедаемых любовью друг к другу, но сама я не испытывала такого, даже не представляю, как это бывает. Но, признаюсь, мне недостает уюта: уюта общего очага, совместной жизни, взаимной любви, хотя изо всех сил стараюсь примириться со своим нынешним уделом.

— А мне так и не довелось насладиться ни счастьем, ни уютом. Однажды счастье казалось совсем близким, но чашу отвели от моих губ, когда они уже касались ее края. Я тоже смирился со своей одинокой полужизнью. Вряд ли в той женщине я нашел и потерял свою единственную половину, но тогда мне думалось, что это она. Сведенборг говорит, что Господь, пребывающий в Богочеловеке, понимает тех людей, которые, не лицемеря, ищут своего духовного супруга и для этого неоднократно вступают в земной брак; Он не осуждает такие браки в отличие от любодеяний, совершаемых по легкомыслию души.

Миссис Папагай ответила не сразу.

— Вы хотите сказать, мистер Хок, что узнать в человеке свою половину бывает нелегко?

— Думаю, да, миссис Папагай. Мужчина всматривается в одну женщину, в другую и гадает: она или не она? — и мучается искренним сомнением.

И мне такое случалось. Но я так и не разглядел свою половину.

Дальше они шли молча, а за ними, в своих серых ботинках, бесшумно скользила Софи Шики.

Они добрались до дома миссис Папагай; здесь по заведенному обычаю все трое выпивали портвейна или хереса, а потом мистер Хок уходил восвояси. Дом был высокий и длинный; на двери висел дверной молоток в виде толстой рыбины — и Артуро когда-то, и Софи Шики были от него в восторге. Бетси, выполнявшей всю работу по дому, дано было указание в холодные зимние вечера к их возвращению, а приходили они с сеанса измотанными, растапливать камин. И сегодня огонь ярко пылал в гостиной на втором этаже, — это была узкая комната с высокими потолками и высокими узкими окнами. Миссис Папагай достала бокалы и стала наливать в них вино из графина. Мистер Хок подошел к камину погреть ноги. Софи Шики села в отдалении от них и от огня, откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Мистер Хок заговорил с ней:

— Вижу, милая, что сегодняшний сеанс вас очень утомил. Существо, которое вы нам описали, весьма необычно, настолько необычно, что трудно полагать его просто плодом талантливого

воображения.

— Да, я очень устала, — отозвалась Софи, — меня уже не хватит на бокал портвейна. Если можно, миссис Папагай, я только выпью молока и сразу уйду к себе. Мне очень не по себе. Словно мы что-то упустили. Что-то тяготит меня. Мне надо лечь, успокоиться.

В самом деле, принимая стакан молока, она с трудом разомкнула веки и члены ее налились мраморной тяжестью. Маленькими глотками она стала прихлебывать молоко; мистер Хок наслаждался портвейном, а огонь вспыхнул ярче и вытеснил из комнаты взвесь морской сырости и дымного воздуха.

Софи Шики сонно поднялась и ушла спать. Мистер Хок сел в кресло лицом к хозяйке. Миссис Папагай пошла налить ему еще вина и, увидев в зеркале над столом свое отражение, решила, что все еще хороша собой. У нее был густой, но здоровый, живой румянец; красивые черные ресницы затеняли большие темные глаза; нос был остренький и с горбинкой, хотя и изящный; нельзя было сказать, что она слишком худая или слишком толстая. Она встретила свой пристальный, требовательный взгляд и мельком увидела позади себя мистера Хока — знакомым

оценивающим взглядом он мерил ее талию и бедра. Вдруг ей стало ясно, что сейчас он будет говорить. Он решил сделать ей предложение и получить ответ.

Она не торопилась наливать из графина, обдумывая ответ. Конечно, ей нужна компания, чтобы было с кем посплетничать, — нужен человек, о котором бы она заботилась, а Софи — неважная собеседница и лишена любопытства, она будто живет в другом мире, вот именно — в другом мире. А мистера Хока можно научить смеяться, можно научить избавляться от своей торжественности — он ведь человек сластолюбивый, а какой сластолюбец не откажется хоть на время от своих проповедей, оставшись наедине с красавицей-женой? «Я отказываюсь, — убеждала она себя, — от отличной партии. Надо хотя бы немного его поощрять, правильнее всего принимать знаки его внимания с достоинством и радушием; надо развязать ему руки и посмотреть, каков он и как себя поведет».

— Кхм, — громко откашлялся мистер Хок. — Миссис Папагай, я хотел бы вернуться к прерванному разговору. Пусть наш разговор будет… давайте мы с вами кое-что предположим… пусть он будет более личным. Вот мы с вами сидим у

огня и чувствуем себя совсем свободно, я бы даже сказал, очень естественно себя чувствуем, вместе наслаждаемся теплом и вином; у нас с вами общие идеалы, мы оба очень восприимчивы и легко воспринимаем, — он говорил совсем не то, что думал: его привычка проповедовать оказалась сильнее его, — волеизъявления незримого мира духов, окружающего нас со всех сторон, такого близкого и дивного.

— Да уж, — сказала миссис Папагай, — это правда, и слава богу. — А сама подумала: «Как-то неискренне это у меня вышло».

— Я надеюсь, — продолжал мистер Хок, — что несколько скрасил ваше одиночество своей заботой о вас, своим соучастием и, если позволите, миссис Папагай, своим чувством к вам.

— Да, я это ощутила, — намеренно торжественно и неопределенно ответила миссис Папагай. «Что церковь, что гостиная, — подумала она, — для него нет разницы. Неужели так будет всегда? Быть может, в постели он станет другим? Или он заставит жену часами молиться вместе с собой у кровати или даже, — ее воображение вновь пустилось вскачь, — во время близости?»

— Лилиас, — позвал мистер Хок, — позвольте мне звать вас по имени.

— Уже много лет никто не называл меня Лилиас, — сказала миссис Папагай.

И тут мистер Хок оплошал.

— Зовите меня Джоб, — сказал он и плашмя повалился на миссис Папагай, которая сидела на своей вишневой бархатной софе.

Может быть, думала она впоследствии, он просто оступился и потерял равновесие; наверное, он хотел подойти и сесть у ее ног или поцеловать ей руку, но как бы то ни было, пухлый человечек бухнулся ей прямо на колени; вот так же Мопс взбирался на софу миссис Джесси; его пальцы заскребли по ее груди, а его дыхание, насыщенное парами портвейна, обдало ей губы и ударило в ноздри. Тогда миссис Папагай, благоразумная и умудренная жизнью женщина, взвизгнула и машинально с силой оттолкнула его от себя так, что он отлетел и уселся на коврике перед камином, вцепившись в ее щиколотки, побагровев и хрипло дыша.



# VII

При свете лампы миссис Джесси изучала послание. Служанка, неопрятная, упрямая и истеричная девица, которая часто падала в обморок от запаха хереса и при которой сверхъестественным образом из графина улетучивался виски, а из ящиков — столовое серебро, унесла пустые чашки и расшевелила кочергой угасающий огонь. Капитан расхаживал взад-вперед у окна, посматривал на звезды и бормотал что-то насчет погоды — складывалось впечатление, что он ведет дом как корабль по бездонным хлябям в далекий порт. Из этого окна моря не было видно, он так деловито выглядывал наружу, словно воочию видел его. Он вслух производил математические расчеты, делился сам с собой астрономическими наблюдениями, оценивал видимость Сириуса, Кассиопеи и Плеяд.

— Довольно, Ричард, — приказала миссис Джесси механически, наморщив лоб: она все разбиралась в послании.

Однажды она нечаянно подслушала разговор золовки, Эмили Теннисон, с кем-то: Эмили рассказывала, что Альфред просто бежит из дому

под любым предлогом, если ожидается визит капитана Джесси: капитан вечно бубнит что-то невразумительное, Альфреду же для сочинения стихов необходима полная тишина.

«Она пеленает своего Альфреда, как мумию, и пуговицы ему, как дитяти, застегивает», — часто повторяла про себя безжалостно Эмили, но лишь про себя, ибо все Теннисоны остро чувствовали родство и страстно любили друг друга; все до единого, за исключением несчастного Эдварда, который обретался в приюте для душевнобольных. Но и его они изо всех сил старались любить, окружали вниманием, пока не стало ясно, что все это тщетно. Альфред писал отличные стихи, писал даже лучше, чем сейчас, тогда в их доме, в веселой и гораздой на выдумки суете, которой так восторгался Артур, — это было в 1829 и 1830 годах, в те несколько недель, когда их неистовый отец уехал во Францию; предоставленные самим себе, они расцвели, оживились. Уже тогда Альфред был великим поэтом, он и по сей день оставался им; Артур сразу же признал в нем великий талант — с восхитительной, спокойной убежденностью в этом, так ободрявшей и укреплявшей веру Альфреда в свои силы!

Миссис Джесси всмотрелась в почерк, которым

было написано послание. Он не имел ничего общего с невинными петельками и кружочками Софи Шики. Он напоминал ей мелкий и стремительный почерк Артура и одновременно — почерк Альфреда, тоже мелкий и стремительный, но менее убористый. Наклон букв кое-где менялся. Встречалась характерная Артурова маленькая *«д»* с завитушкой наверху, но не во всех словах. Такая *«д»* была в слове *«должны» («Оплакивать должны вы вечно нашу Госпожу»)* и еще в загадочном для непосвященных слове *«Теодицея»*. Послание имело несомненную связь с Артуром, и, быть может, ей следовало разрыдаться, как разрыдалась миссис Герншоу, от тоски и муки — ведь почерк в послании так сильно был похож на его почерк! Но она не заплакала. Она предпочла вслух усомниться. Притворилась. Она, «вечная Госпожа» Артура, «монна Эмилия», «моя Эмили», «милая Нем», «милая Немкин», отлично знала, что эти Дантовы строки не просто цитата из «Новой жизни», но строки одного из стихов, в котором Данте пишет о любви к своей покойной Госпоже, монне Беатриче, переведенного Артуром с итальянского незадолго до смерти. «L'amaro lagrima che voi faceste», — он предложил и ей перевести стих и посмеивался над ее

неважной памятью и неуклюжим синтаксисом. «Вы горько плакали», — напоминает поэт своим глазам, когда их взгляд на миг падает на другую деву; отсюда и укоризна: «Ваш долг священен, вам о нем напоминаю. Оплакивать должны вы вечно нашу Госпожу». Какой шум подняла бы спиритическая печать, как поразились бы члены Новоиерусалимской Церкви, если бы узнали про такое связное, точное и личное послание духов! Но помимо прочего, кроме уже привычных цитат из «In memoriam», в этом послании упоминалась «Теодицея». «Теодицею» Артур написал специально для высоколобых кембриджских «апостолов», и, прочитав эссе, они согласно решили, что оно очень оригинально и великолепно написано. В «Теодицее» Артур доказывал, что зло существует в мире потому, что Богу необходима человеческая любовь, страстная любовь; по этой причине Он сотворил осязаемого Христа как предмет желания, а для того, чтобы любовь к Христу могла проявиться, создал полную греха и печали Вселенную. «Воплощение, — писал Артур, — сочетало человеческую любовь („связывающую двоих узами столь тесными, что каждый уже не мыслит себя без своей половины“) с любовью Божественной, и, таким образом, смерть Христа

ради любви есть путь к Богу». Эмили было неясно, почему Артур так уверен в том, что любовь не может проявиться без зла.

Эссе было очень абстрактным, но его переполняли страсти, кипевшие в авторе. Артур сожалел, что она его прочла.

«Я почти жалею, что ты читала мою „Теодицею“. Она, пожалуй, не прояснила, но, наоборот, затемнила твое видение добра и зла. Я полагаю, женщине ни к чему углубляться в богословие; постигая веру, мы более вас склонны находить в ней тонкие противоречия и имеем большую нужду в оружии, способном повергнуть их ниц. Но для неколебимой веры прочнейшей основой служит невинность. Сердце, а не разум должно внушить нам две основные истины: существует Любовь, существует и Зло. Так пусть же не скроют их от тебя, возлюбленная Эмили, облака сомнений и душевной смуты, пусть не скроют великого Факта, я имею в виду смысл Искупления, которое помогает нам не ужасаться Любви и Злу, но радоваться им».

«Я полагаю, женщине ни к чему углубляться в богословие», — какой резкой отповедью показались ей тогда эти слова! Каких трудов стоило ее непривычному уму разобраться в хитроспле-

тениях и тонкостях «Теодицеи», но в награду за труды Артур прислал еще одно высокомерное письмо, в котором давал понять, что ей, провинциалке, недостает изящности, что она, женщина, не всегда способна поддержать умную беседу, и ей стало не по себе, она испытывала раздражение и еще какое-то чувство, какому не было имени. Теперь, когда ей стукнуло шестьдесят четыре, она почти забыла, что Артур написал это в двадцать лет. А в двадцать два он умер. Он был юным богом. Для всех друзей и знакомых он был юным богом. Когда он оставался с нею наедине, его высокомерие пропадало; его лицо пылало (причиной тому было расстройство кровообращения, которым он уже тогда страдал), узкие губы выдавали смятение чувств. Но вместе они провели только месяц перед помолвкой, и еще трижды перед самой смертью он недолго гостил у них. Она для него была и богиней, и ангелом-хранителем, и маленькой девочкой, и любимцем-ягненком. Ничего странного в таком отношении она не находила, по крайней мере в то время. Она страстно любила его. После тех нервных объятий на желтой софе она постоянно, ежедневно думала о нем.

Отогнав воспоминания, она вернулась к посла-

нию. Одни укоры, одни горькие упреки — они адресованы ей, чтобы причинить боль. Какие они жестокие: *«Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. О вашем легкомыслии я мрачно размышляю. Прах».*

Люди склонны к раздражительности и разочарованию, думала Эмили Джесси. Ей так хотелось поговорить с покойным Артуром, так хотелось убедиться, что он прощает ее за то, что из нее не получилось «вечной и верной монахини», говоря словами его сестры Джулии. Но Артур, должно быть, не простил ее, как не простили его родные и Альфред. В бюро хранится письмо от ее племянника Галлама Теннисона, названного, как и ее сын, Артур Галлам Джесси, в честь покойного Артура; они оба крестники старого Галлама, который был так добр и щедр к ней в память о сыне, in memoriam.

*Дорогая тетушка!*

*Вы можете представить мое удивление, когда мне стало известно, что экземпляр «Праха» Артура Галлама, надписанный для Вас его отцом, выставлен на продажу в книжной лавке в Лайм-Риджисе* [83] *. Мы с отцом полагаем, что Вы*

---

**[83] Примечания: 83**

*Лайм-Риджис* — старинный город в графстве Дорсет на юго-западе Англии.

*продали книгу по нелепой случайности, однако нам обоим неясно, как могло такое случиться. Мы немедленно выкупили ее, и она останется в нашей библиотеке, пока мы не получим от Вас соответствующего распоряжения. Вы, конечно, понимаете, что пережил отец, узнав об этом горестном недоразумении…*

Она была убеждена, что духов разгневал факт продажи «Праха». Может быть, это Артур выражал ей свое недовольство, но ей хотелось надеяться, что Софи Шики при помощи сил животного магнетизма, посредством некоего эфирного телеграфа уловила и передала неодобрительное брюзжание Галлама Джесси или разочарование Альфреда. Не надо было продавать «Прах». Продав книгу, она поступила очень дурно: старый мистер Галлам напечатал на свои деньги всего лишь сто экземпляров для близких друзей сына и родственников как свидетельство его гениальности, столь трагически загубленной. В книге были собраны его сочинения о Данте и о Божественной Любви, о сочувствии и о Цицероне; сюда была включена и восторженная рецензия на «Стихотворения, в основном лирические» (1830) Альфреда, вызвавшая колкие насмешки

желчного Кристофера Норта[84] по поводу «сверхчеловеческой, более того — сверхъестественной надменности» молодого критика. Эти насмешки вызвали бессильную ярость всех Теннисонов, вставших на защиту молодых людей: Альфреда, очень болезненно переносившего критику, и Артура, который — в силу своей гордой натуры — не подавал виду. Среди Артуровых стихов в книге были и те, что он благоговейно шептал ей, и стихи, обращенные к его бывшей возлюбленной, Анне Уинтур, о чьих достоинствах, как и всякий молодой человек на его месте, он подробно рассказал своей Эмили, сидя рядом на желтой софе, вручая ей свое сердце и свою короткую жизнь. Стихи, посвященные Анне, считала она, в целом были лучше тех, что он посвятил ей: они звучали живее, в них было меньше сладкого фимиама, он меньше обожествлял ее. В одном стихотворении он призывал Эмили войти с ним в Храм итальянской Поэзии и уверял ее, что «веселье музыки», «то наслаждение, что мы с тобой разделим» не навредит ее нежной душе и

**[84] Примечания: 84**

Литературный критик Кристофер Норт неоднократно давал плохие отзывы о стихах молодого поэта. Так, в 1831 г. он обрушился с разгромной статьей на сборник Теннисона «Стихотворения, в основном лирические».

*Не умалит любви к отчизне,*
*Питающей и явь, и сны*
*Британской девы, будущей жены.*

Этот стих напоминал ей, как она силилась овладеть итальянским, чтобы его порадовать. С какой необыкновенной точностью духи процитировали его перевод из «Новой жизни»! Артур с гордостью показывал ей свои переводы, но в «Прах» их не включили. Старый мистер Галлам решил их сжечь, посчитав «слишком дословными и вследствие этого шероховатыми». Но ей нравилась эта шероховатость, в которой ощущались мужская сила, откровенность, последнюю она привыкла ценить. Старый мистер Галлам многое решал самовольно: он разлучил влюбленных и взвалил на себя тяжесть вины за это, он проявил заботу о печальном будущем Эмили, назначив ей разделять его печальное будущее. Она старалась жить в печали. Но она выросла в ином окружении, и строгая правильность Галламов была ей в тягость. Ей нравилась младшенькая Эллен, она, как и Артур, не напрягалась в испуге, если рядом появлялась особа противоположного пола; не стесняясь, выражала свою симпатию. Но их дружба не выжила. То есть не пережила ее

замужества.

Нельзя сказать, что она намеренно продала «Прах». Дом был завален книгами, и, чтобы освободить место для новых, они с Ричардом время от времени отсылали букинисту пару корзин со старыми книгами. Когда они однажды снимали книги с полок, она краем глаза заметила переплет «Праха», но сделала вид, что не заметила. Она надеялась, что Артур простит ее за этот поступок. Ей причиняли невыразимые страдания его вещи, которые боготворили его поклонники, она была в их числе — отчаявшаяся, то и дело падающая в обмороки девица.

Она вовсе не была уверена, что Артур ее простит. Он очень дорожил своими сочинениями. Они жили вместо него. С намерением или без оного, но, продав «Прах», она поступила дурно. Она заслужила наказания.

Она не любила эту книгу потому, наверное, что само название мучило ее, вызывая в памяти строки того страшного письма:

*По возвращении в Вену из Буды он умер от апоплексического удара. Его останки прибудут домой из Триеста.*

В те дни она против воли размышляла о жуткой участи его останков. Дух освободился, тело

сгниет в земле. От кого-то она узнала, что сердце Артура привезли отдельно, в железном ларце. Было вскрытие. Несчастного Артура, уже мертвого и бесчувственного, резали, ранили — «доктор пустил кровь, а по обследовании составилось общее мнение, что ему не суждено было долго жить». Он уже начал распадаться, но его вскрыли, что-то искали. Все время его отсутствия она всегда думала о его возвращении, представляла себе сцену свидания: его протянутые руки, веселые глаза, большой лоб с «шишкой Микеланджело», которым он так гордился. После его смерти она невольно воображала, во что превратятся эти руки, и глаза, и лоб, недаром ее детство прошло рядом с кладбищем. Она приходила в ужас, думая о том, что он сейчас медленно движется домой по морским волнам, но свой ужас не выказывала ни единой душе. Артур, наверное, понял бы ее состояние. Однажды он посмеялся над словом «пахучий», которое Альфред, говоря о благоухании сада, употребил в «Воспоминаниях о „Тысяче и одной ночи“», помянув и зловонный

труп прекрасной Розамунды[85]: «Пчелы могут пахнуть медом, весна — „благоухать юностью и любовью“, но безупречно точного использования слова, боюсь, мы не найдем ни на латыни, ни в английском языке; пусть лучшим примером нам служит эпитафия на монастырской могиле прекрасной Розамунды:

*„Hic jacet in tomba Rosa Mundi, non Rosa Munda, non redolet, sed olet, quae redolere solet“*»[86].

Но может, он и не понял ее. Если тебя тяжело ранило, как ее, надо мысленно обнять мертвое тело и застыть, как застыла она в те долгие месяцы болезни и горя. Как застыл Альфред. Альфред тоже никому ничего не говорил, но из каждой строки «In memoriam» явствует, что воображением он исследовал то, что осталось — осталось, но было уже неузнаваемо — от столь дорогого сердцу человека:

*Вцепился в камень старый тис…*
*Под камнем спит без снов мертвец.*

---

**[85] Примечания: 85**

*Розамунда* (1140–1176) — любовница английского короля Генриха II. Предание гласит, что Розамунда была отравлена женой Генриха, Элеонорой Аквитанской. Тело Розамунды погребли в монастырской церкви.

**[86] Примечания: 86**

«В этой могиле лежит Роза мирская, не Роза непорочная, и запах, что она испускает, — не розовый запах» *(лат.).*

*Главу оплел корней венец,*
*Корнями кости оплелись.*

Как это мрачно, но в каком-то смысле прекрасно — мертвый слился с природой. Но были строки гораздо более страшные:

*Не мщу я Смерти-изуверу*
*За искаженные черты.*
*Что б ни родил в союзе ты*
*С землею – не оставлю веры!*

Плоды союза мертвеца и земли являлись ей во сне вплоть до публикации в 1850 году поэмы «In memoriam»; шел уже семнадцатый год со дня гибели Артура и девятый год ее замужества, избавившего ее от некоторых страхов и наваждений. «In memoriam» растревожила ее успокоившуюся было душу. Горе Альфреда не ослабело, и он отказывался снимать траур. И тем умалял ее пусть и глубокое, пусть и безысходное, отчаянное горе. Однако и сейчас еще, случалось, вспыхивали припадки ярости. Так, прочитав письмо от Галлама Теннисона, она заметалась по гостиной, как будто ей стало тесно, и выкрикнула в пространство: «Выкупил, так не забудь украсить фиалками!» Фиалок в «In memoriam» было изобилие:

*Печаль фиалкой обернется,*
*Распустится и зацветет.*

В той восторженной рецензии на стихи Альфреда Артур писал: «Когда умрет сей поэт, не оплачут ли его сами Грации и Любовь, *fortunataque favilla nascentur violae*?»[87] — и Альфред, скорбя вместе с фиалками по утрате, вернул покойному другу долг.

Когда Эмили овладевало мрачное настроение, она сравнивала «Прах» с базиликом Изабеллы, на горьких слезах и мертвой голове обраставшим благовонной листвой:

*Он становился и высок и густ,*
*Как ни один подобный куст в Тоскане,*
*Корнями восходя из мертвых уст,*
*Ланит, очей, – и то, что было ране*
*Истлевшей отсеченною главой,*
*Взрастало благовонною листвой*[88].

Дурно, она знала, что это дурно: думая об Артуре, представлять образ его истлевшей плоти и

**[87] Примечания: 87**
Из счастливого праха родятся фиалки *(лат.).*

**[88] Примечания: 88**
*Китс Джон.* Изабелла, или Горшок с базиликом. Перевод Е. Витковского.

пытаться успокоить больную совесть. Приезжая гостить к ним в Сомерсби, он превращал все вокруг в Страну вечного лета, Страну романтики. Вот он выпрыгивает из двуколки на дорожку у изгороди, под деревьями, обнимает Альфреда, Чарлза, Фредерика — своих кембриджских друзей, дружески улыбается младшим мальчикам и цветущим девушкам: красавице Мэри, умнице Сесилии, бедняжке Матильде и ей, диковатой, стеснительной Эмилии, Эмили.

— Как же я люблю вас всех! — воскликнул он, когда вечером при свете луны они сидели на лужайке перед домом. — Я влюблен в каждого из вас, каким бы романтичным, прозаичным, странноватым, каким бы решительно приземленным он ни был. — Он широко раскинул руки, как бы обнимая их всех, и этот жест позже отозвался в «In memoriam»: «И вязы черные стоят, ветвями обнимая поле». Они читали Петрарку и Данте, она пела и играла на арфе, и оттого, что Артур восхищенно вслушивался, не сводя с нее глаз, музыка приобретала особую прелесть, звучность, чего не бывало, когда Теннисоны играли и пели друг для друга. И дух этих вечеров Альфред уловил и с поразительной точностью запечатлел в своей поэме воспоминаний, поэме «In memoriam», и хо-

тя она слышала свой призрачный голос, в своих воспоминаниях, пел он слова из поэмы:

*О счастье! На лужайке в круг*
*Сбирались мы, и милый друг*
*Читал. Поил сердца и слух*
*Тосканских вирш прелестный звук.*
*Там днем златым и в вечера,*
*Когда, всходя, луна яснела,*
*Под трели арфы песню пела*
*Для нас счастливая сестра.*

От нее не укрылось, что Артур не мог сразу решить, кого из них двоих ему полюбить: Мэри или ее. Когда страстное чувство не заглушало в ней рассудок, она все зорко замечала, к тому же первое время она, как и все прочие Теннисоны, только восхищалась блестящим юношей. Он писал стихи им обеим, Эмили и Мэри, он одинаково восторгался их темными глазами, а возвращаясь с Альфредом с прогулки, приносил им букетики лесных цветов. Он по-городскому раскованно ухаживал за женщинами, и, в отличие от сдержанной Мэри, Эмили пугалась его непринужденности и казалась сама себе деревенской мышкой, несмотря на то что до его приезда во-

ображала себя, особенно когда выезжала верхом, этакой дикой байроновской героиней, за которой скоро явится прекрасный принц и увезет ее в сказочный замок. И она решила, что он отдаст предпочтение Мэри; она и сама любила сестру, любила по сей день и вместе с ней разделяла неземные восторги и упования сведенборгианки и спирита.

Но однажды, прогуливаясь в одиночестве по Волшебному лесу (вся их компания разбрелась кто куда), она повстречала его. Это случилось в апреле 1830 года; все было напоено влагой и залито серебристо-золотым светом солнца, по небу неслись длинные ленты облаков, дождевая пелена висела в воздухе, вспыхивали радуги; деревья были еще мрачными, но их уже покрывала живая вуаль из ярко-зеленых почек; от земли поднимался запах прели, и все вокруг было усеяно бледными анемонами и глянцево-желтыми цветами чистотела. Запыхавшись от бега, она остановилась на краю лесной прогалины, а он, Артур, друг Альфреда, — на противоположной стороне; солнце светило ему в спину и окружало его сиянием, а его лицо было в тени. И он сказал ей:

— Вы похожи, правда похожи на лесную фею,

на дриаду. Никогда не встречал такой красоты.

Если бы эту сцену припоминала другая женщина, она, возможно, дорисовала бы в воображении самое себя, чтобы заполнить пространство на своем краю поляны, как-то уравновесить его радостный, улыбающийся лик, но, поскольку Эмили не имела привычки простаивать перед зеркалом, собственный образ не удержался в ее памяти. Она даже не могла вспомнить, в каком была платье. Она только помнила, с каким восхищением он любовался ею; помнила, что шагнула ему навстречу — и в этот миг он перестал быть просто другом Альфреда: теперь это был юноша, он любовался ею, исполненный, как и она сама, в равной мере ожидания и опасения. Она подошла к нему по цветочному ковру, сквозь запах прелых листьев, а он взял ее руки в свои и сказал:

— Неужели прошел всего месяц с тех пор, как я полюбил вас? А мне кажется, вечность прошла!

Они взялись за руки, и так, полагала она, родилась ее любовь к Артуру: на прогалине в лесной чаще, среди листвы и цветов; в лесной чаще, какую встретишь только в Англии, говорил Артур, ибо тот священный миг принадлежал и ему, он сотворил его в лесной чаще, какую встретишь у Мэлори и Спенсера, в священной чаще, подобной

вечным священным рощам, Неми и Додоне[89]. В письмах он называл ее то Нем, то милая Дод, переделывая на детский лад демонические слова, так ей казалось тогда. Он сравнивал ее с прекрасной Персиянкой из Альфредовых «Воспоминаний о „Тысяче и одной ночи“», «одетой в чернь волос благоуханных, в чернь свежих локонов прекрасных». Вспоминая ту чащу в Волшебном лесу, он цитировал чистым и выразительным голосом, более высоким, чем густое рычание поэта, строки этой живописнейшей поэмы, в которых говорилось о «беседках лиственных и гротах», о соловье, который поет в чаще:

*Ночные ветерки стихали,*
*Заслышав голос соловьиный.*
*Не соловей то – амальгама*
*Тьмы, ликованья и печали,*
*Страданья, смерти и бессмертной*
*Любви, что протянулась трелью*
*Сквозь время и вовне пространства.*

**[89] Примечания: 89**

У горного озера Неми в Центральной Италии (область Лацио) в древние времена находился храм богини Дианы, окруженный священными рощами. *Додона* — святилище Зевса в Древней Греции (в области Эпир на западе страны).

Воображение создало и обессмертило Сомерсби, разливаясь соловьем. В «Оде памяти» и «Воспоминаниях о „Тысяче и одной ночи“» Альфред, тогда еще молодой человек, по его признанию, хотел передать новое для себя ощущение, ощущение невозвратного прошлого, в котором остались его детские книги и сад, превращенный его воображением в райский сад. И, взрослея, Теннисоны все чаще и чаще поминали земной сад словами его поэмы:

*Под буйством розовых ветвей —*
*Сплетенье множества аллей:*
*Те к гротам сумрачным сбегают,*
*Иные взгляду открывают*
*Средь яркой зелени листов*
*Поляны царственных цветов.*
*Наступит час, и в этот край,*
*Где нет зимы и вечно май,*
*Придем и мы, забыв тревоги,*
*И станем юными, как боги.*
*Нам духи милые предстанут,*
*И говорить нам мудрость станут*
*Тысячеумные друзья —*

*Внимать им станем ты и я.*
*О, только б быть с тобою рядом,*
*Мой друг! Ни трона мне не надо,*
*Ни скиптра, ни златых нарядов.*

Цыганские руки миссис Джесси перебирали шуршащие листы — она вновь блуждала в чаще мыслей, обступавшей бессмертный Сомерсби, созданный людьми и для людей. Там ей встречался Альфред — он хотел жить рядом с другом. Он удостоил его, без тени иронии, высокого титула «тысячеумный» — так назвал Шекспира Колридж. Нет, она не ревновала к Альфреду, да и с чего бы? Артур хотел жениться на ней, от ее близости у него перехватывало дух, на ее губах он запечатлевал страстные поцелуи. Он очень хотел на ней жениться, горел желанием жениться на ней — это было очевидно. Альфред вел себя иначе. Как жестоко он испытывал терпение Эмили Селвуд, которая приходилась Луизе, обожаемой жене Чарлза, сестрой. Их помолвка неоднократно расторгалась, и он женился на ней лишь в 1850 году, когда увидела свет «In memoriam»; невесте было уже тридцать семь лет, юность безвозвратно миновала. В свое время и Эмили Селвуд посылала Эмили Джесси отчаянные письма, умоляя

подтвердить, что их любовь и дружба не иссякли. Альфред же был погружен в мрачные раздумья, ограничивался двусмысленными отговорками и, уезжая куда-то, писал стихи. «Как забавно, — удивлялась всякий раз Эмили Джесси, — Эмили Селвуд, ничтоже сумняшеся, твердит всем о том, как она повстречала Альфреда, прогуливаясь с Артуром в Холиуэл-Вуд».

«На мне было голубое платье, — рассказывала Эмили Селвуд. — Вдруг из-за деревьев, в синем длинном плаще, появляется Альфред и спрашивает меня: „Кто вы? Дриада или, быть может, наяда?“ И вдруг я понимаю, что люблю его, и вопреки всем соблазнам и мукам моя любовь к нему остается неизменной».

Эмили Джесси представила, как молодые люди на ночь глядя беседуют в своей комнате. Курят, лежа в мансарде на белых кушетках, и Артур рассказывает Альфреду об их встрече в Волшебном лесу, а тот обращает повествование друга в стихи и в стихах оказывается на месте Артура, играет его роль — это он, Альфред, встречает в лесу другую Эмили в другом голубом платье, идущую под руку с Артуром. Альфред мгновенно растворял реальность в поэзии. И очень часто путал лица: как-то на одном из театральных

вечеров у Диккенса в 1844 году он взял Джейн Карлейль[90], своего близкого друга, за руку и совершенно серьезно спросил ее: «Скажите мне, кто вы? Я уверен, что знаком с вами, но не припомню вашего имени». Отозвавшись на его «вы, быть может, наяда?», думала Эмили, Эмили Селвуд обрекла себя на муки, хотя в конце концов она была по-своему счастлива. Она вырастила двух сыновей и была замужем за Лауреатом, который вывозил ее на прогулку в инвалидной коляске.

Эмили знала, что женщины, шушукаясь, рассказывают друг другу о своей любви в восторженных тонах: вспоминают слова возлюбленного, описывают его внешность, поведение — был ли он на свидании уверен в себе или очаровательно робок; и романтические нотки так восхитительно вплетаются в тихую беседу; а оставшись вновь наедине с предметом своей любви, после того как до последней мелочи обсудила его с сестрами и подругами, женщина, как правило, бывает поражена разницей между живым человеком и образом, который сама сотворила; иногда это ее возбуждает, иногда пугает, а бывает, и разочаровывает. А как между собой говорят о женщинах

---

**[90] Примечания: 90**
Жена английского историка и публициста Томаса Карлейля.

мужчины? Считается, что их занимают другие, более возвышенные темы. «Тысячеумные друзья» Артур и Альфред говорили о ней и об Эмили Селвуд. Что же они обсуждали?

Если быть до конца с собой откровенной, надо признать, что она по сей день помнит то чувство, которое переживала, видя две мужские спины и две пары ног, резво поднимающиеся по лестнице в мансарду, — ее словно бы оставляли за вратами рая. Друзья часами, бывало до рассвета, вели разговор о любви и красоте; до нее доносились неразборчивые обрывки фраз: то раздавалось задумчивое ворчание, то звучал быстрый, решительный и выразительный голос. Она слышала, как они читают стихи. «Ода соловью». «Ода греческой вазе». «Покоя девственной невестой став…»[91] — она знала это стихотворение наизусть и могла восстановить неуслышанное. Артур хвалил стихи Альфреда, сравнивал его с Китсом и Шелли. Он называл его «поэтом чувства», цитировал письма безвременно погибшего юного поэта. «О если б жить не разумом, но чувством!» — одобрительно восклицал он вслед за ним, когда хвалил Альфреда за его стремление к

**[91] Примечания: 91**
Перевод В. Потаповой.

добру, совершенству, истине, за его стихи, проникнутые «чувствительной любовью к красоте». В «Теодицее» Артур утверждал, что Бог создал Вселенную, полную греха и печали, чтобы через Сына, искупившего падение мира и сделавшего его прекрасным, ощутить любовь к Себе.

Раз, выйдя на лужайку, она наткнулась на них: они полулежали в плетеных креслах, откинувшись на мягкие подушки, и беседовали, как свойственно мужчинам, о природе вещей. Из трубки Альфреда поднималась и таяла в воздухе струйка дыма. Артур втыкал в землю железную тяпку, с помощью которой садовник — вопреки протестам Теннисонов, любивших всякую былинку, — безуспешно боролся с маргаритками и клевером, разросшимися на лужайке.

— Такое миропонимание зародилось еще в мифологии неоплатоников, — говорил Артур. — Разум, высший Разум, или Нус, погружаясь в неподвижную Материю, Хиле, порождает жизнь и красоту. Нус — мужское начало, Хиле — женское, подобно тому как Уран-небо — мужское, а Гея-земля — женское, как Христос, Логос, иначе Слово, — мужское начало, а душа, им животворимая, — женское.

Юная Эмили Теннисон, держа в руках корзину

с книгами (с Китсом и Шекспиром, «Ундиной» и «Эммой»), подошла ближе и посмотрела на них. Они с явным удовлетворением стали рассматривать ее. Их руки, свисая до самой земли через прогнувшиеся подлокотники кресел, потянулись друг к другу: одна — смуглая до черноты, другая — белая и ухоженная.

— Почему? — спросила Эмили.

— Что «почему», милая? — переспросил Артур. — Как живописно ты смотришься на фоне роз, когда ветер развевает твои волосы. Не двигайся — я тобой любуюсь.

— Почему, скажите, неподвижная Материя — это женское, а животворящий Нус — мужское?

— Потому что земля — наша Мать, она рождает все прекрасное: и деревья, и цветы, и тварей.

— А Нус, Артур?

— Потому что мужчины забивают свои неразумные головы понятиями, добрая половина которых — химеры и небывальщина, и оттого впадают в ересь.

Артур не умел дразнить. Говорил серьезно, убежденно, точно читал лекцию.

— Это не ответ, — настаивала она, заливаясь краской.

— Потому что женщины прекрасны, малышка,

а мужчины — всего лишь поклонники красоты; потому что женщины — воплощение доброты, которой переполнены ваши милые сердца, а мы, жалкие мужчины, понимаем, что где-то есть истина, и ищем ее, дабы укротить свое воображение, лишь ощущая вашу добродетельность.

— Это не ответ, — повторила Эмили.

— Женщине ни к чему забивать всем этим свою милую головку, — начиная утомляться, ответил Артур.

Альфред мечтал о чем-то; его длинные черные ресницы были покойно сомкнуты. Руки друзей расслабленно свисали с подлокотников, касаясь земли, а пальцы молча указывали друг на друга.



## VIII

Огонь в камине угасал; Мопс уснул, он храпел и фыркал во сне. Аарон не спал — сгорбившись и уставив на хозяйку черный мерцающий глаз, он бочком подобрался ближе к ней. «Никогда», — мрачно пошутила миссис Джесси, обращаясь к птице, и, опустив руку в кожаный мешочек, достала еще кусочек мяса. Устремив на него взгляд, ворон приблизился к ней и раскрыл клюв. Жареное, но по краям красное, как рана, мясо со скользкой бахромой жира скрылось в клюве, вновь появилось, ворон перехватил его поудобнее и за один присест проглотил. Мышцы на его шее задергались. Птица встряхнулась и уставилась на нее, ожидая добавки.

— Какие у тебя острые кривые когти, — сказала ворону миссис Джесси, пальцем касаясь его головы, — ты исцарапал все стулья в доме. Ни стыда ни совести. Мы с тобой оба такие стали старые, жесткие, потрепанные.

В них воспитывали благородство души. Обида и злоба — неблагородные чувства, и Эмилия надеялась, что в ней их нет. Но ей все время не давало

покоя то, что Альфред своим трауром умалил, принизил ее траур. И не просто принизил, говорила она себе в минуты трезвой откровенности, уничтожил, свел на нет. Ведь это она, Эмилия, падала в обмороки, это она целый год была заточена, погребена в своем горе, это она заставила плакать друзей и родственников, выйдя к ним в черном, с белой розой в волосах, как нравилось ему. Альфред не пришел на похороны, он снова начал писать, устраивать свою жизнь, а она лежала в постели в боли и муке. Она помнила, как лежала, уткнувшись в мокрую, насквозь мокрую от слез подушку. Помнила свои распухшие веки, беспокойный сон и ужасные пробуждения, когда к ней возвращалась реальность утраты. Горькая тоска по несчастному Артуру, его ясному уму, его молодому телу, его нравоучениям, по его влечению к ней поселилась в ней, а вместе с этим — ужас перед пустым будущим. Она стыдилась этих мыслей и неистово гнала их от себя прочь, но по ночам, когда сознание теряло бдительность и она просыпалась, она открывала глаза в мертвенном лунном свете, а они толпою вновь лезли в голову.

Сказочный Сомерсби Альфреда, райский сад Артура, дремучий лес, домашний очаг, смех и пес-

ни — все пропадало, если не было рядом творцов этой сказки. С приходом долгой зимы мир менялся (и до Артура он был другим, а после его смерти стал совсем другим): у юной девушки не было ни возможности поездить по свету, ни подходящего занятия, ни праздников, чтобы скрасить скуку, оставалось только ожидать замужества или оплакивать умершего возлюбленного. Ей очень хотелось выйти из дому, но, будучи, как всякая женщина, созданием противоречивым, она страшилась показаться на людях. Так что, когда наконец Теннисоны собрались в гости, в дом на Уимпол-стрит, туда отправились Альфред и Мэри, а она, невеста, затаилась в тиши Сомерсби, стесняясь провинциального покроя своего платья и линкольнширского акцента и страдая от настоящей, физической боли в печени и приступов гипертонии. Болезнь уложила ее в мягкую и уютную, как гнездышко, постель, согретую горячими голышами; ее отпаивали вкусным бренди с водой, она читала Китса и книги, что прислал ей Артур: «Ундину», на которую, по его словам, она была похожа, и «Эмму» мисс Остин, «книгу истинно женскую (не хмурьтесь, мисс Фитч, я и не думаю насмехаться), — только женщина и леди способна мастерски передавать мельчайшие детали

и обладать столь тонким сарказмом». Как она болела все свои юные годы, какие трогательные письма писала старику с Пустошей[92], своему деспотичному деду, который лишил отца наследства и у которого приходилось выпрашивать деньги, она молила его прислать денег, чтобы поездить по Европе или отдохнуть на минеральных водах, может быть, ее отпустит болезнь, может быть, маленькая веселая компания развеет ее черное отчаяние. Но дед был неумолим, и она никуда не выехала из Сомерсби, любимой своей темницы. Колики были очень болезненны. Она свертывалась калачиком, пряча свой распухший нежный животик. Ей представлялось, что она Прометей в женском облике и к ней прилетает огромный черный орел и терзает ее печень; хищная птица выпивала из нее жизнь. Ей стоило больших усилий заставить себя выйти на улицу, но на лужайке у нее начиналось головокружение — вокруг нее словно трепетали тысячи крыльев, они хлопали и свистели, в глазах мельтешило, в ушах звенело. Миссис Джесси вспомнила, как полвека назад стояла вот так, покачиваясь, а затем ощупью добиралась до спальни, где ее ждала

**[92] Примечания: 92**

Так называют англичане холмистую равнину Йоркшира и Линкольншира.

надежная постель, где свет был не таким ярким. Артур обещал ей избавление от одиночества и болезни, избавление желанное и пугающее. В каждом письме он сетовал по поводу ее недомогания, ласково спрашивал о здоровье, просил поскорее поправиться, набраться сил, бодрости, веселости и уверенности в себе.

*И потому, Эмили, — тем более что я свято чту свою любовь к тебе, — какие бы ни нашел я в тебе недостатки, они не ослабят, но, напротив, возбудят и возвысят ее. Ибо твои недостатки происходят от переутомления и излишней чувствительности, которая, в силу обстоятельств, замкнута в себе, и недостатки твои представляются мне даже достоинствами, ведь ты смиренно в них исповедуешься и прилагаешь усилия к их исправлению.*

По иронии судьбы его кончина способствовала тому, что не могло случиться при его жизни. После его смерти она вышла из своей темницы, стала появляться в обществе. Ее радушно принял старый Галлам, она подружилась с Эллен, сестрой Артура, и писала ей о своем лишенном поэзии окружении, наслаждаясь неведомыми ранее уверенностью и сарказмом:

*Знай же, что таких столпов, как Вордсворт,*

*Колридж и др., не встретишь в наших краях — ничто не украшает наши черные пустоши; здесь только холодный ветер и люди с холодной душой. Иногда охотник торопливо пройдет через сад, но согласись, что эти люди, без колебаний отнимающие жизнь, — даже хуже, чем ничего.*

Она писала, что в лесах у Сомерсби соловьи не поют, выражая сомнение в том, что они водятся у них:

*Выводят ли уже соловьи свои нежные трели? Ты ошибаешься, полагая, что в Сомерсби они есть, — этих птиц у нас и не видывали. Лишь однажды в Линкольн залетел одинокий соловей и какое-то время распевал в огороде бедняка. Разумеется, посмотреть на него и послушать пение собрался народ со всей округи. Хозяин скоро заметил, что зеваки топчут его овощи («Растил капусту он / И в должный срок / Срезал ее и щи варил»), и осмелился — неслыханное варварство! — подстрелить безрассудного певца. Гадкий, тугоухий мужик! — стоят ли все кочаны на свете одного соловья!*

С Эллен она могла и посмеяться, на что из страха, из любви, из сознания своего несовершенства не решалась при Артуре. Она оживлялась — робко, постоянно помня о своем горе, — за

обеденным столом у Галламов, где однажды вечером на нее обратил внимание молодой, высокий лейтенант Джесси. Десять лет она оплакивала его, оправдывалась Эмили. Живого Артура она знала только четыре года, из которых провела в его обществе не больше месяца. И девять лет его оплакивала. Она надеялась, что Галламы войдут в ее положение, будут снисходительны; зная, сколь глубоко их горе и как они уповали на Артура, она, конечно же, не рассчитывала, что они обрадуются ее замужеству. И они, по крайней мере старый мистер Галлам, остались к ней безукоризненно великодушны, по-прежнему выплачивали ей пенсион, к которому она уже привыкла и который считала собственным небольшим доходом; они не прервали с ней отношений, хотя Джулия нехорошо отзывалась о ней за глаза. «Она считает меня бессердечной кокеткой или хуже того — продажной женщиной», — твердила себе Эмили, когда на миг бешенство одолевало в ней обычное смирение. Их отношения сделались натянутыми, в них проникло раздражение. Теперь она часто отговаривалась вежливыми фразами (в чем Теннисоны никогда не были сильны) в тех случаях, когда прежде скромно и всем на радость шутила. Но Теннисоны по-прежнему окружали и поддер-

живали ее своей тоскливой любовью, окружали и душили ее своим молчаливым и неумолимым недовольством.

У нее хватило духу противостоять Галламам, хотя для этого ей часто приходилось усилием воли выкидывать их из головы, притворяться, что они не существуют. После свадьбы они с мужем поездили по свету; она побывала во взбудораженном Коммуной Париже, бродила по горным тропкам в Апеннинах, во Флоренции навестила Браунингов. Она общалась с самыми разными людьми в Лондоне, и, хотя вела себя несколько эксцентрично, неровность ее поведения, по ее мнению, очаровывала окружающих. Она умела смешить и увлекаться беседой. Но все же — вспоминала она в часы мрачных раздумий — ей было не под силу терпеть болезненные уколы и тайные обиды, которые ей причинил шедевр Альфреда, памятник Артуру, — поэма «In memoriam». Но, видит бог, она обожала и обожествляла эту поэму, как и другие читатели, ибо она словно отражала ее собственные потрясения и тоску, описывала каждую стадию и оттенок долгой душевной муки, трансформацию ее горя — так же медленно разрастается плесень, так корни и слепые черви проникают в могилу. Поэма выра-

жала многое: тоску по умершему, по крепкому дружескому рукопожатию, по ясным глазам и голосу, по высказанным и невысказанным мыслям. Она превращала маленькую лужайку перед домом, море и пустошь, окаймленную ровным линкольнширским горизонтом, в непреходящий, бесконечный мир. Она обращалась к Богу, и ужасалась Его деяниями, и сомневалась в них. Поэма поселилась в глубине ее сердца и влилась в кровь ее тела, «бездумной путаницы нервов». Как же устала она быть путаницей нервов! Но Альфред еще восемь лет оставался замкнут в своем горе, упивался им. Она вышла замуж за Ричарда в 1842 году, и в тот год ее траур закончился.

Альфред продолжал горевать и писать стихи. Он работал и предавался мрачным мыслям с того дня, когда пришло страшное письмо, и почти до самой свадьбы; лишь в 1850 году его отшельничеству наступил конец, и тогда же он выпустил в свет «In memoriam». На титульном листе не значилось его имя — только посвящение Артуру: «In memoriam A. Г. Г.». Альфред сохранил верность другу, она — нет. На свадьбе он был спокоен и скрытен, лишь, как обычно, что-то бормотал, а затем вновь сел за свои ужасные, гнетущие стихи, словно не стихи писал, а вел подробный дневник,

в котором рассказывал об утрате, смятении и неутолимой тоске по другу.

Эмили чувствовала, что поэма — укор ей. В первый раз она прочитала ее не так, как читала ее потом, не так, как жена или сын, друг или враг романиста читают его новый роман, листая страницы и отыскивая самих себя: кружевной воротничок особого фасона или тайный порок, который, как они надеются, автор успешно умалил, завуалировал. Она прочла ее с любовью и слезами на глазах, как она читала все стихотворения брата, — она плакала по Артуру и из-за неземной красоты этой поэмы. Когда-то в Сомерсби юные женщины образовали тайный поэтический кружок, который назвали «Мякина»: во время страстных споров они как бы вышелушивали из мякины семя поэзии. Следуя совету Артура и Альфреда, они читали «чувствительные» стихи (Артур утверждал, что это он возродил в языке важное слово «чувствительный»). Стихи Китса, Шелли, Альфреда Теннисона. Высшей похвалой стихотворению считалось, если его признавали «острым», то есть волнующим, будоражащим, страстным. Иногда Эмили Джесси, в отличие от робкой Эмили Теннисон тех дней, задавалась вопросом: что же побудило их назваться таким

сухим, безжизненным именем? Ведь что такое мякина — шуршащая оболочка вокруг спелого зерна. Они читали с любовью, она читала (и сегодня еще способна была читать с любовью) «In memoriam». Она была уверена и убеждала других, что это — величайшая поэма их времени. Но поэма метит огненными стрелами ей в самое сердце, думала она, когда ее одолевала тоска, поэт задумал уничтожить ее — и она мучилась при этой мысли, но не смела поделиться ею ни с одной живой душой.

В строках поэмы являлся время от времени ее призрак. Она узнала себя уже в шестом стихе, где говорится об утонувшем моряке: Альфред ждет возвращения Артура и сравнивает свое ожидание с юной девой, «голубкой робкой, что беды не чает». «Бедняжка ждет его любви», подбирает ленточку, розу, чтобы порадовать его, подходит к зеркалу «и поправляет завиток», не ведая, что любимый, ее «будущий владыка»:

*Иль утонул, минуя брод,*
*Или, упав с коня, убился.*
*Увы, нам утешенья нет.*
*Что нам судила с ним разлука? —*
*Ей девство вечное, а мне —*

*Остаток дней прожить без друга.*

Это были ее локоны, ее роза, только волосы у Альфредовой «голубки робкой» не воронова крыла, а золотые. Артур однажды сказал ей, что голос ее сладок, как пение Дамы из Комуса[93] («И ворона полночной тьмы ласкает песнь ее, и тьма улыбкой просияла»); он говорил и ласкал ее буйные локоны. Вопреки упованиям Альфреда, она оказалась не готова к «девству вечному». И тогда удивительным образом Альфред — возможно, так велела ему чуткость поэта — сам преобразился во вдову Артура:

*И наш союз казался мне*
*Супругов парой неразлучной,*
*О ты, в бескрайней тайне сущий,*
*Жених и муж души моей.*

И еще:

*Но сердцу вдовому любить*
*Былое только не под силу.*
*Оно желает с сердцем милой*
*Стучать согласно, рядом быть.*

---

**[93] Примечания: 93**
*«Комус»* — пастораль Джона Мильтона (1634).

Альфред привязал к себе Артура, проник в его плоть и кровь, не оставив ей ничего. И хотя в поэме упоминалось о ее любви и ее утрате, это мучило ее, жестоко мучило. Фантазия Альфреда рисовала будущее Артура, его детей, неродившихся племянников и племянниц, в которых могла бы смешаться кровь друзей:

*Уж близился счастливый миг.*
*Слить наши жизни, кровь смешать,*
*Дыханье твоим детям дать*
*Он мог. Уже ребят твоих*
*Я нянчил в мыслях. Но могила*
*Флер в черный креп, в тоску веселье*
*И в саван брачные постели*
*Без сожалений обратила.*
*И нерожденных чад твоих*
*Я и ласкаю, и балую,*
*Своими крошками зову их*
*Не наяву – в мечтах моих.*

Эти нерожденные чада с жутким упорством вмешивались в ее жизнь и жизнь ее сыновей, названных в память об усопших: младший, Юстас, носил имя покойного сына дядюшки Чарлза, а

старший, Артур Галлам Джесси, — имя Артура. Но все сложилось наперекор ее чаяниям. Ангельские личики нерожденных чад были дороже и милее всем (и ей самой в минуты горечи), чем земная, беспокойная мордашка Артура Галлама Джесси, хотя он вырос красивым мальчиком. И так как он был живым напоминанием того, что ее «девство вечное» не состоялось, она испытывала при нем неловкость и понимала, что он принимает ее неловкость за равнодушие. Об Артуре Джесси поэт не упомянул ни слова, зато в эпилоге воспел брачную церемонию, утверждая победу жизни над смертью и призывая грядущую душу, «отстав от горней пустоты, телесный облик обрести». Ее странный брак Альфред обошел молчанием, а воспел супружество ее сестры Сесилии и Эдмунда Лашингтона, который в университетские годы входил вместе с Артуром и Альфредом в кружок «апостолов»:

*Достойный, мощный, он высок.*
*Свободно мыслящий, цельный, чуткий.*
*Он поднимает груз науки,*
*Словно легчайший василек.*

В другой строфе эпилога он вспомнил и об их любви с Артуром:

*Лишь раз, когда чуть-чуть несмело*
*Мне дорогой поведал друг,*
*Что любит он мою сестру, —*
*Душа вот так от счастья пела.*

Разумеется, он не смог так же звучно, так же талантливо воспеть ее брак, бывший за пару месяцев до бракосочетания Сесилии. Однако он просто умолчал о нем, словно она и не выходила замуж, словно она не произносила слов брачного обета, словно душа А. Г. Г. не могла обрести достойного жилища в ее детях. И тем не менее он писал:

*Уж близится заветный миг.*
*На плиты мертвые ступая,*
*Живым внимает молодая*
*Словам, что шепчет ей жених.*
*– Согласен ли? – Он молвит: «Да».*
*– Согласна ли ты? – Да. – Во имя…*
*Муж и жена они отныне*
*И до скончанья плоть одна.*
*Быть может, здесь среди других*
*Незримый гость пирует с нами.*
*Беззвучно шевеля губами,*

*Он поздравляет молодых.*

Она тоже любила Сесилию. Покойные дети сестры приходили из мира духов и говорили с ней голосами Софи Шики и миссис Папагай. Сесилия была счастлива в супружестве, но ее первенец Эдмунд, к которому взывал Альфред, умер тринадцати лет от роду; медленно текли годы, и вслед за мальчиком ушли в могилу его сестры — Эмили в девятнадцать и Люси в двадцать один год. Смерть детей искалечила жизнь бедной Сесилии. Но и Сесилии, доброй и добропорядочной Сесилии не удалось полюбить ее Ричарда; после одного из его визитов она выразила опасение, что он «зачастит» к ним. Как моряк, Ричард удивлял всех полным и естественным отсутствием страха, а в обществе он удивлял полным равнодушием к чувствам других, не замечал ни раздражения другого, ни сдержанности. Он без умолку говорил о том, что думает и чувствует сам, будто всем было уютно и просторно, а солнце светит всем одинаково ровно и ясно, где все вокруг было таким, каким виделось, — чем приводил людей в бешенство. Так, во всяком случае, думала Эмили, когда ей хотелось разобраться в других. Но чаще ей это было совсем не нужно. Она замкнулась в себе, в своей эксцентричности, в своей старой

драме, в неусыпной заботе о Мопсе и Аароне.

Если бы не бесстрашие Ричарда, «девство вечное» могло стать ее уделом, и тогда бы ее все превозносили и лелеяли. Нет, она не тотчас полюбила Ричарда, как полюбила тогда, в Волшебном лесу, великолепного Артура. Артур назвал ее «трепетным цветком» и сказал, что она «как Ундина, создана из материй более тонких, чем земной прах». Ричард сидел напротив нее в темной, обитой панелями столовой Галламов, застыв, будто некий джинн обратил его в камень: тяжелые серебряные нож и вилка застыли на полпути от жареного цыпленка к его рту, он смотрел отсутствующим взглядом в одну точку, словно — поделилась она с ним позже — решал про себя трудное уравнение. Кто-то спросил:

— О чем вы задумались, мистер Джесси?

А он ответил просто:

— Какая живая и красивая при свечах мисс Теннисон. В жизни не видел лица интереснее.

— Хороший комплимент, — заметил кто-то. Это была Джулия Галлам, а сказала она это с издевкой, подумала Эмили Джесси и припомнила, как сама опустила глаза в тарелку, испугавшись, что слишком широко улыбнулась или как-то иначе обратила на себя внимание.

— Это вовсе не комплимент, — возразил Ричард, — это правда. Чистая правда.

И снова погрузился в созерцание. Соседи мысленно посмеивались, а его цыпленок совершенно остыл, и в конце концов все были вынуждены дожидаться, пока он не доест жаркое. Вечером Эллен и Джулия стали расспрашивать Эмили: «Как это тебе, дорогая, удалось покорить этого разиню-гардемарина?» — и Эмили прыскала с ними, говоря, что и в мыслях не имела кого-то покорять. Но ей пришлось по душе восхищение Ричарда — могло ли быть иначе? — хотя он выразил его так неловко. Ей было приятно, когда однажды на Уимпол-стрит он догнал ее и пошел с ней в ногу, сознаваясь в том, как нелегко ему приходится в Лондоне, и поминая родной Девоншир. Он поддерживал ее под локоть твердой рукой, а у дверей библиотеки, в которую она шла, сказал на прощание:

— Мне жаль, что я так смутил вас за обедом, мисс Теннисон. Честное слово, жаль. Я не подумал. Со мной такое бывает: скажу, а потом приходится объясняться, вытаскивать себя из лужи и недоумевать, как это я умудрился в нее сесть. Но я сказал сущую правду: я восхищаюсь вами, к тому же я не делаю дамам комплимен-

тов. У меня мало знакомых женщин, и, сказать начистоту, до сих пор я был к ним довольно равнодушен. Но вы мне нравитесь.

— Благодарю вас, мистер Джесси.

— О, ради бога, к чему этот надменный вид, зачем вы смущаетесь? Ведь я не сказал ничего оскорбительного. И почему никто не понимает простых вещей? Я всего лишь хочу сказать, что восхищен тем, как вы одолели горе…

— Боюсь, что не одолела и никогда не одолею.

— Я хотел сказать… не то чтобы «одолели», нет, это слово не подходит. Но вы такая живая, мисс Теннисон, и вы вдыхаете жизнь в других, одухотворяете.

— Благодарю вас.

— Вы по-прежнему не понимаете меня. Я не собирался так скоро открыться вам, но что поделаешь — я лечу вперед без оглядки, точно северный ветер, и уже не могу остановиться. Случалось ли с вами такое, что, увидев человека впервые, вы почувствовали, что он вам близок… вот так, сразу. Вокруг вас люди, у которых носы пуговками и глаза-смородины, и люди величавые, как римские статуи, — и вдруг вы видите живое лицо, для вас оно живое, и понимаете, что это близкий человек, что он часть вашей жиз-

ни, — случалось с вами такое?

— Однажды, — ответила Эмили, — однажды случилось.

А может быть, она заблуждается? Они стояли на улице и смотрели друг на друга. Доброе, дружелюбное лицо Ричарда хмурилось — он был озадачен, не понимая, почему не сумел объяснить ей то, что ему самому было предельно ясно. Он неловко пошевелил руками — то ли хотел отдать честь и удалиться, то ли обнять ее — и отступил:

— Я не стану давить на вас, мисс Теннисон. Прощайте. Надеюсь, мы еще обо всем поговорим и… ведь вас не оскорбляет моя неуклюжесть? Если я прав, нам будет что друг другу сказать; если ошибся, мы это скоро поймем и без обид, хорошо? Ну а пока — до свидания, мисс Теннисон. Рад был с вами повидаться.

И он быстро зашагал прочь, а она осталась и не знала, смеяться ей или плакать.

Он продолжал ухаживать за ней с завидным упорством и совсем не замечал, что его ухаживание вызывает насмешки. Он приглашал мисс Теннисон в музеи и парки, а за обедом сидел, едва помещаясь на стуле, ухватив неловкими пальцами фарфоровую чашку, слушая, как Галламы оплакивают несостоявшееся великое будущее

Артура, кивая со знанием дела, и во все глаза смотрел на Эмили. И Эмили поглядывала на него из-за локонов, все таких же густых и блестящих. Его продолговатое лицо казалось Эллен и Джулии пустым и туповато-приветливым, тогда как Эмили в первую очередь обратила внимание на его доброе выражение. Ричард Джесси совсем не умел злиться, и потому насмешки в его адрес казались ей жестокими. Рассмотрев его как следует, она поняла, что он притягивает ее и как мужчина. У него были красивые брови, красиво очерченные губы. Высокий торс и длинные упругие ноги были изящными и сильными. Сила чувствовалась и в его руках; пусть чашка со звоном ездила у него по блюдцу, но во время шторма — теперь ее уже интересовала его жизнь — они, несомненно, намного ловчее управлялись с корабельными канатами. Она внушала себе, что он человек действия, а не ритор, и сравнивала его с моряками из книг мисс Остин. Артур прислал ей «Эмму»; она любила этот роман, но больше всего она любила (хотя и втайне) «Доводы рассудка», рассказ о женщине уже не первой молодости, одинокой старой деве, которая влюблена в морского капитана. Героиня говорит: «Я полагаю, единственное преимущество нашего пола в том

(это преимущество незавидное, не стоит мечтать о нем), что, когда нет уже любимого, когда иссякла уже надежда, мы не перестаем любить!»

Он сделал ей предложение у Галламов, не смутившись, что в этом доме жил Артур, что девушка, которой он предлагает руку и сердце, сидит в том темном кожаном кресле, в котором сидел ее жених. Над головой нависали мрачные кожаные переплеты исторических книг мистера Галлама[94]. С улицы, «долгой и нелепой» Уимпол-стрит (здесь Альфред с бьющимся сердцем лелеял несбыточную надежду вновь пожать руку друга, «которой не пожать, увы, вовек»), заглядывало в комнату зимнее солнце. Ричард подтащил стул, проскрежетав им по навощенному полу, и подсел к Эмили поближе. Она так крепко стиснула колено руками, что Артурово кольцо впилось ей в палец.

— Я хочу попросить вас кое о чем, — начал Ричард Джесси. — Мне неловко наедине с вами, и меня угнетает мысль, что в любой момент сюда могут вернуться хозяева. Поэтому я буду краток — не смейтесь, коли дело не терпит отлагательства, я бываю краток и действую очень быстро,

---

**[94] Примечания: 94**

Генри Галлам, отец Артура, был известным английским историком.

когда корабль натыкается на мель или поднимается буря…

— Забавная метафора, — заметила мисс Теннисон и, склонив на плечо голову, взглянула на него. — Значит, мы сели на мель, нам грозит крушение?

— Никак нет. Ну вот, опять та же история. Ведь вы понимаете, о чем я? Я хочу просить вас стать моей женой. Не спешите с ответом, он мне известен. Но я уверен, что со мной вам будет хорошо. И мне с вами тоже. Вы не из тех, с кем легко жить; еще бы, у вас очень неровный характер, вас все пугает, с вами на каждом шагу приключаются трагедии, и, говоря откровенно, вам не хватает серьезности. Но мне кажется, мы подходим друг другу и нужны друг другу. Наверное, вам, члену семьи Теннисон, претит выслушивать мои речи. Я так коряво говорю. Нескладно, — исправился он.

Она собралась было отвечать.

— Не надо, — сказал он, — не отвечайте. Сейчас вы скажете «нет», а я этого не вынесу. Пожалуйста, подумайте, поразмыслите над моими словами, и тогда вам станет ясно, что мы отлично друг другу подходим. Ради бога, мисс Теннисон, подумайте… обо мне.

Эмили была тронута. У нее готова была короткая, почти искренняя речь о том, как страстная любовь опустошает человека. В ней даже была строчка из Донна: «Но после вот такой любви любить еще во мне нет сил». Ей так казалось. Она в это верила. Но капитан Джесси накрыл ее руки большой ладонью и приставил к ее губам указательный палец.

— Не надо, не отвечайте, — сказал он.

Ей недостало сил поднять руку и отстранить палец. Она хотела возмутиться, но, когда пошевелила губами, получилось так, словно она поцеловала этот огромный указательный палец. Негодуя, она широко открыла глаза и устремила взгляд в его глаза, пристальные, голубые, решительные. Она хотела сказать: «Вы берете меня на абордаж, как пират», но палец помешал ей. Она рассерженно помахала головой. Волосы взметнулись по плечам. Дерзновенной рукой он взял одну прядь:

— Чудные. Красивей я не видывал.

— Какой же вы глупый, — Эмили была встревожена, потрясена, — ведь мне уже за тридцать. Я не молоденькая. Любовь осталась в прошлом, и я уже смирилась с незамужней жизнью. Я… разучилась чувствовать.

— Ничего подобного.

— Все эти годы я была как каменная. Любовь меня обескровила. Я не хочу больше любить.

— Ничего подобного. Да, вы не молоденькая девушка. Вы старше меня, будем откровенны, — мне об этом известно. Юные девицы утомительны: все только порхают, суетятся, у них в голове одна романтика. А вы, мисс Теннисон, вы истинная, зрелая женщина. Вам нужен муж. Быть старой девой, доброй тетушкой — не ваш удел, я знаю это, я внимательно за вами наблюдал. Конечно, вы решили смириться со своей участью, но ведь вы не подумали обо мне. Ведь вы не ожидали, что я сделаю вам предложение?

— Правда, — пролепетала Эмили, — не ожидала.

Черная, жестокая часть ее души стремилась уязвить его необоснованную самоуверенность, поставить на место, высмеять, обидеть его. И в то же время ей хотелось принести ему радость и защитить от унизительных насмешек, которые он так спокойно пропускал мимо ушей.

— Со смертью Артура, мистер Джесси, на мое сердце была наложена печать. Я любила его всем сердцем, а он умер. Такова моя история. И больше любить нам не суждено — ни мне, ни ему.

— Нет ничего страшного в том, что вы любили его, — возразил Ричард Джесси. — Ваша преданная любовь к нему — лишнее доказательство тому, что вы способны любить и хранить верность, как и я сам, пусть пока мне не выпадало случая доказать вам это. Если вы выйдете за меня, мисс Теннисон, мы не забудем его, пусть ваша любовь к нему живет. Я чту вас, чту за то, что ваша любовь так глубока и неизменна.

— Не потому ли вы хотите жениться на мне? Не из-за него ли? Быть может, вам кажется, что я заслуживаю жалости, — ведь вы так добры, вы очень добрый. Но только спасать меня не надо.

— Черт возьми, что значит «спасать»? Неужели вы совсем меня не понимаете? Выслушайте меня внимательно — вместе нам будет уютно, я чувствую это всем своим нутром, всем сердцем, нервами, даже печенкой, если хотите.

Она молчала. Он продолжал:

— Я умираю от желания обнять вас. Уверен, вы почувствуете, что вам это нужно. Эти чертовы стулья, этот книжный хлам — они вам мешают. Давайте прогуляемся по берегу, послушаем чаек — и вы поймете меня… сейчас я немного не в себе, я почти не спал последнее время и довел себя до этого… до такого состояния; изо дня в день

я выматываюсь сильнее, чем в бою.

— Не могу, — прошептала она.

— Если не можете, если вы в этом уверены, повторите еще раз — и я сию же минуту уйду, и больше мы не увидимся. Вы понимаете меня? Верите мне на слово? Я действительно исчезну. Если вы в самом деле способны сказать мне, что не хотите, не можете, не согласны, я уйду. Я никогда не попадусь вам на глаза, как бы тяжко мне это ни было. Вы слышите меня?

— Не кричите так, мистер Джесси, вы всполошите всех.

— Да что за дело нам до всех! — забывшись, воскликнул он.

Эмили (которой, как бы то ни было, понравилась его дерзость) резко встала, словно намереваясь распроститься с ним, но не вымолвила ни слова и не сдвинулась с места. Она стояла и молчала. Он шагнул к ней — он был даже выше ее братьев, такой же красивый и смуглый, — и своими большими руками обнял ее за плечи. Потом оторвал ее от пола, прижал к груди и нежно прильнул щекой к ее щеке. Его руки и тело говорили ей о многом, он притягивал ее как магнит, он был крепким, словно дерево, да, — заговорил в ней поэт, — таким же крепким и полным жизни,

какими летом бывают деревья. И она склонила ему на плечо голову и вслушалась: их сердца громко стучали, кровь волновалась.

— Вы меня задушите. Мистер Джесси. Мне нечем дышать.

— Ответьте мне немедленно…

— Пустите. Я согласна. Нет сил вам противиться. Пустите же. Дайте мне стать на ноги.

— Мне хочется рычать, как лев, — довольно спокойно проговорил он. — Но у нас все еще впереди; вот поженимся, и тогда будем делать что душе угодно.

— Этого я не обещаю, — вдруг насторожилась Эмили, оказавшись наконец на ногах.

Разумеется, им не удалось жить, как «душе было угодно», но в их супружеской жизни было много такого, чего ей не довелось бы испытать, останься она «старой девой и доброй тетушкой», любимицей Галламов. Да, она предвидела, как воспримут ее отступничество Галламы, но не ожидала, что оно так ужаснет Теннисонов и общество, вызовет такое неодобрение. В ночных кошмарах они являлись ей, гневные, оскорбленные, и бросали ей в лицо горькие упреки. Но на их стороне стояла еще девушка в черном, с белой розой в волосах, как нравилось ему. Всю жизнь

тебя преследуют и осуждают не только те, кого ты любила и кто уже умер, думала она иногда, тебя осуждает и твой собственный неумолимый дух.



# IX

Софи Шики, в белой ночной сорочке, стояла перед зеркалом. Она неотрывно смотрела на свое отражение, и отражение так же неотрывно взирало на нее. Зеркало, привинченное к сосновому сундуку, отражалось вместе с нею в большом туалетном зеркале у двери за ее спиной так, что она видела позади себя свои бесчисленные отражения, раз за разом уменьшавшиеся и уходившие в никуда. Она прикоснулась пальцем к фиолетовым теням под широко раскрытыми глазами, и все зеркальные двойники повторили этот жест. Она дотронулась до губ, наклонилась к зеркалу и дохнула на него — все ее лица затуманились, сероватые туманы окутали ее, светлые волосы обрамляли туманные овалы этих лиц. У нее были, казалось, бесцветные волосы, однако назвать их так было бы неверно, просто их оттенок не поддавался определению: их ни с чем нельзя было сравнить — ни с цветом мышиной шерстки или серых голубиных перьев, ни с цветом пшеницы или сена; их нельзя было назвать ни металлическими, ни золотыми, ни бронзовыми, но при этом цвет ее волос был самым обычным, самым

распространенным. Когда чего-то очень много, то можешь считать, и вовсе нет. Она была повсюду и нигде. Она вглядывалась в свои зрачки — в бесконечные бархатисто-черные пустые кружочки глаз Софи Шики, — и мир вокруг исчезал, а с ним — она сама.

Однажды она загипнотизировала себя вот так и стояла, окаменев, у зеркала, широко открыв незрячие глаза, пока ее не начала искать и не обнаружила миссис Папагай. Она прижала ее к своей большой и теплой груди и, когда Софи, вздрогнув, очнулась, не понимая, что случилось, закутала ее в одеяло и принялась отпаивать бульоном. В груди миссис Папагай, как нежный маленький дрозд в своем гнезде, таилось теплое сердце. И, почувствовав его трепет, Софи без страха вернулась в этот мир. В детстве подобные опыты, бывало, заканчивались плачевно. Она научилась выходить из своего тела еще малюткой, и это получалось у нее так естественно и просто, что казалось, все другие люди способны проделывать это с такой же легкостью, с какой они пьют воду, пользуются ночным горшком или моют руки. Она задерживала дыхание или, лежа в постели, быстро, ритмично выгибалась и вновь расслабляла мышцы — взмывала к

потолку и тихо парила там, покойно созерцая сверху недвижную, мертвенно-бледную оболочку своего тела, самое себя с приоткрытым ртом и сомкнутыми веками. Но ее нетерпеливая мать с шершавыми руками, похожими на щипцы для колки орехов, всегда так резко возвращала ее на землю, что потом еще с месяц ее изнуряла рвота и она едва не умирала от истощения. Тогда Софи стала остерегаться и научилась уходить и возвращаться в подходящее время.

Сзади до нее доносился беспрестанный шелест и шорох, словно комнату заполонили птицы. Это шумело в ушах от усталости, и все же, если повернуться, увидишь белые крылья. Мысленно она видела золотоглазых голубей, целую стаю голубей; они сидели повсюду: на изголовье кровати, на подоконнике — и охорашивались. У них были розовые лапки, такие хрупкие, такие голые, такие шершавые; одни важно расхаживали, другие обнимали узкую опору, лапки сжимались и расправляли коготки. Скоро среди шороха и шелеста она расслышала тихое воркованье. Если сейчас повернуться, увидит ли она белые крылья? Ей было неведомо, воображение это, или она почувствовала присутствие птиц и наделила их зримой оболочкой, или, быть может, в комнате

на самом деле были голуби. Ей стало ясно, что, как ни старайся, она не умеет заменить голубей попугаями, устрицами или, например, розами. Голуби не зависели от ее воображения. Они ворковали друг с другом на разные голоса: одни звучали успокаивающе, другие раздраженно, третьи надменно, четвертые умиротворенно.

Всматриваясь себе в глаза, она спросила, но спросила не себя: «Ты здесь?»

Она все время задавала ему этот вопрос, и часто ей казалось, что молодой человек рвется к ней, она ощущала за спиной его незримое присутствие, как теперь чувствовала голубей, как чувствовала других пришельцев, которые иногда вползали, просачивались, входили в ее спальню. Ей казалось, он жаждет прорваться в этот мир, жаждет установить с людьми контакт (с тех пор как она сделалась медиумом, она стала употреблять профессиональные выражения). Не испытывай она перед ним такого сильного страха, он уже давно сумел бы прорваться к ней. Она чувствовала, что он где-то очень далеко, что ему холодно, что он заблудился в чужом мире и одинок. Но, с другой стороны, почему этот безупречный юноша должен страдать от холода, как мог он заблудиться? — скорее всего, он умеет

спускаться с Небес, о которых столько рассказывает всезнающий мистер Хок. Ей хотелось помочь ему, открыть перед ним врата в мир людей, но он не появлялся. Вот и сейчас вместо него только холодный поток воздуха, только пустота, отделяющая ее от теплых птиц, безмятежно занятых чем-то, и она снова позвала: «Ты здесь?»

И ей показалось, что ей ответили утвердительно.

Она и в детстве умела вызывать духов. Вызывала персонажей сказок и легенд: несчастного слепого Принца, возлюбленного Рапунцели[95], библейского убиенного Авеля, вызывала мальчика по имени Микки, который оставался ее самым близким другом, пока она не познакомилась с миссис Папагай. Микки являлся ей в разных обличьях: временами она просто ощущала рядом его присутствие, иногда она наделяла его телом темнокожего цыганенка, иногда он приходил в облике кого-нибудь из знакомых, которого она каждый божий день встречала на улице. Он усаживался на краешек туалетного

**[95] Примечания: 95**

*Рапунцель* — героиня одноименной сказки братьев Гримм. Старая колдунья, мачеха Рапунцели, наслала на ее возлюбленного проклятие, и, упав в терновник, он выколол себе глаза. В конце сказки Рапунцель возвратила юноше зрение, оросив его глазницы слезами.

столика и барабанил по нему ногами, у него часто бывал сломан ноготь или поцарапана губа. Он приходил наяву. Иногда почти наяву, и тогда усилием воли она втягивала его в реальность. Она разговаривала с ним, и он ее понимал, но сам все время молчал. Бывало, вместо Микки или другого желанного гостя являлись незваные, нежданные пришельцы: сердитая девочка, которая безутешно вопила, или холодный исполин с синей щетиной и выпученными глазами, который силился схватить ее, но почти совсем ее не видел, она это чувствовала. Пришельцы являлись из разных миров. Изредка, всего раз пять или шесть, перед ней представали плотские существа, вроде утонувших родственников ее бывшей хозяйки, с которыми она беседовала за столом, или полной дамы в Кримондском лесу, отчаянно искавшей часы, которые обронила, или сынишки уличного торговца, которого насмерть затоптала лошадь (он поведал ей, что очень скучает по старому Беляку и что не надо винить коня в его смерти, потому что тот взбесился от боли в копыте). До сих пор ни одно такое телесное существо не являлось на их сеансах, так что либо общими усилиями спириты заставляли дух принять зримые очертания, либо, уступая ее страстному

желанию помочь, ей на миг являлись смутные призраки, едва постижимые чувствами и умом обитатели других измерений, вроде сегодняшнего бутылкообразного существа с кипящими глазами. Впервые видение было столь живым и ярким, но все же ему недоставало плотности.

Софи расчесывала волосы, а голуби шуршали перьями и ворковали. Как ей хотелось отыскать среди мертвых жениха миссис Джесси, найти для миссис Папагай ее капитана! Но сила ее желания почему-то отталкивала духов. Существа и духи приходили в расслабленный, пустой мозг, избегая напряженного внимания. И все же сейчас она чувствовала, что он где-то рядом. Возможно, он ждет в холодной пустоте, что образовалась между нею и голубями. Она не знала, как он выглядит, но представляла его бледным, с золотыми кудрями, греческим ртом и широким, бугристым лбом (про «шишку Микеланджело» она слышала от миссис Джесси и прочитала в «In memoriam»). Однажды миссис Джесси заявила, что на одной фотографии, сделанной в Бристоле, различимы его очертания, но, тщательно рассмотрев размытый силуэт в высокой шляпе за спиной миссис Джесси, Софи смогла разглядеть лишь чье-то белое как мел лицо и черные глазные впадины.

Это мог быть кто угодно, но Мэри, сестра миссис Джесси, подтвердила, что и чертами лица, и осанкой человек на фото поразительно походит на Артура, каким он ей запомнился.

Иногда ей удавалось добиться необходимого — туманного и парящего — настроя, читая про себя стихи. До сеансов в доме миссис Джесси ее почти не интересовала поэзия, но теперь ее тянуло к стихам, как уточку к воде, — это была вполне уместная метафора, ибо Софи плавала в поэзии, погружалась в ее мощный поток, поэзия поддерживала ее. И во многих других домах сеансы часто начинались со стихотворного призыва к умершим. Одной из поэм, которые чаще всего читали для зачина, была «Блаженная Дева» Данте Габриела Россетти[96]. По всеобщему мнению, поэма была прекрасна и печальна: одинокий ангел, опершись на парапет небесного дворца, смотрит призывно вниз, а вокруг Блаженной Девы стоят, обнявшись, пары счастливых любовников, и нет ни слезинки в их глазах; каждая пара — две слившиеся половинки одного ангела супружества (это особенно подчеркивал мистер

**[96] Примечания: 96**

*Россетти Данте Габриел* (1828–1882) — английский поэт и художник. Автор нескольких сборников сонетов («Стихи, баллады и сонеты», «Дом жизни»), переводов из Данте.

Хок, считая, видимо, что Россетти был интуитивным сведенборгианцем). Душа Софи напоминала реку: в ее глубине неслись мощные управляемые течения, а на поверхности ходила рябь обыкновенной женской сентиментальности. Глядя на свое отражение, она видела Деву: ее белую розу, «Мариин дар»; ее пшеничные волосы, ее грудь, от тепла которой нагрелись перила дворца. Глядя на миссис Джесси, раздражительную и едкую, она тоже видела страстную деву, но чувствовала в ней еще что-то кошачье, что-то колючее. А Дева Россетти гипнотизировала ее, иногда в буквальном смысле. Это был путь «туда». Он знал нечто такое, что было известно ей. Неотрывно глядя в глаза своему отражению, она начала читать строки о Небесном дворце:

*Дворец тот словно мост: под ним – эфирная струя,*

*В ее бездонной глубине – граница тьмы и дня,*

*Там мошкой надоедливою вертится земля.*

*Влюбленных пары вкруг нее в объятиях сплелись,*

*Чуть слышные, из чистых уст слова*

*любви лились,*

*А снизу искры новых душ под Божью длань неслись.*

*Померкло солнце, в глубине, как перышко, повис,*

*Мерцая, завиток луны, – она смотрела вниз,*

*И в тишине, как пенье звезд, слова ее лились:*

*«О, скоро ль он ко мне придет? Я знаю, он придет…»*

Софи, обхватив себя руками, тихонько — словно лилия на стебельке, как змея перед заклинателем — раскачивалась взад и вперед. А волосы в такт ее движениям то приподнимались, то падали на плечи. Она читала негромко, чисто и выразительно. Она читала и видела искры душ и перышко луны; она чувствовала, как, кружась, покидает тело; она словно прильнула к окуляру гигантского калейдоскопа, внутри которого среди вертящихся пушистых хлопьев, снежных кристаллов, целых миров кружится и крошечная блестка ее лица. Издалека она услышала свой голос:

*Нет, не придет. Все время ждать*

*Устала я, устала.*

*Молю Его мне смерти дать…*

То были строки из другой поэмы. Читая их, она вся окоченела. Чтобы согреться, она крепче обняла себя; холодная грудь легла на холодный выступ рук, мизинцы впились в ребра. Она была уверена, почти полностью уверена, что сквозь шорох голубиных перьев за спиной слышит чье-то дыхание. Стихи шелестели на разные голоса. Боль холодной сосулькой пронзила ей грудь. Внезапно по стеклу сильно, с короткими перерывами, начал барабанить град, а может, дождь, словно кто-то швырял в окно пригоршни семян. Воздух в комнате вдруг потяжелел, пустота сделалась весомой: так бывает, когда стучишься в чью-то дверь и еще до того, как раздадутся на лестнице шаги, а в прихожей шорох и позвякивание, уже точно знаешь — дома кто-то есть. Она не должна была оборачиваться и, чтобы отвлечься, стала нараспев читать роскошные строки «Кануна святой Агнессы»[97]:

*Свеча клонила пламень голубой,*

*В лучах луны скользил дымок лениво.*

---

**[97] Примечания: 97**

Поэма Джона Китса (1795–1821). Перевод Е. Витковского.

*Девица дверь закрыла за собой,*
*Молчанье соблюдая терпеливо;*
*Но сердце… сердце стало говорливо,*
*Стучит в груди лилейной все сильней,*
*—*
*Так бьется, умирая от надрыва,*
*В орешнике зеленом соловей,*
*Внезапно онемев пред гибелью своей.*

Кто-то вздохнул у нее за спиной, втянув воздух в легкие. Софи неуверенно заговорила:

— Мне кажется, ты здесь. Не мог бы ты показаться?

— Понравится ли тебе мой облик? — послышалось в ответ или, быть может, прозвучало в ее голове.

— Это ты?

— Тебе может быть неприятен мой облик.

— Мне не свойственны ни пристрастность, ни предубеждение, — услышала она свой ответ.

Она взяла свечу и поднесла ее к зеркалу — суеверное чувство, что она не должна оглядываться, чувство, знакомое и Маделине[98], и госпоже ост-

---

**[98] Примечания: 98**
Героиня поэмы Джона Китса «Канун святой Агнессы».

рова Шалот[99], все еще владело ею. Пламя свечи то рассеивало мрак в глубине зеркала, то он вновь сгущался. Ей почудилось там какое-то движение.

— Но мы не всегда можем побороть свои чувства. — Теперь он говорил гораздо более отчетливо.

— Прошу, — прошептала она зеркалу.

Она почувствовала, что он подходит к ней, все ближе и ближе. Хриплый голос заговорил насмешливо словами поэмы:

*Он вплелся в сон ее – так запах нежный*
*Вливает роза в аромат фиалки;*
*Благоуханна ароматов смесь.*

Ее рука дрожала, лик за ее спиной то бугрился, то разглаживался, менял черты и выражение. Лицо не было бледным — на нем вздувались багровые вены; синие глаза смотрели не мигая, тонкие губы над нежным подбородком были сухи и потрескались. Вдруг ее обдал сильный запах, но то не был аромат розы или фиалки, то был дух прели, разложения.

— Теперь ты видишь? — проговорил он тихо и

---

**[99] Примечания: 99**

*Госпожа острова Шалот* — героиня одноименной поэмы А. Теннисона (1832). Она не должна была отрывать взгляда от зеркала и смотреть в сторону Камелота, но нарушила запрет и умерла.

хрипло. — Я мертвец.

Софи Шики набрала в грудь воздуха и повернулась. Она увидела свою белую кроватку, голубей на чугунном изголовье, заметила, что на подоконнике примостился ало-синий попугай, она увидела темное оконное стекло и — его. С отчаянным упорством он старался удержать свое непрочное тело в границах очертаний, не дать себе расплыться.

Она сразу же поняла, что он тот, кого она ждала. Не потому, что знала его в лицо, но потому, что его описывали именно так: эти кудри, эти узкие губы и шишка на лбу. На нем была старомодная рубашка с высоким воротником: этот фасон устарел, когда ее мать была еще девочкой, — и брюки, запачканные землей. Он стоял перед нею, мрачный, и дрожал, но дрожал нечеловеческой дрожью: его тело раздувалось и съеживалось, словно его сначала накачивали воздухом, потом воздух выпускали. Софи подошла ближе, вгляделась. На его бровях и ресницах засохла земля. Он повторил:

— Я мертвец.

Он побрел прочь — так ходит человек, только что вставший на ноги после продолжительной болезни, — и присел на подоконник, спугнув

стайку белых голубей. Птицы вспорхнули и уселись под занавеской. Софи вновь приблизилась и пристально посмотрела на него. Он был совсем юным. Те, кто любил его, кто ждал и чаял повидаться с ним, считали его мудрым божеством, а на самом деле он был даже моложе ее. Казалось, его новый жребий отнял у него все силы. В Новоиерусалимской Церкви ей рассказывали, что Сведенборгу приходилось встречать недавно умерших; они не желали верить в свою смерть и с любопытством и негодованием взирали на собственные похороны. Причина их беспокойства в том, учил Сведенборг, что в иной мир с ними возносятся мысли и чувства, принадлежавшие земному миру. Пройдет время, и они обретут свое истинное Я, найдут среди духов и ангелов своих истинных супругов, свою половину. Но сначала они должны осознать свою смерть и примириться с ней.

Она спросила:

— Как ты? Как ты себя чувствуешь?

— Как видишь. Меня угнетают немощь и смятение.

— Люди оплакивают тебя, скорбят по тебе. Больше, чем по кому бы то ни было.

Багровое лицо исказилось от муки, и Софи

Шики нутром почувствовала, что его терзает людская скорбь. Она угнетает, душит его, тянет назад. Отвыкшим от человеческой речи, тяжелым языком он проговорил:

— Я все скитаюсь. Между двумя мирами. За их пределами. Всего не объяснить. Я принадлежу пустоте. Я немощный и смятенный, — членораздельно и быстро добавил он, будто за долгие годы выучил эти слова, словно все время он неустанно приручал их. Но возможно, долгие годы не казались ему долгими. «Чреда веков в глазах твоих — один короткий миг».

Она искренне пожалела его:

— Ты такой юный.

— Да, юный. И мертвый.

— Но тебя все помнят.

Снова мука исказила его черты.

— Но я так одинок.

Он жалел себя, как свойственно молодым.

— Как мне помочь тебе?

Он нуждался в помощи.

— Обними меня, — ответил он, — обними, если можешь. Мне холодно. Вокруг темнота. Обними меня.

Софи Шики застыла, вся побелев.

— Не можешь.

— Я хочу.

Она легла на белую постель. Он неуверенно и неуклюже приблизился и лег рядом, положив свою зловонную голову на ее холодную грудь. Она закрыла глаза — так было легче. Он был тяжел, тяжел, словно живой, но не дышал и лежал недвижно — то была мертвая тяжесть, тяжесть говяжьей туши. «От этого можно умереть», — мелькнула мысль, и по глади ее души, ужаснувшись черной глубины, разбежалась рябь. Но глубинные воды не принимали ее, держали на плаву их обоих, Софи Шики и молодого мертвеца. Холодными губами она коснулась его кудрявой головы. Но почувствовал ли он поцелуй? Хватит ли у нее тепла, чтобы согреть его?

— Успокойся, — словно капризному ребенку, сказала она ему.

Он положил ей на плечо подобие руки, и ее обожгло холодом.

— Поговори. Со мной.

— О чем? О чем мне говорить?

— Назовись. Прочти из Джона Китса.

— Меня зовут Софи Шики. Я могу… могу тебе прочитать «Оду соловью». Хочешь?

— Прочти ее. Прочти.

*От боли сердце замереть готово,*

*И разум – на пороге забытья,*
*Как будто пью настой болиголова,*
*Как будто в Лету погружаюсь я*[100].

— Да, он понимал ее. Он понимает, что такое чувствительная любовь к красоте. Я помню. Помню, что подарил ему это слово. «Чувствительный». Это мое слово. Нет, не «чувственный» — «чувствительный». — Сиплый голос прервался и вновь возвысился: — О, если б жить не разумом, а чувством! Но ничего не осталось. Во мне не осталось ни разума, ни чувства, Софи Шики. Пистис София. Стихи суть духи чувств, Пистис София, духи мыслей. Стихи живут в душе, милая; стихи — это и мысли и чувства, союз мыслей и чувств. Мне тепло на твоей груди, Пистис София. Я отогреваюсь, как окоченевшая змея. Гностики утверждали, что змею в райском саду поселила Пистис София[101].

— Кто такая Пистис София?

— Разве ты не знаешь, милая? Это ангел. Она

---

**[100] Примечания: 100**

*Китс Джон.* Ода соловью. Перевод Е. Витковского.

**[101] Примечания: 101**

*Пистис София* (*греч.* pistis — вера, sophia — мудрость) — согласно учению гностиков (I–V вв. н. э.), божество, которое верховный бог породил последним. Из запретного желания Софии познать Творца родился злой бог, демиург, создавший нашу Вселенную.

жила в саду прежде человека. Чувствительная любовь к красоте. Китс и Шелли были юны. Я любил их за то, что они были так юны. Читай дальше. «Когда во мраке слушал это пенье». Мрак.

*Я в смерть бывал мучительно влюблен,*
*Когда во мраке слушал это пенье,*
*Я даровал ей тысячи имен,*
*Стихи о ней слагая в упоенье;*
*Быть может, для нее настали сроки*
*И мне пора с земли уйти покорно,*
*В то время как возносишь ты во тьму*
*Свой реквием высокий, —*
*Ты будешь петь, а я под слоем дерна*
*Внимать уже не буду ничему.*

— Я чувствую, что чувства умерли во мне, — прошептало существо, лежащее в ее объятиях. Он становился все тяжелее. Дышать было совсем трудно.

Софи Шики перевела дух:

*Но ты, о Птица, смерти непричастна*
*—*

*Любой народ с тобою милосерд*[102].

*Гость вздохнул. Ледяная струя коснулась ее уха.*

*Не соловей то – амальгама*

*Тьмы, ликованья и печали,*

*Страданья, смерти и бессмертной*

*Любви, что протянулась трелью*

*Сквозь время и вовне пространства.*

В середине комнаты вырисовалась длинная, смуглая старческая рука. Наугад, неумело рука застегивала ночную рубашку. Софи разглядела пуговицы: они были застегнуты неправильно. Рука беспомощно возилась с ними. И вдруг, словно ощутив холод, исходивший от них, прижала скомканную рубашку к груди.

— Но «амальгама тьмы, ликованья и печали», — повторил в ухо Софи холодный, глухой голос. — Хорошо, правдиво написано. Я предвидел, что он сравняется величием с Китсом, — так Колридж разглядел в Вордсворте величайшего после Мильтона поэта. За это я и любил его, верь мне, Пистис София.

— Я верю тебе.

---

**[102] Примечания: 102**
Перевод Е. Витковского.

— Не вижу… не вижу. София, я ничего не вижу… а ты видишь?

— Не очень отчетливо. Вижу смутно руку. И старика в ночной рубашке… в его комнате горит свеча. Он поднес руку к лицу и… он нюхает ее. У него борода, растрепанная, с проседью… у рта она в желтых пятнах. Красивый старик. Я его знаю…

— Я ничего не вижу. — Толстые холодные пальцы коснулись ее ресниц, он словно пытался на ощупь увидеть то, что видит она. — Он стар, и я не вижу его. Что это? Я чувствую запах его табака. Раньше он, бывало, утопал в облаке ароматного табачного дыма, а потом от него пахло остывшим пеплом, табачным перегаром… Чем он занят?

— Он сидит на постели и разглядывает руку. Словно в недоумении. И очень красив. И чуточку рассеян.

— Я должен бы слышать его мысли. Но не слышу.





## X

Да, Альфред Теннисон почувствовал движение. В комнате сделалось вдруг абсолютно покойно, и закололо кожу — Альфред обыкновенно говорил об этом ощущении так: «Ангел ступает по моей могиле», отлично сознавая, что смешивает два поверья: говорят, что застольная болтовня смолкает за полчаса до или после того, как над людьми беззвучно пролетит ангел, и что человек испытывает вещий трепет, если кто-то топчет землю, которую однажды, в неизбежный час, разроют, чтобы погрести его бренные останки. Ему показалось также, будто кто-то пристально смотрит на его руку, и, словно необычного зверька, он поднес ее к глазам. Пальцы были длинные, смуглые и все еще сильные. Рука не была ни полной, ни пухлой, хотя однажды он случайно услышал едкое замечание Эмили Джесси: якобы он с самой свадьбы для себя и пальцем не пошевелил. Кое-где на пальцах были бурые пятна от курения. Он опасался, что, того не замечая, распространяет вокруг себя крепкий табачный дух. Запах табака уже до смерти не выветрится из его носа — вот так же для конюха любой запах

пропитан теплыми парами конского волоса и пота, конской мочи и навоза. Запах был приятным, пока, так сказать, жил; остыв, он был уже не столь хорош. «Как ночью столп огненный, сначала он свеж и благоуханен, — подумал он, — и как днем столп облачный[103], он остывает, превращается в холодный прах, в табачный перегар. Хорошо это сказано — „табачный перегар“». Может быть, это очень дурной запах? Он понюхал пальцы. В ушах звенел рой живых слов — они не оставляли его ни на миг, обволакивая голову, словно облако из живого остывшего дыма, как пылинки, что играют в солнечных столбах; красивый эпитет нашел он для этих столбов — «густопыльные».

— Дай руку, поцелую я тебе, — донеслось до него.

И он отозвался:

— Вытру сначала, у нее трупный запах[104]. Или нет, не словами Лира, а словами леди Макбет? Никакие ароматы Аравии не отобьют этого запаха у этой маленькой ручки[105]. Или строкой из

---

**[103] Примечания: 103**
Исх. 13: 21.

**[104] Примечания: 104**
*Шекспир Уильям.* Король Лир. Перевод Б. Пастернака.

**[105] Примечания: 105**
*Шекспир Уильям.* Макбет. Перевод Б. Пастернака.

Джона Китса: «Когда рука, мой теплый писарь, в могиле будет тлеть»?[106] Или вспомнить строки, еще более обескураживающие:

*Рука живая, теплая, что пылко*
*Способна сжать, – застынь она в безмолвье*
*Могилы ледяной – тебе бы днем*
*Являлась, ночью мучила б ознобом,*
*И сердца кровь ты б отдала, чтоб жилы*
*Мои наполнить алой кровью вновь*
*И совесть успокоить, – вот, гляди, —*
*Я протянул ее тебе*[107].

Артур прочитал ему это жуткое восьмистишие в их спаленке в Сомерсби, когда они лежали на своих белых постелях, а вокруг висел мрак и в окно несмело пробивалась луна.

«Стоит жить, — воскликнул восторженно Артур, — если пишешь такие стихи, когда смерть уже заглядывает в глаза! Как благородно выразил

---

**[106] Примечания: 106**

Строка из поэмы Джона Китса «Падение Гипериона» (1819). Перевод В. Потаповой.

**[107] Примечания: 107**

*Китс Джон.* Падение Гипериона. Перевод В. Потаповой.

поэт свое презрение ей!»

В поэме, посвященной Артуру, он создал свой образ мертвых рук. И гордился им: безжизненные руки обрели обманчивую жизнь:

*Те руки, что в своих сжимал я,*
*Запутались в траве морской.*

Руки волнуются, как водоросли, колышутся, словно обломки корабля, мертвые члены раскачиваются вместе с морем — этот ритм удачно запечатлелся в его стихах. Вспоминая Артура, он ярче всего представлял себе его руки. Сорок лет миновало — и все эти годы воспоминание о крепком рукопожатии друга таяло, оплывало, как свеча. Он взглянул на свои старческие пальцы, потрогал их. Кожа на сгибах суставов сделалась удивительно гладкой и лоснилась; линии жизни стерлись, зато морщины избороздили и губы, и лоб. Раньше он хорошо помнил теплую Артурову ладонь, его сердечное рукопожатие. Да, крепкое рукопожатие свело их вместе, и до поры они были вместе. Мужское энергичное рукопожатие заменяло им нежное прикосновение. Пожатие при встрече и на прощание. И после того страшного письма он еще долго мучился: его рука тосковала по дружескому рукопожатию. Эта мука тоже по-

родила чудные, просто чудные стихи. Он получал сотни писем с отзывами.

*Скажу Вам, сэр, что и мне привелось испытать чувство, о котором Вы пишете: «И я, не обнаружив в нем ни перемен, ни тени смерти… не буду этим удивлен». Знаете ли Вы, что Ваша чуткость приносит утешение и покой?*

Такое чувство владело им первое время после смерти друга, когда душа и тело еще не могли постичь то, что мгновенно воспринял ум. И ему виделись корабль, ставший на якорь, и сходящие по трапу пассажиры:

*И коль средь прочих с корабля*
*Ко мне мой полубог сойдет,*
*Внезапно руку мне сожмет*
*И спросит, как у нас дела,*
*То я, не обнаружив в нем*
*Ни перемен, ни тени смерти —*
*Лишь друга прежнего, поверьте,*
*Не буду этим удивлен.*

Он точно описал свои чувства, но то было давно и давно миновало. День за днем воспоминание об Артуре умирало в его теле и душе — так медленно погибает дерево: клетка за клеткой, веточка за

веточкой. Первое время после смерти Артура внезапное воспоминание о друге, каком-нибудь его нетерпеливом жесте или его живом взгляде было для Альфреда сущей пыткой. Позже, когда телесный облик друга начал размываться в памяти, Альфред, как будто назло себе, пытался удержать его, воплотить в слова свои воспоминания, увидеть незримое:

*Не различаю ясно черт,*
*Когда на мраке тщусь писать*
*Лицо родное…*

И Фредерик, и Мэри, и Эмили призывали духов прошлого, но он бежал этого из страха и отвращения: из страха поверить в лжесвидетельство своего слабого мозга, из отвращения к мрачной неестественности спиритизма. «Тебя я боле не увижу», — повторял он решительно страшные слова, убеждая себя в безвозвратности утраты. За могильной чертой, считал он, еще возможен союз бесплотного света со светом, духа с духом, но, пока он жив, его тоскующей руке суждено сжимать только пустоту.

Однажды на лужайке перед домом они с Артуром день-деньской беседовали о природе вещей, о сотворенном сущем, о любви, искусстве, чув-

ствах и душе. Рука Артура покоилась на теплой траве среди маргариток, рядом с его рукой. Артур рассуждал о чувствительном воображении Китса, творившем красоту; Китс говорил, что воображение подобно Адамову сну, в котором праотцу привиделось, будто Бог творит из его окровавленного ребра жену, и «когда проснулся, увидел, что это так». Артур говорил, а Альфред представлял себе Адама, не Мильтонова, но Адама Микеланджело[108]: вялую руку человека оживляет разряд энергии, электрическая искра, изошедшая из Божьего перста к его пальцу. Артур восхитился дерзостью мысли поэта, силой и правдой этой мысли. «О, если б жить не разумом, но чувством!» — воскликнул он тогда.

Светило солнце. Артур начал читать чу́дное письмо Китса:

*Называется оно «Видение юности», таким мне представляется наше будущее… И это соображение тем сильнее убедило меня (оно пришло на помощь, когда я размышлял об ином предмете, который часто увлекает меня), что и после всего нам суждено испытывать счастье, с той лишь разницей, что оно будет утонченнее земного.*

---

**[108] Примечания: 108**

Фреска Микеланджело «Сотворение Адама» украшает потолок Сикстинской капеллы.

Артур заговорил о Данте и Беатриче и о том, как чувствительно автор «Божественной комедии» описал небо: «Биение земной любви в поэзии и Китса, и Данте, таких непохожих друг на друга, мы, безусловно, должны принимать как короткое прозрение, короткое предвидение или предчувствие обоими любви Божественной; как ты считаешь, Альфред?»

А он полулежал в скрипучем кресле, его рука свисала до земли, и он представлял себе рай, любил Артура и чувствовал такой прилив счастья, счастья такого большого и несвойственного мрачноватым Теннисонам, что лишь улыбался, и согласно мычал, и слушал пение летучих слов, разрозненных атомов своего будущего творения.

Микеланджело любил мужчин. И он сам не однажды говорил Артуру как бы в шутку, что любит его, как Шекспир любил Бена Джонсона — «этот род любви»; они оба находили в шекспировских сонетах строчки, которые могли бы дарить друг другу в знак любви и благодарности. Он знал, что они порхают вокруг «бесплодного» огня и жар не обожжет им крыльев, но знал и об ужасных домыслах, родившихся в людских умах после того, как в поэме, написанной в память об Артуре, он раскрыл и до мельчайших штрихов описал боль

утраты и тоску по другу. Отцу Артура претила их любовь. После смерти Артура, когда Альфред еще не решался показать миру свое творение, тот написал уничижительную статью о сонетах Шекспира:

*Очевидно, сегодня многие (в особенности же молодежь поэтического склада) склонны преувеличивать достоинства этих замечательных произведений... Над привязанностью к женщине, не задевшей сколько-нибудь серьезно ни сердца, ни ума поэта, но и не угасшей совершенно, возобладала привязанность к другу; и она носит столь восторженный характер, столь неумеренно поэт выражает ее, что смысл этих сонетов совершенно затемняет непостижимая тайна. Я согласен, у поэзии и прозы ранних веков был более пылкий и чувствительный язык для выражения дружеских чувств, чем в новые времена и сегодня, однако мы не находим в произведениях тех лет другого примера, где бы обнаружилась такая же всепоглощающая страсть, то обожание, которые величайший человек изливает в своих сонетах на некоего безымянного юнца... И пусть сонеты исполнены великолепия, все же известное недоумение значительно умаляет удовольствие читателя, и мы неизбежно сожалеем, что Шекс-*

*пир написал их.*

Генри Галлам уничтожил письма Альфреда к Артуру. Альфред прекрасно понимал, чего боится и что подозревает отец Артура, но ни разу ни выражением лица, ни тоном не выказал беспокойства, не выдал своей осведомленности. Он был смолоду научен скрывать свои чувства, облекать собственное и чужое недовольство в непроницаемый туман. В течение восьми лет он, словно напуганный осьминог, выпускал чернильную струю в глаза дорогой Эмили. Он не высказал ни малейшего раздражения в ответ на то личное послание, которое обнаружил в высокомерной отповеди сонетам, и только неустанно твердил всем, что сонеты благородны. Сейчас он прятался под двойным покровом: рассеянности и многозначительности гения и плотным куполом людского почтения, — случилось так, что он сделался кумиром своего времени. Но когда-то он был молод, и критики, высмеивая его неосторожные откровения, доставляли ему много горечи. Так, описав в стихах их «милый чердачок», их «белые и мягкие постели», он подверг себя насмешкам. Лишь только поэма увидела свет (вышла она анонимно, поскольку Альфред не пожелал ставить на титуле свое имя),

как некий критик заметил, что поэт извел «немало дешевого витийства» на «какую-то пастушку из Канцелярии»[109]. Старая присоленная рана от той шпильки еще отзывалась живой болью, в ней было больше жизни, чем в меркнущем воспоминании об Артуровом рукопожатии. Несмотря на успех и всеобщее признание, он до сих пор, слыша в свой адрес резкую критику, кривился, точно от острой боли. Другой обозреватель предполагал, что стихи написаны женщиной: «Только необъятное сердце вдовы какого-нибудь вояки могло породить столь трогательные строки». Все так, все верно, он постоянно называл себя вдовой Артура, но только в духовном смысле, ибо овдовела его душа, его анима. Более того, он считал, что в каждом великом человеке уживаются оба пола. Сын Божий Христос (следуя Артуровой «Новейшей Теодицее» — предмет Божественной Любви и Страсти Создателя) сочетал в себе мужское и женское начала, поскольку был Воплощением Бога: мужские начала — Мудрость и Справедливость присутствовали в нем наряду с женскими — Жалостью и Милосердием. Он полагал, что и они с Артуром обладали женскими ипостасями

**[109] Примечания: 109**
Верховный суд Великобритании до 1873 г. (суд лорд-канцлера).

(«в высоких душах — жалость частый гость»)[110], и оттого и поэтическая их чувствительность, и мужественность отнюдь не умалялись, но возрастали.

Но кое-что его ужасало и отталкивало. Как ужасало и отталкивало и Артура. Он считал, что сам критик втайне склонен к этому пороку, обвинив его, Альфреда, в страсти к «пастушке из Канцелярии». Как-то раз он остроумно заметил, что мужчинам положено быть андрогинными, а женщинам — гинандринными, но не наоборот. Он даже сочинил эпиграмму «На женоподобного господина»:

> *Раз мы ущербными, мой милый, родились,*
>
> *Блаженны те, в ком «м» и «ж» слились;*
>
> *Но различать меж ними есть причина:*
>
> *Мужчина-женщина – не женщина-мужчина.*

«Точно подмечено, — думал он, — и написано ладно. Эпиграмма как леденец: вот его нет, а вот он уже на языке, круглый, гладкий, приятный». Ему отлично известно, что люди принимают его

---

**[110] Примечания: 110**
*Чосер Джеффри.* Кентерберийские рассказы. Перевод О. Румера.

за наивного старикана. Они стремятся ему угодить, ограждают от разочарований. А между тем он таит в себе больше, чем высказывает, — только так и можно жить в эти пуритански-чопорные времена; время, породившее его, было куда менее наивным. Они с Артуром были наслышаны о, мягко говоря, «наклонностях» одного их кембриджского знакомца, изящного Ричарда Монктона Милнса, — его интерес к красивым мальчикам был постоянно на устах и у самого Милнса. От Артура он знал, какие страсти побуждают Вильяма Гладстона[111] рыскать по ночному городу в поисках женщин, хотя после тот мучительно каялся. «Чувственный человек», — говорил о Гладстоне Артур. Гладстон влюбился в великолепного Артура еще в Итоне, Альфред полюбил его в Кембридже. Артур не был чувственным. Он любил романтично, возвышенно. В поэме были о нем такие строки:

*Вкусил любви умом одним,*
*Живящей влаги не испил… —*

и Альфред верил, что не ошибся насчет друга;

**[111] Примечания: 111**

*Гладстон Вильям* (1809–1898) — английский политический деятель, с 1868 г. лидер Либеральной партии. В 60–90-е гг. неоднократно становился премьер-министром Англии.

верил, что, шагни тот, образно говоря, через порог воображения в любовь плотскую, он бы узнал об этом.

Сам он не был человеком страстным. Его чувственность, так сказать, распространялась на все сущее, смешивалась с ним — проникала в крохотные лопающиеся почки, волновалась вместе с морем. Первое любовное соитие — он толкнул пуговицу в прорезь, отстегнул ее, нащупал другую, и снова не ту, — есть ли смысл думать об этом теперь, слишком много времени прошло, Эмили уже долгие годы инвалид. Он считал, что его жизнь удалась. Он испытывал полноту чувств и радость семейной жизни. Он подозревал, что у других жизнь была богаче ощущениями, но и то, что пережил он, было приятно и устраивало его. И он был уверен, что и Эмили устраивала ее жизнь. Если говорить откровенно, в тот день на лужайке они с Артуром испытывали особую радость любви: через пальцы они словно обменивались душами, упрочали общность помыслов и духовную близость, подтверждали друг другу общее ощущение, что они друзья во веки веков, — им не надо было узнавать, изучать друг друга, как прочим. Но значит ли это, что они были подобны таким, как Милнс? Нет, они любили друг друга,

как Давид и Ионафан, — то была дивная любовь, любовь к женщине уступала ей в силе. И это притом, что библейский Давид страстно любил женщин (чтобы завладеть Вирсавией, он послал Урию на верную смерть), и среди героев не было равного ему мужеством. Неуравновешенные, мятущиеся души тянулись к холодному совершенству Артура, к его изящной сдержанности и самодостаточности. Альфред знал, что Вильям Гладстон до сих пор завидует его былой близости с их общим кумиром. При встречах они оба испытывали неловкость, но все же тянулись друг к другу, их объединяла общая великая утрата, оба были самыми выдающимися людьми своего времени. Гладстон был Давидом нового времени. Но Артур полюбил его, Альфреда. Однажды Артур показал ему черновой ответ на письмо Милнса — тот в свойственной ему бурной манере умолял Артура разделить свою дружбу исключительно с ним. Это было, кажется, в 1831 году. Бедному Артуру оставалось жить меньше двух лет. Он протянул письмо Альфреду и добавил:

— Быть может, дурно показывать письмо, адресованное другому. Но ты все же прочитай его, Алли, я хочу, чтобы ты прочитал мой откровенный ответ Милнсу. Не надо ничего говорить,

любые замечания будут неуместны. Ты только прочти, а я запечатаю письмо и отошлю, и будь что будет. Надеюсь, ты одобришь мою откровенность.

*В том высоком смысле, который ты, мой дорогой Милнс, вкладываешь в слово «дружба», мы с тобой никогда не были и не станем друзьями. К тому же я не тешил себя такой надеждой и не давал повода тебе на что-то уповать. Я отнюдь не насмехаюсь (упаси боже!) над этим возвышенным чувством, но и не считаю его чем-то несбыточно-идеальным: оно знакомо мне и владеет мной сейчас, но — прости, мой дорогой Милнс, что говорю не обинуясь, — это чувство не к тебе. И однако, существует неисчислимое множество оттенков симпатии; воистину удел человеческий был бы жалок, если бы с безоблачных небес нам светило только тропическое солнце.*

Их взгляды встретились.

— Ты понимаешь меня, Альфред? Понимаешь, о чем я?

Да, он все понял. В своей поэме он написал: «Тебя любил я, Дух, люблю. Шекспир сильней любить не мог бы», — и это была истина.

Он сел на кровать и вновь взялся возиться с пуговицами, пытаясь правильно застегнуть ру-

башку. Ноги мерзли и покрылись мурашками; ему было знобко в ночной рубашке, он дрожал. Собственное тело внушало ему страх и жалость, словно он какой-нибудь туповатый вол, обреченный на убой, словно крупный, лукавоглазый кабанчик — он похрюкивает, не подозревая, что спустя миг лезвие взрежет его необъятную глотку. Когда он был моложе и смерть Артура была свежа в памяти, каждая клетка его тела кричала о неестественности такого исчезновения. Теперь, состарившись, он понял, что это было от юношеской веры в свое бессмертие, в то, что его полуденная сила никогда не иссякнет, что рука и поступь всегда будут твердыми и уверенными, а дыхание легким, — теперь же каждое движение давалось с трудом. Он шагал к небытию (короткому, верил он), и с каждым шагом его тело требовало большей заботы, и он уже привык смотреть на него как на самостоятельное живое существо. И с каждым шагом все сильнее становился страх, что он просто сгинет, как животное. В юности они пели в церкви о своей вере в воскресение тела и жизнь вечную. «Наверное, было время, — думал он, — когда все христиане, не сомневаясь, ликуя, верили в то, что при звуке последней трубы их тела возродятся из

частиц праха, осколков костей, истлевших волос, но сейчас люди в это не верят и им страшно». Как-то в юности он гулял по Лондону, и его пронзила мысль, едва не повергшая его без чувств наземь: через сто лет все до одного жители этого огромного города будут лежать в могиле. Теперь люди видели то же, что видел он — земля нашпигована мертвечиной: обломками ярких перьев, обугленными мотыльками, разорванными, искромсанными, изжеванными червями, косяками некогда сверкающих, а ныне зловонных рыб, чучелами попугаев, тигровыми шкурами, вяло скалящимися у очага, горами человеческих черепов вперемешку с черепами обезьян и змей, ослиными челюстями и крыльями бабочек — все перемешивалось, обращалось в перегной и пыль, пожиралось, отрыгивалось, носилось по ветру, мокло под дождем, становилось частью чужой плоти. Такой была явь, такой была «кровавозубая» природа — все только пыль и прах; но люди верили в другой мир, говорили, что верят, пытались поверить. Ведь, не будь у них веры, какой же смысл во всем, чего стоили бы жизнь, любовь, добродетель? Дорогую Эмили ужасало, что он смеет сомневаться. В поэме он отдал должное неколебимости ее веры:

*Ты говоришь (но без презренья),*
*Ты, чьи глаза исходят мукой*
*Над тонущей в кувшине мухой:*
*«Сомненье – дьяволово семя».*

Он восхищался тем, как Артур боролся с сомнением:

*Умолк певец. Он чист был, верь,*
*Пусть знал сомненье в полной мере:*
*В сомненье честном больше веры,*
*Чем в миллионе ложных вер.*

Не жалость, другое чувство мучило его самого при виде тонущей мухи. Вот живая муха, вот она бьется и жужжит — и вот она уже мертва. У мухи есть тело, и в теле жизнь, она кружит вдоль кромки кувшина, жужжит — и вот она ничто. Неужели то же случилось с Артуром, из которого жизнь била ключом? Если бы он мог предвидеть смерть друга, ясно представить себе его телесную смерть, он не сумел бы любить его, они не смогли бы друг друга любить. Это убеждение родилось не в его мыслях, а под пером. В отличие от Артура он не был мыслителем. Если бы от убедительного доказательства зависела самая его жизнь, и тогда он не сумел бы ничего доказать. Он не

умел выдвигать аргументы, не умел защитить свою точку зрения. В кружке «апостолов» он не блистал яркими идеями; он украшал камин, отпуская робкие шутки, читал стихи и внимал панегирикам в честь своего великого дарования, которое, кажется, лишь отчасти можно считать его собственным. Но он разобрался в любви и в смерти, в этих безжалостных абстракциях, пока писал поэму, избрав для нее лженаивную форму, незамысловатую, простенькую песню-плач, на ощупь постигая себя и мир, — мысль текла за мыслью, чувство сменялось чувством, рифма догоняла рифму, начиналась новая строфа, и медленно, но верно он шел к прозрению. От абстрактной персонифицированной Любви он добрался до голой животной чувственности:

*И если некто мне шепнет:*
*«Нас время сушит и сгибает,*
*А Смерть останки забирает.*
*Надежда ж в прахе не живет»,*

*Я все ж пытаться стану вновь,*
*Пусть на короткое мгновенье,*
*Свою Любовь отнять у тленья.*
*Но чу! – Я слышу стон и рев*

*Бездомных волн и гул ручьев,*
*Что крепость гор в песок стирают*
*И основанье полагают*
*Для будущих материков.*

*И молвит мне Любовь моя:*
*«То Леты плеск. Мой зов он глушит,*
*Бескровит он меня и сушит,*
*И я умру, умру и я».*

*К чему слова? Да буде б только,*
*Влюбляясь, мы страшились Смерти,*
*Любви не стало бы на свете,*
*Или она бы стала горькой,*

*Как Смерть сама; иль в буйстве оргий*
*Она б валялась и скакала,*
*Давила б грозди, травы мяла*
*В полях сатиром козлоногим.*

Сделавшись знаменитостью, он взял в привычку (особенно после изрядной порции портвейна) говорить, не всегда к месту, афоризмами. Он с удовольствием произносил (а друзья, гости и его любящий сын поспешно доставали блокноты и карандаши) сентенции вроде: «Материя

загадочнее, чем разум», «Я не понимаю, что значит просто дух, вне Бога или человека» или «По моему разумению, Вселенная есть дух». Если, бывало, он пытался развернуть какой-нибудь афоризм, то у него, кроме страшного сумбура, ничего не выходило, и тогда, стараясь выдать свою беспомощность за милую небрежность и уклончивость, он отговаривался тем, что, увы, не богослов. «Спирит» — какая скользкая, неуловимая субстанция и какое скользкое, ненадежное слово. Ладное старинное слово «дух» (дух в человеке, дух человека, Святой Дух, духи из его апостольского эссе) нравилось ему намного больше, чем «спирит»[112], с которым все время выходили нелепые недоразумения. Когда друзья бичевали грубый материализм, поднявший голову в их время, он глубокомысленно кивал, но именно материя поражала его воображение; не дух, не «спирит», но огромная, избыточная масса твердой, осязаемой материи — человеческой и животной плоти, земли, растительности. «Мир природы поражает меня также своей неуемной, расточительной щедростью, — писал он, — меня

**[112] Примечания: 112**

Spirit *(англ.)* — дух. Слово *spirit* (латинского происхождения) гораздо более многозначно, чем исконно английское *ghost,* и может значить, в частности, «веселость», «спирт» и т. д.

поражает и буйство тропической растительности, и плодовитость человечества, этот поток младенцев». И если человеческий разум не ангельского происхождения, тогда и его мысли не более чем электрические искры, испускаемые бледным, осклизлым, червеобразным комком плоти:

*Дух мое тело не оставил.*
*Не все в нас мозг – комок магнитный.*
*Не тщетно я со Смертью в битву*
*Вступал, как со зверями Павел*[113].
*Мы живы не умом единым…*

Он остро чувствовал свое тело. «Будь со мной, — умолял он мертвого друга, — „когда светильник догорает“, когда стынет кровь и щемит душу». Он умело обращался с выразительными словами и фразами, вроде «стынет кровь», «щемит душу», — при помощи таких слов он облек в плоть мир из кошмарного сна:

*Из пасти врат, отверстых там,*
*Поток одряблых лиц исходит;*
*Там, спотыкаясь, тени бродят*

---

**[113] Примечания: 113**
1 Кор. 15: 32.

*По бесконечным берегам.*

Какие выразительные, плотные слова «пасть», «одряблый», «бродят». Или «валялась», «скакала», «давила». Они и пугают, и зачаровывают. Но другой мир, мир духовный, мир света, не поддавался человеческому языку, ускользал из-под пера, словно воздух. «Кто избавит меня от сего тела смерти?» — взывал в отчаянии святой Павел[114]. Да, Павел хорошо знал, что значит быть комком нервов, знал, как прочно запутывается дух в их мелкой сети. Святой Павел писал о человеке, вознесенном до третьего неба: «…в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю». Альфред тоже умел вырываться из тела, входить при ясном сознании в транс. Удивительно, как он достигал этого состояния: он твердил и твердил про себя два слова собственного имени до тех пор, пока, как ни парадоксально, сосредоточенность исключительно на своем Я не разрушала границ этого Я, этого сознания, — и тогда он становился всем, становился Богом; причем его сознание не затуманивалось, но, наоборот, невероятно прояснялось, он обретал чудесную уверенность в себе и сознавал совершенную сверхъестественность

**[114] Примечания: 114**
Рим. 7: 24.

происходящего — это состояние не поддавалось никакому описанию. Смерти попросту не было, самая мысль о ней была смехотворна; утрата Я, личности (если то была утрата) отнюдь не равнялась небытию, но казалась единственно настоящей жизнью. Притупление сознания было ему известно во многих формах: в юности его изнуряли припадки наследственной эпилепсии, он блуждал в тумане, как герой «Принцессы» или армии противников в «Смерти Артура»[115], но утрата личности, вызываемая повторением собственного имени, не имела с такими состояниями ничего общего. Он написал об этом в поэме, надеясь, как и Данте в начале «Рая», что эти строки прочтут люди, которым известно, что такое пребывать вне тела.

*Trasumanar significar per verba*
*Non si poria: pero l'esiempio basti*
*A cui esperienza grazia serba*[116].

---

**[115] Примечания: 115**
«Принцесса», «Смерть Артура» — поэмы А. Теннисона.

**[116] Примечания: 116**

*Пречеловеченье вместить в слова*
*Нельзя; пример мой близок по приметам,*
*Но самый опыт – милость божества.*

*Божественная комедия. Перевод М. Лозинского.*

Он не совсем был доволен тем, как описал в поэме трансцендентальные явления. То была неудовлетворенность мастера: описания неземных состояний казались ему надуманными, недостоверными в отличие от тщательно выписанной картины своего горя или образов птиц, садов, морских берегов, даривших наслаждение чувствам. Описание транса пришлось многократно исправлять.

*За словом слово, вот уже*
*Мертвец так близко, ближе… вдруг*
*Во мне живой явился дух*
*И прилетел к моей душе.*

*И две души, сплетясь, мгновенно*
*К высотам мысли воспарили*
*И суть узрели; ощутили*
*В себе глубинный пульс Вселенной,*

*И звуки музыки бессмертной,*
*И бег Часов, и тяжкий Шаг*
*Рока и Смерти… Но иссяк*
*Уже мой транс, сомненьем прерван.*

*О, речь неловкая. Увы,*

*Ни перстные слова, ни память*
*Не в силах до конца представить*
*То, чем я стал, то, чем я был.*

*Закат. Между холмов на воле*
*Коровы белые лежат,*
*И вязы черные стоят,*
*Ветвями обнимая поле.*

Он долго думал, как ему изменить строку, где говорится о сплетении душ. В первом издании она выглядела иначе:

*Дух мой, с его душой сплетясь,*
*К высотам мысли воспарил…*

Он исправил ее. Ему показалось, что первое прочтение может быть неверно истолковано.

Он верил, что во время транса его душа на самом деле покидает тело и, воспаряя, возносится к Великой душе и что они с Артуром составляют, возможно, часть ее. Они установили причину, по которой Дантов «Ад» впечатляет читателя гораздо сильнее, чем «Рай»: он был создан из слов, неизбежно более чувствительных, — в них присутствовали дыхание, язык, зубы поэта, его рука, «теплый писарь», что оставляет на бу-

маге чернильный след. Он надеялся, что Артур наслаждается блаженством не меньшим, чем Беатриче в Дантовом раю. Артур говорил ему устами поэмы:

*Едва ль постичь тебе дано*
*Мое блаженство. Знай, оно —*
*Цель бытия, итог всего.*

Но поэма тут же подвергала сомнению его упования:

*Мертвец ли говорит те речи,*
*Тем утишая скорбь мою?*
*Или душа тоску свою*
*Игрой воображенья лечит?*

Но не Беатриче — наказанные любовники Паоло и Франческа, их сплетшиеся в адском огне души уже сотни лет вызывают у читателя безмерную жалость и острое чувствительное наслаждение.

Его поэма жила благодаря образам безмятежно дремлющих белых коров, поля в темных объятиях вязов. Как хороша эта фраза — «перстные слова», она передает всю косность и неподатливость человеческого языка. Ладное, выразительное слово «персть» — оно наводит на размышления.

На мысли о «сем теле смерти», о глине, о тлении. В одном слове ужились искусство и разложение. «Мы живы не умом единым», — убеждал он себя в минуты сомнения, под умом подразумевая электрические сокращения материального мозга. В другом стихе, однако, он решительно нарисовал руки Горшечника, вылепившего сущее:

*И я увидел суть вещей,*
*То, что постичь не в силах мы.*
*И в мир простерлися из тьмы*
*Руки, что лепят нас, людей.*

«Лепят», «прах». Бог оживляет глину, Бог или еще что-то вновь обращает ее в прах:

*Коль Око, видящее в наших*
*Поступках зло и благо, гниль*
*В цветущем ныне древе иль*
*Руины ныне гордых башен…*

Дивно вышло. И это ужасное Око: оно видит гниль в цветущем дереве, которое из гнили сотворено и потому заключает в себе семя неизбежного тления; несколькими словами он выразил ужас перед бренностью всего, перед бессмысленной бесконечностью материи. «Не хватит слов, чтобы

воспеть / Погибель тлеющего тиса… / Главу оплел корней венец, / Корнями кости вплелись».

Свой горестный плач он воплотил в ярких живых образах, сравнил его с трелью, которую рождает нежное горло певчей птички. «И крылья омочив в слезах, / Песнь ласточкой несется прочь»; «Печальный стон моей свирели / Похож на коноплянки трели». Плач младенца, кричащего во тьме полночной от отчаяния, громкий плач безъязыкого дитяти превратился в птичью трель.

Отведя бороду (в ней путались неуклюжие пальцы, и волоски вместе с белыми костяшками пуговиц лезли в прорези), он вновь попытался застегнуть рубаху. «Дух есть дыхание». Сегодня он вспоминал прежние битвы, терзался болью старых ран. Давно уж он не думал обо всем этом. «И сожаленье умирает». Его горькое сожаление походило на него самого: оно зачерствело и ныло тупой болью, утратив живую реакцию. Артур ушел очень далеко, а он со своим сожалением догонял его или *pari passu*[117] просто шел к небытию; но теперь они уже не мчались, а неохотно плелись на зов мертвого друга. То была еще не вся

---

**[117] Примечания: 117**
Одновременно *(лат.).*

правда. Они с Артуром просочились в поэму, жили в ней перстной, словесной полужизнью, думал он иногда, жили нераздельно, но не сливались воедино: их сосуществование не походило на крепкое единение дружеских рук, скорее один из них, как паразит, крепко присосался к другому — так к умирающему дубу лепится омела, украшая его молочно-белыми ягодами и таинственными вечнозелеными листками. Беспокойство по поводу поэмы не оставляло его, в голову постоянно лезли нехорошие мысли. Наверное, поэма необходима ему, чтобы оживлять меркнущую память о друге, но, может быть, стоило проявить мужество и забыть о нем? Что, если, используя образ любимого человека, он преследовал личную выгоду, наживал себе славу? Не мудрее, не честнее поступил бы он, если бы, вместо того чтобы творить из своего ужаса, вызванного гибелью Артура, фантастически красивую поэзию, в искреннем непонимании глядел на его смерть, пока, как гаснущий огонь, она не утратила бы в памяти своей язвящей яркости или заставила его отвести взгляд? Нельзя превращать в стихи человека, будь то сам певец или тот, о ком поют, будь то певчее горло или недвижный труп.

Но, несмотря на это, он был уверен в одном:

поэма была великолепна, жива и правдива, как ангел небесный. Витавшие в воздухе голоса его предшественников — Данте и Теокрита, Мильтона и несчастного Китса, — чьи творения жили вместо творцов, обрели в его поэме жизнь, в ней они вновь зазвучали. Как плененная птица, он пел в клетке своей поэмы, то была круглая, вращающаяся западня, большой шар, окаймленный полосами рассвета и заката. Поэма была целым миром, и ее тяжелая сфера вращалась в космической пустоте; в ней было все: горы и прах, приливы и деревья; мухи, черви и слизистые драконы; ласточки, жаворонки и голуби-почтари; черная, как вороново крыло, летняя мгла; люди, коровы, младенцы и фиалки, а живые нити языка, словно прочные веревки из шелка или солнечного света, связывали все образы воедино. Поэма вышла сияющим двойником безобразной мировой глыбы. Мир расползался, терял очертания — поэма, отражение этого мира, слепок с него, упорядочивала, чудесным образом оформляла его.

*Увериться я был бы рад,*
*Что жизнь продлится вечно. Или*
*Земля – лишь шар из черной пыли,*

*А сущее – зола и прах:*

*Все дивные красоты света,*
*Шар огненный, зеленый круг,*
*Что страстный вдохновляют труд*
*Самозабвенного поэта.*

*И что нам Бог, коли мы смертны?*
*Разумно ль тленом соблазняться*
*И терпеливо дожидаться*
*Телесной смерти? Легче, верно,*

*Как в омут, броситься в покой —*
*Так птах ныряет добровольно*
*В зияющую пасть питона —*
*И слиться с черной пустотой.*

Он боялся, страшно боялся поддаться искушению и предпочесть Искусство жизни. Искусство легко овладевало им и всецело захватывало его; ему было знакомо искушение страстного, самозабвенного труда — как Соловей, он распевал тогда во все горло. Кембриджский друг его, Тренч, с апостольской серьезностью и добродушной насмешкой внушал ему: «Мы не можем жить в искусстве, Теннисон!» Свой «Дворец Искус-

ства»[118] он написал для Тренча и Галлама; героиней поэмы была его Душа. Он выстроил для нее на высоком утесе величественный дворец наслаждений, дворец Искусства, где Душа восседает горделиво и

*В сознанье жизни веселится,*
*Природы, мира Госпожа,*
*Над чувствами пятью Царица…*

и ведет такие речи:

*В раздорах вер я беспристрастна*
*И все их равно созерцаю,*
*Как Бог, – никоей не причастна.*

Но вот Душа низвергнута из своей башни в кошмарный мир; теперь он сам с жаром доказывал Тренчу: «Мы можем и должны жить как боги» — и послал ему аллегорию с таким посвящением:

*Настанет день, и тот, кто гнал Любовь,*
*Любовью изгнан будет за порог*
*И ляжет в прах, во тьме, как пес, завоет.*

---

**[118] Примечания: 118**
Поэма вышла в свет в 1832 г.

*Затем ли Бог слепил из подлой глины*
*Венец творенья? Ангелы затем ли*
*Сосуд души слезами обожгли?*

И здесь глина, лепка, прах. В юности пишешь, не задумываясь, и лишь много позже понимаешь, что все неспроста. Еще в детстве он прочитал книгу из библиотеки отца, поразившую его воображение; в ней говорилось о том, как Гавриил с ангелами сочувствовали Деве Марии, боявшейся, что Ей предстоит пострадать от насилия мужчины и потерять непорочную девственность. Сорок дней ангелы лепили из глины человека — вот откуда в его стихах лепка и прах. Но не только это предание пробудило интерес к этому. Он бывал вместе с отцом на похоронах в Баг-Эндерби и Сомерсби, когда отец, воодушевленный парами бренди, сурово и трубно читал заупокойную по усопшим. Его впечатляла глина на стенке могилы, отшлифованная лопатой могильщика и мокрая от дождя, — эта влага представлялась ему слезами ангелов. Впечатляла новейшая теория Дарвина, то усердие, с каким ученый перелопачивал прах и перегной, исследуя жизнь какого-нибудь червя. Человечество было из земли, перстным. Но помимо этого и несмотря на

это, существовали и «шар огненный», и «зеленый круг». Артур восхищался Соловьем из «Воспоминаний о „Тысяче и одной ночи“», трель которого «протянулась сквозь время и вовне пространства». И в поэме в память о друге Соловей смело возвысил голос. Он бросал вызов и малодушному «птаху», добровольно ныряющему в питонью пасть, и милой, невинной строчке — «Печальный стон моей свирели похож на коноплянки трели», и утверждению, будто стих и песня — лишь печальный наркотик, притупляющий боль.

Соловей был тайным голосом искусства, в котором, как говорил Тренч, нельзя жить. Теперь, состарившись, он испытывал сильнейшее искушение жить в нем, как ребенком жил в арабских сказках. Временами и его дорогая Эмили, и почтительный сын Галлам, и тысячи поклонников, льстецов и тех, кому что-то надо было от него, казались ему бесплотными, летучими тенями, а истинной действительностью представлялись голоса из незримого мира.

*Твой, птица, сладкий звон искусный*
*Звучит в весенних чащах райских.*
*Скажи мне, где сплавляют страсти,*
*Поведай, где сливают чувства;*

*Где их источник? Распевая,*
*Ты миришь два враждебных чувства.*
*И в трели скорбной, трели грустной*
*Сокрыты смех и ликованье.*

*Но как печальны мои песни —*
*Мне струны арфы неподвластны;*
*На миг итог всего прекрасный*
*Вольется в трель и вновь исчезнет.*

«Итог всего прекрасный» — как хорошо звучит! Он обращался к Артуру по-шекспировски риторично:

*Смерть изукрасила, я знаю,*
*Тобою мрачный свой чертог,*

но сам украсил поэму смертью друга и понимал со страхом, что красота эта нечеловеческая, одновременно животная и бестелесная, перстная и неосязаемая.

Длинная мысль в мгновение ока проносится по проторенному пути; яркие образы, ассоциации, болезненные воспоминания не нанизываются одно за одним, как бусы, а сплетаются в плотный шар и все разом катятся стремительно по тоннелям мозга. Он так и не нащупал для пуговицы

нужную петлю и подошел со свечой к зеркалу, хотя знал, что определить ее в зеркале не легче, чем найти ее на ощупь. Перед черной зеркальной бездной бело-желтый огонек свечи задергался и выгнулся (неожиданно потянул сквозняк); грязная струйка копоти побежала назад через его плечо. Он поставил подсвечник на туалетный столик — в зеркале отразился бородатый демон с кустистыми бровями и мерцающими глазами; в бороде скалились желтые зубы. Морщинистая кожа обтягивала череп. В огромных провалах глазниц сидели темные мерцающие бриллианты глаз. «Точно влажный студень», — подумал он. С сожалением посмотрел на редеющие ресницы. Он всмотрелся в глубокие пещеры ноздрей. Выдохнул — невидимая струя поколебала огонек свечи, завила дымок в дрожащие кольца. Огонек судорожно вспыхивал. «Дух есть дыхание». «Этот дотлевающий, но красивый старик тоже вглядывается в меня». Он дотронулся до щеки — холодная как лед. Сие тело смерти. Он позвал отражение:

— Альфред Теннисон, Альфред Теннисон.

Ни тот, кто жил в его теплом теле и сейчас заглядывал в зеркало, ни холодный призрак, вперивший в него взгляд из зеркала, не были тем,

кого люди знали как Альфреда Теннисона.

— Альфред Теннисон, Альфред Теннисон, Альфред Теннисон, — повторил он, а затем еще быстрее, уже с нетерпением: — Альфред Теннисон, Альфред Теннисон. — Снова и снова повторяя имя пустоты, этого беспорядочного и страшно недолговечного сцепления нервов и разума, он постепенно обращал и свое тело, и своего двойника в ничто. Он почувствовал жалость к этой белой шее, к нежной и беззащитной, как у младенца, груди. Наконец деревянными пальцами, которые уже не слушались его, он застегнул пуговицу. Все поплыло перед глазами, комната бешено закружилась. Вытянув руки, он попытался оттолкнуть свое отражение и пригасил рукавом свечу — тошнотворно запахло горелыми тряпками и нагаром. Шатаясь, он добрел до кровати и бревном упал на нее. Он знал, что теряет не сознание, а свое тело. Перина под ним шевелилась и волновалась; он погрузил голову в подушку, которая тоже шевелилась и вздымалась. Его, мешок с костями, поддерживал мешок с выщипанными перьями. Он сделался легок, словно воздух, он превратился в свет и воздух. Голоса неумолчно пели. В молодости он очень боялся такого смятения чувств и мыслей, потому

что с ним часто случались припадки эпилепсии: сначала его ослеплял сверхъяркий свет, потом голова начинала кружиться и он падал, потом хрипел и выл, словно, как душу, его низвергли с высокой башни во мрак. Строчка за строчкой он начал припоминать стихотворение «Мистик», написанное им в 1830 году:

*И Ангелы держали речь к нему.*
*Бессменно высились перед его глазами*
*Фигуры многоцветных исполинов —*
*Немые, бестелесые гиганты,*
*Как тени смутные, не знающие смерти,*
*Четыре лика обратив к краям небес;*
*Другие тени три лицом друг к другу,*
*Числом три, но одна по сути:*
*Одна как столп блистающего света,*
*Другая – воплощенье вечности,*
*А третья – бесконечного покоя, —*
*С недвижным и бесстрастным взором.*

*Бывало, он не спал, но ум и воля*
*От тела отделялись и парили;*
*Тогда в тиши полночной слышал он*

*Стремительный бег времени и тварей,*
*Что шли к могиле, медленную поступь.*

Софи увидела колеблющийся огонек свечи, дымок и жуткое лицо с темными глазницами: старик, словно сквозь невидимое окно, заглядывал в ее комнату. Мертвая холодная плоть тяжелела с каждым мигом и вдавливала ее в постель так, что она не могла ни пошевелиться, ни разомкнуть веки, ни сглотнуть пересохшим горлом. Разбухший, неповоротливый язык промямлил ей в самое ухо:

— Что ты видишь?

И, словно сквозь очень толстое стекло, она увидела, как старик в ночной рубашке, шатаясь, добирается до кровати и растягивается на скомканных простынях. Затем его тело начало испускать множество вьющихся нитей, и он сделался похож на личинку насекомого, прядущую кокон. Блестящие нити тянулись из его рта и обвивались вокруг головы. Первое время еще можно было различить черты лица, но нити ложились одна на другую, все гуще и гуще, и скоро остался виден лишь острый профиль, который с каждым новым слоем терял очертания, пока

наконец блестящая ткань не скрыла все тело, которое превратилось в длинную блестящую куколку, не перестававшую шевелиться и светиться.

— Мне трудно сказать.

— Все мутится. Я ничего не вижу. — Он вцепился в нее распадающимися пальцами; словно корни, они пытались прорасти в ее тело, найти в нем опору.

Ей и раньше случалось во время транса испытывать страх, но тот страх не шел ни в какое сравнение с тем, что она испытывала сейчас: страх и жалость, жалость и страх усугубляли друг друга. Он хотел подпитать себя ее жизнью и пронизывал смертным холодом ткань ее нервов. Мелькнула мысль: никогда, никогда больше она не станет видеться с ужасными мертвецами, а спокойные темные глубины в ней возмутились от ужаса, ее и его ужаса: ужасно расставание души с телом, ужасна неистовая энергия любви к тому, что остается после того, как уходит жизнь. Он распадался, исчезал, ей, лежавшей рядом, обнимавшей его, не удавалось удержать его; вот пропал его голос, размылись черты, рассыпались руки, и холодная, как глина, зловонная жижа залепила ей губы и нос.



# XI

День ангела[119] выдался пасмурным и ветреным — надвигалась буря. Миссис Папагай и Софи Шики шли по набережной; на сером мокром тротуаре тут и там блестели покрытые рябью от набегавшего ветра черные лужи. Влажный ветер развевал им юбки, и приходилось придерживать шляпы, ибо ветер грозил сорвать их и унести в море. Белые птицы носились над морем, бросались вниз, перекликались, пронзительно вскрикивали, качались беспечно на свинцовых, взмутненных песком волнах, важно разгуливали по лужам. Софи подумала о том, как холодна вода, в которую окунаются их холодные, когтистые, морщинистые лапки, и содрогнулась. Миссис Папагай вдохнула соленый воздух и спросила Софи, не больна ли она.

— Ты вся серая, милочка. Не нравится мне это. К тому же я чувствую, что-то гнетет тебя.

Софи робко подтвердила, что ей и в самом деле не по себе. И едва слышно добавила (она говорила

---

**[119] Примечания: 119**

День св. архангела Михаила и всех ангелов празднуется в Англии 29 сентября.

почти шепотом, и ветер уносил ее слова), что посредничество на сегодняшнем сеансе может оказаться ей не под силу. Миссис Папагай бодро прокричала в ответ:

— Доверься мне. Я приду на помощь, как только замечу, что тебе тяжело.

Софи пробормотала, что спасать человека от духов не так-то просто. Ее страшит сама мысль о сеансе, призналась она, зажав в белом кулачке край шляпы, порывавшейся улететь.

— Быть может, — она приостановила миссис Папагай и заглянула ей в лицо (за спиной миссис Папагай волновалось море), — быть может, нам не следует вступать с ними в контакт, миссис Папагай. Может, то, что мы делаем, противоестественно?

Миссис Папагай бодро возразила, что стремление общаться с мертвыми присуще почти всем народам мира и считается естественной человеческой склонностью. Взять, к примеру, Савла и Аэндорскую волшебницу[120], продолжала она, или Одиссея, приносившего прорицателю Тересию сосуды с кровью, или краснокожих индейцев: они мирно сосуществуют с духами предков.

---

**[120] Примечания: 120**
1 Цар. 28.

Примером индейцев обыкновенно укрепляли сомневающихся спиритов; души краснокожих довольно часто являлись на сеансах, они говорили по-английски, и, должно быть, обстановка гостиных — чучела попугаев, салфеточки на мебели — сильно сбивала их с толку. Миссис Папагай беспокоило то, что Софи, обыкновенно столь невозмутимая, решила остановиться во время бури, чтобы высказать свои сомнения. Она заглянула под шляпу Софи — в глазах девушки стояли слезы.

— Милая моя, — сказала тогда миссис Папагай, — никогда не делай того, что претит тебе, на что у тебя не хватает ни сил, ни духа. Без куска хлеба мы не останемся; мы можем пустить к себе жильцов, можем очень недурно шить. Мы еще об этом поговорим.

Софи сквозь слезы посмотрела на свинцовую воду, на раскачивающийся горизонт, на свинцовое небо. Белела морская пена, летали белые птицы, по серому небу неслись тучи с белыми оборками.

— Как вы добры. Я так благодарна вам. Вы очень добрая, и я вас люблю. Я не подведу вас. Вот я выговорилась, и мне уже не так страшно. Я готова продолжать.

Ветер со свистом бил им в лицо, словно издеваясь над этими словами признательности. Женщины взялись за руки, прижались друг к другу и, преодолевая шквальный ветер, вошли в город.

Недовольство и отчуждение, витавшие в воздухе гостиной, сразу же обескуражили миссис Папагай. Она не виделась с мистером Хоком с того злополучного дня, когда они беседовали о браке на Небесах, и подозревала, что он все еще сильно не в духе. Войдя в гостиную, она поняла, что дело обстоит гораздо хуже. Мистер Хок сидел в углу и рассказывал миссис Джесси и миссис Герншоу о физическом контакте Сведенборга со злыми духами: те духи коснели в заблуждении, полагая, что копотная чернота и смрад, исходившие от них, — чистейший воздух, а их отвратительные обличья прекрасны.

— Испуская флюиды страдания, они ухватились за ту часть тела учителя, которой сами соответствовали в Богочеловеке.

Он принес миссис Джесси большой букет мертвенно-бледных тепличных роз, и горничная поставила его в вазе на середину стола. Равнодушно кивнув, он поприветствовал вошедших. Когда миссис Папагай увидела, в каком состоя-

нии пребывает миссис Герншоу, ей сделалось дурно. Та беспрестанно подносила к губам кружевной платочек, а левой рукой поддерживала живот, словно оберегая в себе, вместе с чувствами, своего нерожденного ребенка. Сама миссис Джесси выглядела недовольной и утомленной. Капитан Джесси был непривычно молчалив. Его белая грива светилась отраженным светом масляной лампы; он стоял у окна и вглядывался в густевшую тьму. «Он словно тоскует по свободе и непогоде», — подумала миссис Папагай.

Они расселись за столом в напряженной тишине. Свет камина обагрил и без того красное лицо мистера Хока — теперь он походил на красное блестящее яблоко, на разгневанного херувима.

Когда они приготовились принимать послания из мира духов и ангелов, мистер Хок не стал открывать свою душу миссис Папагай, а заявил, что должен поделиться с ними кое-какими важными соображениями. В последнее время, продолжал он, он много размышляет о материальном в свидетельствах Сведенборга, как и о том, насколько эти свидетельства согласуются с верой в духов. Когда он читал свидетельства о путешествии по небу и аду в первый раз, его поразило, что мудрец

утверждает, будто он преподал Ангелам множество истин. Однако что же в этом удивительного? Человек обитает одновременно в двух мирах и при помощи двойственности своей природы способен постичь и преподать знание, которое недоступно обитателю одного мира. До появления Сведенборга Ангелы не ведали, что́ есть материя и чем она отлична от духа. Только когда в их мире явился человек, заключающий в себе и материю, и дух, они сумели путем чувственного опыта постичь разницу между первой и вторым. Можно утверждать, что явление Сведенборга было для Ангелов научным экспериментом, позитивным опытом и что Архангелам и Ангелам опыт необходим так же, как химикам, философам и механикам. Вообще, если здраво рассудить, получается, что не субстанция, но факт — первооснова всего, а самое божественное — опыт. Богочеловек тем превосходит Ангелов, что обладает человеческой природой и так же, как человек, дуалистичен в своей гармонии материи и духа.

Более того, следует помнить о материальной природе Богочеловека. Справедливо утверждают, что, как и Ангелы небесные, соединенные супружеской любовью, Богочеловек заключает

в себе и мужское и женское начала. Истинно то (и Сведенборг красноречиво засвидетельствовал эту истину), что в одно время, в одной точке космоса, на одной из обитаемых планет Богочеловек воплотился в человеческом облике и пребывал земным человеком, «из земли, перстным»[121], как сказал святой Павел. Истинно то, что небо сочетает мужское и женское начала, ибо небо началось от человека, от мужчины и женщины, как в Бытии сказано: «…по образу Божию сотворил их; мужчину и женщину сотворил их»[122]. Но помимо этого, надлежит знать и понимать еще одну доктрину Сведенборга — о человеческом в Творце. Воплотившись в земном теле, Господь взял от человеческой матери человеческий облик, а от своего Божественного Я, то есть Отца, — бессмертное Человеческое Естество. Прошло время, учит Сведенборг, и Господь освободился от человеческого, унаследованного от матери, и облекся в Человеческое от Своего Божественного Отца. Пребывая на земле, Он пережил два состояния: униженности, или телесности, и затем славы, или единения с Божественным, то есть с Отцом.

---

**[121] Примечания: 121**
1 Кор. 15: 47.

**[122] Примечания: 122**
Быт. 1: 27.

Он был униженным, пребывая в человеческом от матери, но, облекшись в Человеческое от Отца, обрел славу. В унижении своем Он молился Отцу как существу, отличному от себя, но, обретя славу, заговорил с Ним, как с Собой. Распятие освободило Его от тленного человеческого облика, и с тех пор Он пребывает в славе и единении с Отцом. О том сказано в Первом послании к коринфянам:

«Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба.

Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные.

И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного.

Но то скажу *вам*, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления.

Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся.

Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся…»[123]

Слушатели, а среди них женщин было боль-

---

**[123] Примечания: 123**
1 Кор. 15: 47–52.

шинство, хмуро молчали: мистер Хок бичевал каждую из них и женский пол вкупе, клеймил их ущербность или, скорее, излишнюю телесность. Миссис Герншоу крепче обняла корсет, за которым томилось ее пышное тело, прутьями ребер ограждавшее от мира растущее дитя, которому все вокруг угрожало смертью. Миссис Папагай потупила взгляд, избегая смотреть мистеру Хоку в глаза, и теребила подбородок. Софи дрожала и, сжавшись в комочек, куталась в одежду. Миссис Джесси поглаживала похрапывающего Мопса по мягкой уродливой голове. Капитан Джесси фыркнул и не к месту пробасил:

— Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы.

Молчание. Мистер Хок поинтересовался:

— Не изволите ли объяснить, к чему это?

— Просто мне нравятся эти слова, мистер Хок; они поднимают настроение, ведь в них засвидетельствован счастливый союз земли и неба: сынов Божиих восхитила женская красота. Как давно это было? Еще в раю, наверное.

— Это большое заблуждение, капитан Джесси, очень большое. Богословы утверждают, что так называемые сыны Божии суть падшие ангелы, развращенные похотливой страстью к земной

красоте. И Сведенборг также свидетельствует, что есть ангелы, подверженные похоти. Более того, даже святой Павел призывает нас предупреждать ангельское влечение к женскому телу. Он обязывает женщин покрывать голову во время молитвы в церкви, ибо «всякому мужу глава Христос, а жене глава — муж». «Итак, — говорит Павел, — муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа.

Ибо не муж от жены, но жена от мужа;

И не муж создан для жены, но жена для мужа», а далее говорит он, — продолжал взволнованно мистер Хок, — «Посему жена и должна иметь на голове *своей знак* власти *над нею*, для Ангелов»[124]. Это замечание Павла может сбить с толку, однако ему найдено объяснение: молитвы паствы привлекают внимание ангелов и женщины не должны искушать их — здесь речь идет об ангелах, несовершенных по своей духовной природе.

— Следует ли из этого, мистер Хок, что великолепные шляпки наших знатных дам, украшенные перьями райских птиц, цапель, попугаев,

---

**[124] Примечания: 124**
1 Кор. 11: 3–10.

страусов, синих соек и снежно-белых голубей, — также суть «знаки власти», предупреждающие ангельскую похоть? — поинтересовалась миссис Джесси. — По-моему, все эти жуткие башни и башенки из несчастных убиенных тварей, в перья которых мы рядимся, словно дикари, надевающие маски и накидки из перьев, — все это воистину «знаки власти», власти денег, которая отправляет за море караваны кораблей ради истребления невинных животных. Печальная участь ожидает их: им суждено украшать чье-нибудь расплывшееся лицо, и перья их будет ерошить ветерок светской болтовни.

— При жизни святого Павла, миссис Джесси, ничего этого не было. Он обличал женскую суетность и мужскую похоть, полагая их злейшими пороками, которые присущи и людям, и небожителям, и обитателям преисподней, что убедительно засвидетельствовал наш великий пророк Сведенборг. Павел питал отвращение ко всякому проявлению женской суетности, а нынешнее стремление к модным шляпкам, о которых вы говорили, несомненно, ее доказывает.

— Но он говорил, что, если жена растит волосы, это честь для нее, — заметил капитан Джесси.

— Верно, но при этом уточнял: «так как волосы

даны ей вместо покрывала». Женщина обязана покрываться! — Мистер Хок перешел на крик.

— Когда мы поженились, — проговорил капитан Джесси, — у Эмили волосы спускались ниже талии, и все локоны, локоны. Прекрасные были волосы.

— И вот что с ними сталось, — беспечно проговорила его жена, дотрагиваясь до серебристых прядей.

— Они просто стали другими, — возразил капитан Джесси. — И не сказать, чтобы в мгновение ока; хотя бывает, что жизнь кажется кратким мигом; годы уносятся, и мы уже не те; несется крылатое время — и мы меняемся.

— Вы говорите о тайнах без подобающей серьезности, — заметил мистер Хок.

— Вы слишком суровы, — возразила миссис Джесси, — мы собрались ради важного дела, но мы не паства в церкви. Давайте-ка оставим этот разговор, и пусть миссис Папагай успокоит нас, откроет наши сердца, возможно, возлюбленные духи имеют что-то нам сообщить. Миссис Папагай, что, если для этого мы тихонько споем?

— Атмосфера слишком накалена, миссис Джесси. Вокруг множество сердитых и озорных духов, это опасно. Возьмемся за руки и помолимся о

душевном покое.

Она протянула левую руку мистеру Хоку, а правую — миссис Герншоу. Софи удалось устроиться между миссис Джесси и капитаном: окунать руку в кипящий гнев мистера Хока было выше ее сил. Миссис Герншоу оказалась между капитаном и мистером Хоком. Знойный, влажный жар исходил от последнего и волнами накатывал на миссис Папагай. Она попыталась отстраниться от этого зноя и потому, вопреки обыкновению, не могла уловить и распознать настроения присутствующих. Дабы защитить себя, она предалась размышлениям, а когда она углублялась в раздумья, сеанс прерывался. Занятные мысли приходили ей в голову: оказывается, жаркие духовные схватки могут разыграться даже в гостиной, при умиротворяющем свете камина; противники распаляют друг друга, выпуская стрелы слов, которые обозначают разные вещи: волосы, перья, ангелов, мужчин и женщин, Бога. Мистер Хок с капитаном Джесси, вооружившись словами, как копьями, устроили поединок. Слова эти почти материальны — во время поединка от слов соперников в ее голове рождались образы вещей: длинные пышные волосы, шляпки, объятое страстью мужское тело, — и все же слова не

вещи в том понимании, в каком вещью является ее осведомленность о душевном расстройстве миссис Герншоу или о духовной опустошенности Софи, причина которой ей неведома; очевидно, дело и не в существе из глаз, которое явилось ей на прошлой неделе. Да, Софи ведет себя загадочно. Она перевела взгляд на миссис Джесси: и она ведет себя непонятно; причиной тому, несомненно, прошлое послание, но о нем миссис Джесси не желает ни с кем откровенничать. Миссис Джесси высвободила руку и принялась развязывать ремешок на лапке Аарона. Отвязывая ворона, она поглаживала его по черной спине, а он стоял на краешке стола, кланялся и, встряхиваясь, трещал перьями. Потом, склонив голову набок и глядя искоса мерцающим чернильно-черным глазом, подступил к мистеру Хоку. Тот уже собирался заговорить, но, заметив ворона, остерегся. Аарон склонил голову на грудь, сгорбился и, по всей видимости, задремал.

Ярость, тоска, отчаяние и похоть кипели в воздухе и, словно волны, лизали склонившиеся над столом головы. Все молчали, тишина сгущалась. Упал лепесток. По стеклу внезапно забарабанил дождь — капитан Джесси повернулся и выглянул на улицу. Миссис Папагай предложила начать

бессознательное письмо. Не желая обременять Софи, она притянула к себе лист бумаги, подождала, и спустя миг перо уверенно вывело:

*Блаженны*
*плачущие, ибо ОНИ УТЕШАТСЯ*[125].

— Здесь ли дух? — спросил мистер Хок. — Не хочет ли он обратиться к кому-либо из присутствующих?

*Нет, не придет.*

— О ком речь? Кто не придет? — озадачился мистер Хок.

— Артур, — со вздохом ответила миссис Джесси. — Я уверена, что речь идет об Артуре.

Перо застрочило:

*Настанет день, и тот, кто гнал любовь,*
*Любовью будет изгнан за порог*
*И ляжет в пыль, во тьме, как пес, завоет.*

Одно слово будто особенно пришлось ему по

---

**[125] Примечания: 125**
Мф. 5: 4.

душе, и перо написало его несколько раз подряд: *«завоет, завоет, завоет»,* а затем добавило:

*И страдала хуже,*
*Чем худшие из тех, чьи муки*
*Едва себе вообразить мы можем.*
*О, это слишком страшно…*[126]

— Это — дух поэта, — сказал мистер Хок.

— Первые две цитаты — из Альфреда, — проговорила миссис Джесси. — Может быть, перо выудило их из моей головы. Последняя — из «Меры за меру», Клаудио описывает муки души после смерти. Строки эти весьма впечатляли Альфреда, да и всех нас. Кто бы это мог быть?

*И придет утешение. И отрет Бог всякую слезу с очей. Вот жених идет. Не знаете ни дня, ни часа, в который приидет он. Зажги светильник.*

— Кто говорит с нами? — спросила миссис Джесси.

— О нет, не надо, — хрипло прошептала Софи Шики.

— Софи! — вскричала миссис Папагай.

Холодные руки сжимали шею Софи, холодные пальцы касались ее теплых губ. По голове, по

---

**[126] Примечания: 126**
*Шекспир Уильям.* Мера за меру. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

рукам, по всему телу побежали мурашки. Она задрожала и задергалась, как в конвульсиях. Раскрыв рот, она отвалилась на спинку стула. У окна кто-то стоял. Существо было неестественно большим, но почти бесплотным, как столп дыма или огня, как столп облачный. В нем было мало от человека. Это не был тот давно усопший юноша, к которому она испытывала столько жалости, — это было живое существо с тремя крылами, свисавшими с одного боку. Крылатая половина его тела была тускло-золотая, в перьях и искрилась металлически; лицо напоминало хищную птицу, гордое, золотоглазое. Другая, обращенная в тень половина тела была глинистого серого цвета, бесформенная, с торчащими вместо рук культями. Изо рта, который едва ли можно было назвать ртом, выходил свистящий шепот. Существо говорило двумя голосами; один звучал мелодично, второй скрипел, как скрипит под пером бумага.

— Скажи ей, что я жду ее.

— Кому сказать? — слабо пролепетала Софи, но все расслышали ее вопрос.

— Эмилии. Мое блаженство — итог всего. Скажи ей. Скажи, что мы соединимся и станем одним Ангелом.

Существо жаждало отнять жизнь у тех, кто сидел за столом.

— Софи, — позвала миссис Папагай, — кого ты видишь?

— У него золотые крылья, — ответила Софи. — Он говорит, что ждет. Говорит: «Мое блаженство — итог всего». Велит передать Эмилии… миссис Джесси, что… что соединится с ней и они станут одним Ангелом. Там, за могильной чертой.

Эмили Джесси глубоко вздохнула. Выпустив холодную руку Софи, отняв у мужа другую, она разорвала круг. Софи лежала недвижно, как узник перед инквизитором, устремив взгляд на полуангела, которого не видел, точнее, не чувствовал никто, кроме нее. Эмили Джесси взяла мужа за руку.

— Что мне сказать, Ричард? — начала она. — Пусть не все у нас было гладко, пусть наш брак был не совсем удачен, но оставить тебя было бы крайней несправедливостью, и мне претит такая перспектива. Мы немало дурного пережили вместе в этом мире и радоваться благам иного мира тоже будем сообща.

Ричард поднял ее руку и посмотрел на нее.

— Эмили, — проговорил он и снова: — Эмили… Почему…

— Что с тобой? Обычно ты в карман за словом не лезешь.

— Все так. Но, видишь ли, я знал… знал, что ты хочешь увидеться с ним. И… твои слова… я не ожидал услышать такое.

— Возможно, ты недопонимал меня, — предположила миссис Джесси.

— Что ты говоришь. Я старался понимать тебя, и терпеливо ждал, и чтил…

— Чересчур. Чересчур. Ты перестарался… мы оба перестарались.

Капитан Джесси тряхнул головой, словно вынырнувший пловец:

— Но ты ведь ждала его, ждала на каждом сеансе…

— Да, я люблю его, — ответила Эмили, — но очень трудно любить мертвеца. Любить его как живого.

Эти речи несказанно обрадовали миссис Папагай. «Кто бы мог подумать такое?» — удивилась она про себя. Но насколько все естественно: лишь когда ей дали понять, что мужа, которого она привыкла считать чем-то неотъемлемым, само собой разумеющимся, что мужа не будет рядом, только представив вместо него пустоту, вообразив свое существование без него, она его по-настоящему

оценила. Миссис Папагай понимала, что окрашивает реальность изрядной долей романтики, но ничего не могла с собой поделать: она преисполнилась восторга, наблюдая, как двое пожилых людей обмениваются понимающими и в то же время вопрошающими взглядами, — казалось, им нечего таить друг от друга, и все же каждый хранил в себе великую тайну. «Сколь занятно все это», — подумала миссис Папагай и тут же очнулась — сдавленно вскрикнула Софи. Ужасная, пепельно-сливово-голубая синева заливала ей лицо, а губы беззвучно что-то шептали. Она всхрапнула и отчаянно, жадно вздохнула, словно кто-то выкачивал из нее воздух. Миссис Папагай тихонько поднялась и, подойдя к Софи, приложила теплые ладони к ее холодным вискам. Маленькие ноги Софи застучали по ковру, она забилась в конвульсиях, ее спина выгнулась. Глаза смотрели невидяще в одну точку. Ничего столь ужасного не приключалось с ней до сих пор. Миссис Папагай пыталась через руки влить в нее свою любовь, ладонями обнять, удержать ее душу. Пустота гипнотизировала Софи, пустота из расползающейся глины и праха, осыпающегося с поникших перьев. Наконец существо ослабло и, испустив через ее горло хриплый вздох, в злобе

и тоске сгинуло, обратилось в искристый мрак; мрак вскипел, вспенился, качнулся — и перед нею вновь была черная озерная гладь. Она посмотрела на капитана Джесси — альбатрос, расправляя огромные, свободные крылья, смотрел на нее глазом в золотом ободке.

— Софи, — позвала миссис Папагай.

— Мне намного лучше, — откликнулась Софи, — теперь.

Миссис Папагай рассудила, что неплохо бы под конец сеанса получить ободряющее послание. Она не уставала дивиться, что и в присутствии мертвых живые не забывали о своих серьезных и пустячных заботах. Никого, кроме нее, не потрясло случившееся с Софи. Никто не испугался за ее жизнь. Складывалось впечатление, что они считают Софи лицедейкой, но, с другой стороны, они готовы верить в истинность этих видений. «Наверно, — рассуждала миссис Папагай, — они и верят и не верят в то, что Софи лицедействует, но вера эта защищает их от хищного мрака, который может однажды навалиться на них». Сама она знала, что Софи не лицедействует, пусть и не видела того, что представало перед Софи. Позже она ужаснется своей беспечности: как же она не подумала, что в комнате может находиться

опасный, недобрый дух? Но сейчас, как и все прочие, полагала, что сеанс — всего лишь светское развлечение: так гости рассказывают друг другу байки, разгадывают шарады, уверенность в этом не оставляла ее, даже когда она сжимала скованные мертвым холодом руки Софи. Все еще раздумывая, она притянула лист бумаги и взяла карандаш. Он радостно запрыгал в ее руке и, точно бесноватый, понесся по бумаге, с тщательностью и решимостью одержимого выписывая:

*Иль Ангел Брачный занемог?*
*Главу двуликую склонил он*
*Он словно камень над могилой*
*Замшел и мертв и одинок*

*Дух Святый насадив на крюк*
*Толстушку Софи ждет улова*
*Он удит Божиих сынов а*
*Те стаей собрались вокруг*

*Вот в пустоту закинул Сам*
*Лесу а Софи стонет тяжко*
*Не терпится прижать бедняжке*
*Его к роскошным телесам*

*Вот розы лепестки в могиле*
*С истлевших сыплются волос*
*У них увы не запах роз*
*Смрад адов дух зловонный гнили*

*Одним желанием живет*
*Моя любовь как зверь голодный*
*Вцепившись жадно в труп холодный*
*Соитием насытить плоть*

*Красавица и шлюха Роза*
*Лежит в своем гробу воняет*
*Альфред чернильные роняет*
*Слезинки в ее quelque-chose*

*Вот Ангел крылья раздает*
*И член вздымает золотой*
*И трупом стали муж с женой*
*Одним что стонет и поет.*

— Стойте, — приказал мистер Хок. — Здесь злой дух. Мы должны пресечь его грязные речи. Прибавьте огня. Остановитесь же, миссис Папагай, нельзя поддаваться ему.

Аарон, разбуженный гневным тоном мистера Хока, бочком прошелся по столу, опрокинул вазу

с цветами и перелетел на камин, оставив на скатерти темное пятно с белыми краями.

— Что это значит? — Миссис Герншоу читала послание. — Что это значит?

— Одни непристойности, — сказал мистер Хок. — Женщине читать не следовало бы. С нами говорил злой дух, и мы не станем больше слушать его.

Как бы в подтверждение его слов Аарон громко каркнул, и все подскочили. Мопс завозился во сне и с треском выпустил газы — по комнате распространился густой запах гнили.

Поджав побледневшие губы, миссис Джесси отнесла оскорбительное послание к камину и бросила его в огонь. Бумага покоробилась, скрутилась, сделалась коричневой, обуглилась и на пепельных крыльях вспорхнула в дымоход. Наблюдая за миссис Джесси, миссис Папагай подумала, что сегодня был их последний сеанс в этом доме: произошло нечто необыкновенное, и хозяйка больше не захочет звать умершего. Это было и грустно и радостно.

Ворчливо попрощавшись, мистер Хок удалился, коляска увезла домой миссис Герншоу. Миссис Джесси заварила для них с Софи чаю и заявила, что находит уместным пока воздержаться от

сеансов.

— Кто-то забавляется моими святынями; не я сама, миссис Папагай, но тогда кто же? — этого я и не желаю знать. Вы думаете, смелость оставила меня?

— Я думаю, вы мудро поступаете, миссис Джесси. Очень мудро.

— Вы меня успокоили.

Она разливала чай по чашкам. Керосиновые лампы бросали на поднос теплые блики. Заварной чайник был фарфоровый, по его боку вился узор из малиновых, темно-розовых и небесно-голубых розочек; чашки тоже были расписаны гирляндами из роз. Подали глазированные пирожные. На каждом был отформован из глазури кремовый, фиолетовый или снежно-белый цветочек. Софи Шики смотрела, как выливается из носика парная ароматная струя янтарной влаги. Вот оно чудо: где-то в далеком Китае или в Индии люди с золотистой или бронзовой кожей собирали чайные листья; потом на белокрылых кораблях, через штормы и ураганы, под знойным солнцем и под холодной луной чай, надежно упрятанный в деревянные ларцы, выстланные свинцом, добирается до них, а его разливают из фарфорового чайника, который вылепили

из тонкой глины искусные руки горшечника, потом прокалили, покрыли блестящей глазурью, обожгли, потом тончайшей кистью расписали руки художника, нежно вращая гончарный круг и легким, как поцелуй, прикосновением соболиных волосков усаживая на лазурный или белый фон воздушные бутоны; а сахар привозят с плантаций, где черные рабы, мужчины и женщины, изнемогают и умирают в мучениях, а здесь этот сахар превращают в нежные цветки, тающие на языке, словно свитки во рту пророка Исаии; а еще надо смолоть муку, и сбить масло из молока, и приготовить из них эти вкуснейшие маленькие пирожные — миссис Джесси выпекла их в духовом шкафу, красиво уложила на тарелке и подала им: седовласому капитану с веселыми глазами, разрумянившейся и взволнованной миссис Папагай, ей, такой больной и утомленной, черной птице и слюнявому Мопсу. Вот они сидят перед жаркими углями камина, при мягком свете ламп. С каждым из них могла случиться беда, и не сидеть бы им сегодня за чаем, не лакомиться сладостями. Капитана могли погубить бури и плавучие льды, его жена могла умереть от горя или в родах, миссис Папагай могла впасть в нищету, а она осталась бы прислугой и захирела от тяжелой

работы, но ничего этого не случилось, все они здесь, их глаза светятся, а во рту — сладко.



# XII

Они вышли на улицу, в кромешную тьму. Подмораживало, порывами налетал ветер, в воздухе носились соленые брызги, рядом и где-то вдали шумело море. Они решили идти домой пешком — надо было экономить. Если миссис Джесси откажется от сеансов, если мистер Хок будет злиться и относиться к ним враждебно, что тогда с ними будет? Ветер дул в спину. Они скорым шагом шли к набережной, выставив перед собой зонтики. Спустя некоторое время Софи потянула миссис Папагай за рукав и сипло закричала ей в ухо:

— За нами кто-то идет. С тех пор как мы вышли от миссис Джесси, я слышу за спиной чьи-то шаги.

— И правда. Мы остановились, и шаги смолкли. Он один.

— Мне страшно.

— Мне тоже. Давай постоим под этим фонарем и дадим ему пройти с миром, иначе нам придется помериться с ним силами. Нас двое, а он один. Не хочу, чтобы за нами кто-то шел, ведь скоро мы попадем в тот лабиринт улочек за рыбным рынком. Боишься, Софи?

— Боюсь. Но, в конце концов, он простой смертный.

— Зато в нем живой дух, поэтому он может быть опасен.

— Знаю, но сейчас меня больше страшат мертвые. Давайте постоим и посмотрим на него. Вдруг он пройдет мимо.

Они остановились, и шаги снова стихли, а затем медленно и неуверенно стали приближаться. Женщины замерли под фонарем, покрепче ухватив зонтики. Шаги приблизились — из мрака выступила угловатая фигура в бесформенном пальто и черной фуражке. Подойдя ближе, человек остановился как вкопанный и воззрился на них.

— Почему вы идете за нами? — спросила миссис Папагай.

— Это ты, — проговорил человек. — В темноте я не мог разглядеть, кто это, но теперь вижу: это ты. Я пришел к тебе, свет не горит, и дверь на замке. Соседка сказала, что ты ходишь этой дорогой, и я отправился за тобой — ждать на крыльце холодно, и сырость пробирает до костей, а я столько мерз и мок, что другому бы на две жизни хватило. Ты не узнаешь меня, Лилиас?

— Артуро, — пролепетала миссис Папагай.

— Мы дважды тонули, — помолчав, продолжал он, — один раз нас прибило к чужому берегу. Ты разве не получила моих писем? Я писал, что мы возвращаемся домой.

Миссис Папагай молча покачала головой. Она боялась, что у нее начнется истерика. Нервы у нее напряглись, в голове стучало, ее, как убойную корову, словно оглушили обухом.

— Я тебя, видно, очень напугал. Надо было мне подождать тебя на крыльце.

Миссис Папагай на миг очутилась на краю могилы, а потом крылатый ветер примчал ее обратно. Жизнь влилась в ее сердце и легкие, она пронзительно закричала:

— Артуро! Артуро! — и отшвырнула зонтик, который полетел по улице, словно парашютик гигантского одуванчика. — Артуро!

Миссис Папагай бросилась к мужу, и, не окажись он рядом и не удержи ее, она без чувств рухнула бы на мокрый тротуар. Но он был настоящий, и миссис Папагай упала в его объятия. Распахнув пальто, он прижал ее к себе, и она вдохнула его запах, живой запах соли, табака, его волос и кожи, — этот запах она не спутала бы ни с каким другим: ее ноздри хранили его, даже когда казалось, что благоразумнее бы его забыть. Он

уткнулся в ее волосы, а она свободными теперь руками обняла его, пусть исхудавшего, но настоящего, живого, на ощупь припоминая его плечи, грудь, живот и беспрестанно выкрикивая его имя то в пальто, то в холодный ветер.

А Софи Шики стояла под фонарем и смотрела, как они обнимаются, касаются друг друга, лепечут что-то друг другу — и с каждым мигом все крепче сливаются воедино. Она думала о том, сколько людей жаждут обнять любимого человека, но обнимают лишь пустоту, и о том, что пусть не так часто, как в сказках и легендах, но холод и море все же возвращают людям тех, кого у них отняли. И обдуваемый ветром силуэт соединившихся супругов слился в ее воображении в гармоничное целое с образом очага в доме четы Джесси и чудесным уютом вечернего чаепития. «Вот она, жизнь после смерти», — подумала Софи, тактично отворачиваясь от растрепанной и счастливой миссис Папагай и устремляя взгляд туда, где иссякал свет фонарей и начинались чернильно-черные небо и море.

